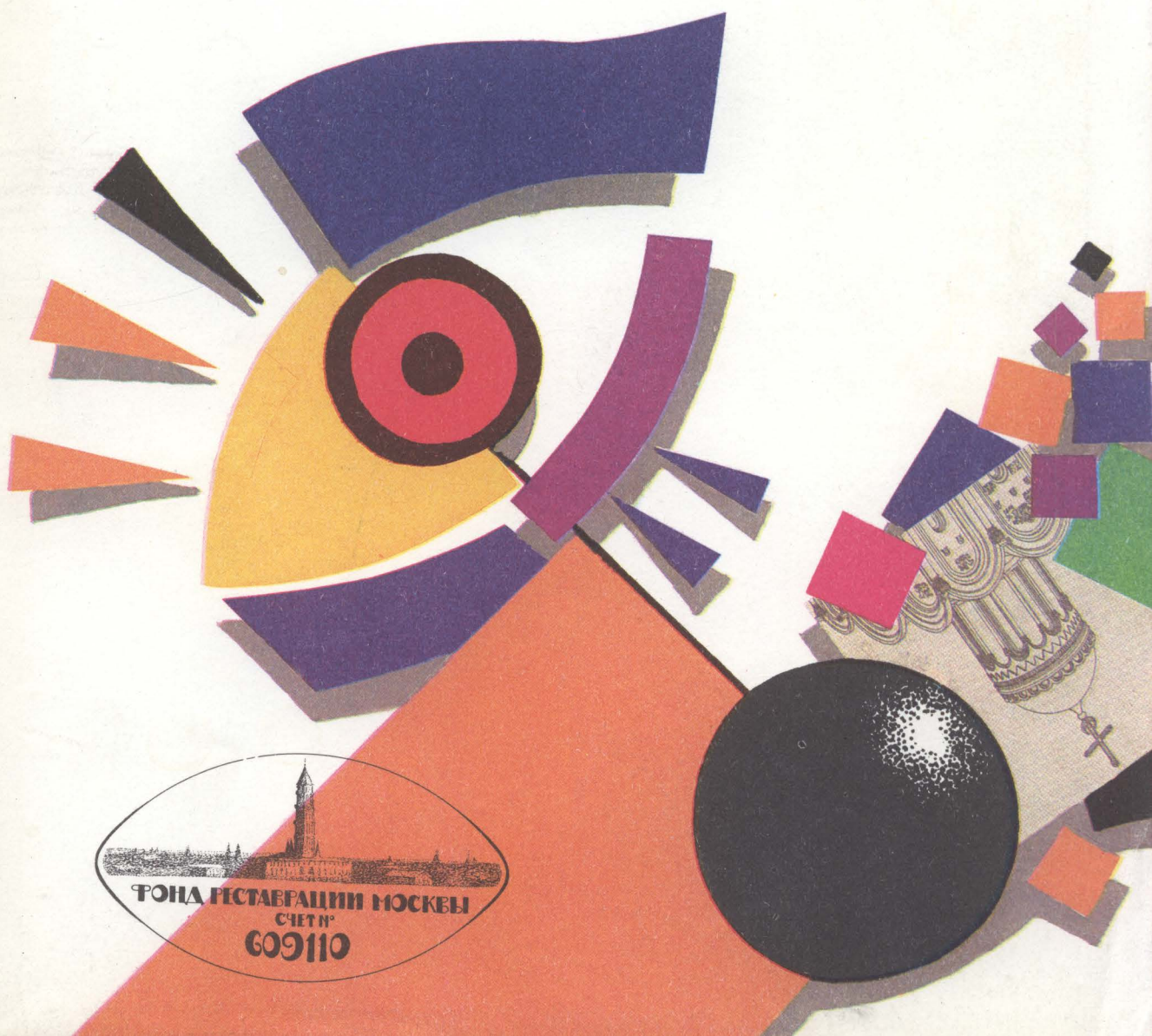


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

7 '90



ФОНД РЕСТАВРАЦИИ МОСКВЫ
СЧЕТ №
609110



Дмитрий КАНТОРОВ. Москва.
Усекновение головы. Холст, масло, 1990 г.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

7

(422)

'90



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

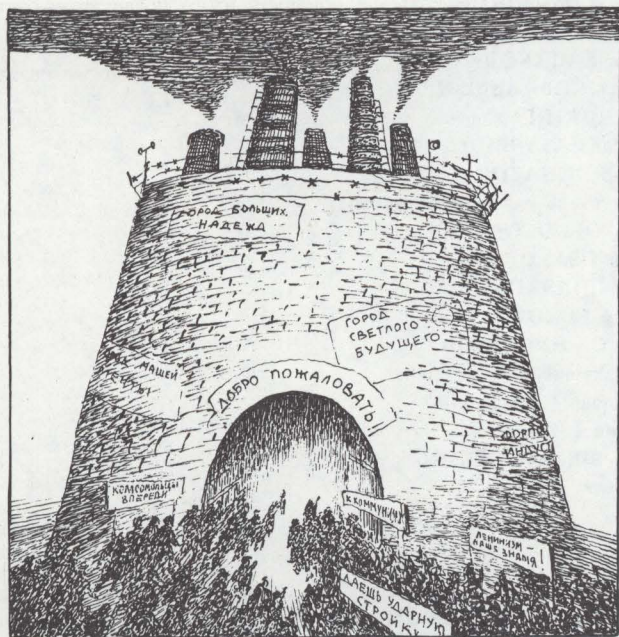
Анатолий АЛЕКСИН
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Жизнь под угрозой

Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ

СПИРАЛЬ ПОДВИГА



Всесоюзная независимая комплексная экологическая экспедиция «Юности» завершила свою работу в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. На этом этапе ее участниками были:

Светлана БАКЛУШИНА — и. о. главврача городской СЭС; Владимир ДЕСЯТОВ — народный депутат СССР, член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов;

Любовь ДИГОР — директор школы пос. Кондон;

Владимир КОСТИН — зам. начальника полетной службы Дальневосточной авиабазы по охране лесов от пожаров;

Сергей КУЗЬМИНЫХ — председатель городского Комитета по охране природы;

Всеволод МАРЬЯН — редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;

Владимир ПОПОВ — член координационного совета Хабаровского Народного фронта, кандидат исторических наук;

Владимир ТЕПЛЯКОВ — лидер группы экологического контроля пос. Эворон;

Евгений ХОРОШИЛОВ — первый секретарь Комсомольско-на-Амуре горкома КПСС;

Любовь ЧУРИЛОВА — заведующая отделом городского онкодиспансера;

ЖИТЕЛИ поселков Бельго, Кондон, Эворон, активисты экологического движения Комсомольска-на-Амуре, члены Комитета содействия перестройке.

1. Город и человек

«Город на заре», «город особенной судьбы», «город коммунистической юности», «город будущего» — множество подобных пропагандистских кирпичиков было уложено в фундамент мифа о Комсомольске-на-Амуре. Оговоримся сразу, что, употребляя слово «миф», мы ничуть не пытаемся принизить те поистине нечеловеческие лишения, которые пришлось вынести шести тысячам комсомольцев-первопроходцев, высадившихся в мае 1932 года на левый берег Амура в районе русского села Пермское и нанайского стойбища Дземги. Лишения есть лишения. И героизм есть героизм. Много его понадобилось тем, кто все-таки пережил первую, казалось, бесконечную, зиму, цингу, голод, холод землянок и тяжелейшую борьбу с природой и самим собой не только за выживание, но и за идею.

Комсомольцев вела идея. А сама она уже была игрушкой (и пугалом одновременно) в руках сталинской Системы. Последовательной, пожалуй, лишь в одном — в своей ненасытности, Системе поначалу нечем было пожить «на высоких берегах Амура». Ну, раскулачили поголовно село Пермское, где общей нормой считалось иметь по несколько коров и хотя бы пару лошадей в каждом дворе. Отправили в небытие истинных первопроходцев — переселенцев из Пермской губернии, дошедших из-за Урала аж до края земли, мужицкой сметкой и разумным трудолюбием вставшим здесь на ноги и выросшим в вольную ничейную землю, не потревожив при этом ни природы, ни местных малочисленных миролюбивых народностей. От новых же пришельцев, бросив свое многовековое стойбище, нанайцы подались глубже в тайгу. Им, маленьким и неприветливым, она казалась тогда бесконечной. Так же как и ульчам, нивхам, тафаларам... Не сразу их лесные и речные боги догадались и растолковали мудрым шаманам, что, где бы они теперь ни ставили свои стойбища, каких бы далее ни достигали в своих кочевьях, — все это будет обнесенная невидимой границей территория нового безжалостного, иссушающего, беззубого, безглазого и бессердечного «бога» — Амурлага. Новый истукан признавал только одни жертвы — кровавые, голодные и мученические.

Запустив в дебри дальневосточной тайги поначалу лишь каток в виде двух кораблей — «Колумб» и «Коминтерн» с комсомольским десантом, зацепившись молодыми жертвенными жизнями за становую жилу края — реку Амур, скоро приползла сюда и вся Система в полной «красе». В новую «черную дыру» канули сотни тысяч безвинных, как в топку под названием «форпост советской индустрии и оборонной

Рисунок Ирины Шиповской

промышленности на Дальнем Востоке». Как видим, не все певцы Системы баловались лирикой. На форпостах люди обречены гибнуть, иначе какой же это форпост. И гибли, гибли...

На каждого комсомольца «Амурдалястроа» приходились сотни политзаключенных и спецпереселенцев (раскулаченных жителей Пермского и других приамурских сел в качестве рабов выкидывали полуголых куда-то туда, а откуда-то оттуда таких же рабов с почерневшими от извечного крестьянского труда руками привозили на каторжную погибель сюда: дьявольская игра из одних рокировок, которыми смахивались с лица земли миллионы человеческих космосов). Местные охотники рассказывали нам, что до сих пор в таежных распадах находят множество человеческих черепов и костей. Десятилетиями хранит тайга эти выбеленные зверьем, дождями и ветром обелиски Системы, укрывая травой и пряча меж камней то, что раньше у одних не было желания, а у других сил предать земле. Начало необратимой гибели тайги, о чем еще мы будем говорить ниже, совпало с кончиной этих мучеников. Все взаимосвязано. Не пошло впрок природе такое вот удобрение.

Так же как и городу Комсомольску-на-Амуре, построенному буквально на костях. Кстати, и о самих комсомольцах-первостроителях мы знаем теперь много больше. Истинная, нерегламентированная вера тогдашней молодежи, не ведавшей еще, что ее обманывают, была чиста и самоценна, полна стремлением к самостоятельности, к активному вмешательству в ход жизни. Для отлаженной и уже перешедшей на саморегулирование Системы подавления подобная неутомимость молодежи в поисках истины стала уже диссонансом, дающим знать об опасности. И начался разгром комсомола. Скольких смогла, инквизиция перемолола сразу, остальных, в зависимости от «вины» перед Системой, рассортировала: одним статью — и в лагерь, другим комсомольскую путевку — и с глаз долой, в дебри, в землянки, к тачкам, киркам, топорам. Такой вот принудительный «энтузиазм».

В материалах своей экологической экспедиции «Юность» уже описывала сегодняшнее состояние так называемых «сталинских городов» — очагов индустриализации незабвенных 30–40-х годов: Ангарска, Магнитогорска, Стерлитамака, Салавата. И все-таки Комсомольск-на-Амуре и на их фоне остается «городом особенной судьбы».

«Город юности, где никто не доживает до старости», — это из современного фольклора комсомольчан (хотя этимология сего высказывания очевидна: все отсюда, отсюда...). Итак, глядящим попристальнее в то, ради чего было загублено столько жизней. Сделать это необходимо, потому что Комсомольск и впрямь символ, вершина, в каком-то смысле — предел. Вспомните «город будущего». Так к какому будущему вели нас недавние всевластные теории и практики, вполне здравствующие, впрочем, и сегодня, не собирающиеся пока отступаться от своих принципов?

Комсомольск — город фасадов. Этот наш недавно приобретенный национальный признак — «фасадность» — в городе на Амуре в большой чести. Со стороны реки вас встречает замечательное здание речного вокзала, выполненное в виде современного многопалубного лайнера. После многочасового разноцветия реки, тайги и неба его белая громада приковывает взор. Правда, в гостинице вокзала, даже если вы решитесь на подстерегающие вас здесь бытовые лишения, все равно не окажется места. Не стоит рассчитывать и на элементарные гигиенические удобства, как, впрочем, и на то, чтобы по-человечески перекусить. С билетами — сами понимаете, не маленькие. Зная острейшую жилищную проблему в городе, как не подивиться такому размаху. Но когда это фасады у нас служили для тех, кто за ними живет? Это для проезжающих: пусть охают, ахают и думают, что, если на такие ворота в город деньги нашли, значит, и в самом городе все не хуже.

Для тех же, кто все-таки пройдет через этот фасад и, минуя огромный камень-обелиск на месте высадки первых комсомольцев и бронзовую многофигурную скульптурную дань первостроителям, попадет в город, предназначенный другим фасадам. Дома центральных улиц оштукатурены и не лишены тех нехитрых излишеств «сталинской» архитектуры, которые должны были подчеркивать: «у нас всего много». Только не заходите во дворы, они же для жителей, а не для вас. Все, что не видно с улицы, никогда не знало штукатурки и ремонта, кирпич изъеден временем и имеет тот цвет, который более всего подходит к слову «тоска». Про грязь, лужи, мусор, чахлую растительность объяснять не будем:

среди читателей «Юности» иностранцев раз-два и обчелся, а свои сами представят. При езде по улицам города сожалешь лишь о том, что частникам не продают у нас транспортных средств на гусеничном ходу. На колесных же средствах передвижение из удобства превращается в спорт: колесо «Жигулей» как раз помещается в открытый люк теплотрассы или канализации. Таких ловушек за день объезжаешь десятки. Почему же считается, что слалом у нас непопулярен?

Настоящий Комсомольск предстает перед вами с вершины сопки, чудом еще уцелевшей в городе недалеко от завода «Амурсталь». С ее высоты не видны фасады и красочные бодрые транспаранты с лозунгами типа «Воздуху быть чистым!» (приказ это или молба, непонятно). Город становится нагим и изнемогающим, просящим пощады. Только стоя здесь, над клубами низких труб и под шлейфами высоких, до конца понимаешь, что «город особенной судьбы» (эпитет этот с гордостью был пущен Л. И. Брежневым на встрече с жителями и мощной волной прокатился по периодической печати) есть воистину символ. Той урбанистической, античеловечной утопии, которую нам до сих пор преподносят как безусловную победу Системы.

Первое впечатление, что в открывающемся с высоты пейзаже больше труб и заводских корпусов, чем домов. Все заводы Комсомольска находятся внутри города. Ни один из них не имеет санитарно-защитных зон. Жилые дома построены прямо у их заборов. По замыслу «экономных экономистов» оно, конечно, куда как удобно: перешел дорогу от дома к проходной и принимайся уже за работу. Но ведь людям нужно дышать! А вот это, кажется, и не предусматривалось вовсе.

Пройдемся, например, вокруг Электротехнического завода (ЭТЗ). Предприятие это уже порядком изношено, как и окружающие его жилые дома. От заводской стены до окон квартир — 15 метров, здесь же находятся детские площадки и даже стадион. Однако не советуем затягивать прогулку. Только по официальным данным в районе завода превышение такого опаснейшего для всего живого вещества, как свинец, — в 50 раз. Ворота стадиона заколочены, беговые дорожки поросли бурьяном, трибуны и здания не обновляются — проводить спортивные мероприятия здесь категорически запрещено: опасно для здоровья. Значит, бегать, заглаживая при этом повышенное количество окрестного отравленного воздуха, нельзя. Благо, что хоть это присосавшиеся к Комсомольску ведомства признали (кстати, уже много лет назад). Но вот вопрос — а работать и жить-то здесь можно? Рожать и растить детей? Покупать в местных магазинах продукты и есть их?

Как высокий акт гуманизма было обнародовано в городе решение о переносе ЭТЗ на окраину. Но «неблагодарное» население не поспешило с выражениями признательности. Потому что мало того, что новая площадка завода одной своей частью «сядет» на обжитые садово-огородные участки горожан, но и стало известно, что в результате переноса и нового строительства мощность этого предприятия-отравителя удвоится.

С выбранного нами для обзора возвышения видно, что город тот и называется «на Амуре», а к реке-то выхода не имеет. Раньше это бросилось в глаза, когда мы рассматривали «экологическое чудо» Комсомольска с борта катера: вдоль всего берега — только заводы, жилых домов — ни одного. Все здесь для промышленности: лучшие места, куски биосферы, наиболее удобные подъезды и подвозы. Как ненужный каприз было воспринято ведомствами существование единственного незастроенного участка амурского побережья в черте города, где особо экологически стойкий человеческий подвид — «комсомольчанин» мог прилечь на песочек, отдохнуть с семьей, позагорать, рискнуть покурить, не выбираясь для этого в переполненном транспорте «на реку». Последнее окно в природу наглухо заколочено. Здесь построено два новых завода. А чтобы неравномерно дышащий в течение года Амур-батюшка не смог их подтопить при очередном наводнении, под них была специально насыпана гигантская песчаная подушка, до шести метров высотой. Песок намывали, понятное дело, прямо из Амра, земснарядами. Во что такая идея обошлась нам с вами? Но как-то эти затраты мы пережили, по-прежнему перетянув одеяло с одной прорехи на другую. А вот для рыбы повышенная замутненность воды в реке из-за длительной работы мощных агрегатов, «грызущих» дно, означает лишь одно — исчезновение. Эта муть способна остановить даже идущие вверх по течению на нерест стада лососей.

Державный наш стальной кулак, на Дальнем Востоке стал сильнее на два завода. Но почему-то не испытываем мы из-за этого гордости. Почему же? Да потому, что людям, живущим в этом раненом крае и тяжело больном городе, стало не лучше, а еще хуже. К тридцати гигантским заводам-отравителям прибавилось еще два — вот как видят сами комсомольчане новый успех индустриализации. А ведь только из воздуха каждый из них получает ежегодно 730 килограммов отравляющих веществ.

Многое можно увидеть с сопки над городом. Прямо под ногами, слева, серно-кислотный завод. Многие из нас впервые разглядывали чистую серу: гигантские желтые горы, тысячи тонн — под открытым небом. С детских сказок помнится, что серный запах сопутствует нечистой силе. А отсюда эта сила нечистыми ручьями вливается в землю, реку, людей. Правее — комсомольский гигант «Амурсталь» разнообразит сизо-серый смог разноцветными дымами, четьрьмя необъятными языками слизывающими остатки кислорода над городом. Повернешься в одну сторону — «воздух» мутно-голубого оттенка, в другую — мутно-коричневого. Сопка эта — своеобразный воздухоотдел города. При ветре с севера она как бы «отбивает» повыше выбросы заводов северной части Комсомольска, давая какое-никакое облегчение жителям другой половины города: им остаются клубы дыма только «своих» заводов. При ветре с юга «северные» комсомольчане также хоть и видят в вышине клубы дыма, летящие из-за естественного «воздухоподъемника», но хотя бы не вдыхают их напрямую, «обходятся» своими. Хуже, когда в штиле все это перемешивается и поглощает город без остатка. И люди выступили в защиту этой сопки, которую постепенно срывали, добывая камень (очень это заманчиво и «экономно» — не возить со стороны, а брать под ногами). Власти пообещали сохранить сопку, но мы сами видели свежие следы добычи.

Покидая столь удобную точку наблюдения, из множества проблем города, которые видны с высоты, выделим еще одну. Город, созданный подневольным трудом, в значительной степени живет им и сейчас. В смоговом озере под ногами мы разглядели три «зоны», в дымных глубинах их, невидимых, больше. Промышленные объекты обнесены несколькими рядами заборов с колючей проволокой: ворота закрыты, жилые помещения пусты, дым из труб валит, что-то там производится, и ни одного празднующегося на территории. Такое вот технологическое «удобство».

Сколько заключенных куют нашу экономическую мощь на дальневосточном «форпосте», нам, конечно, не сказали. Однако известна такая цифра: при стабильном в общем-то количестве жителей Комсомольска в 320 тысяч человек в город ежегодно скапливается до 15 тысяч «химиков» (так называют условно осужденных и условно-досрочно освобожденных заключенных, которые обязаны оставшийся «срок» доработать в указанном месте, на не самом, конечно же, здоровом производстве, и лишь после этого они окончательно освобождаются; вольные невольники или невольные вольники?). Поэтому не будет преувеличением сказать, что Комсомольск-на-Амуре — это «город колонистов». Всю свою историю. Странным образом слились здесь два разных понятия: колония как территория порабощения и колония как метод порабощения (исправительно-трудовая колония). Конечно же, здесь много людей, проживших не одно десятилетие в городе и искренне его любящих. Но, как говорится, место это из тех, куда «никакими коврижками не заманишь». Да, здесь платят «северные» надбавки. Но не советуем обольщаться. Оказалось, что если их убрать, то фиксированная зарплата местных тружеников заметно ниже, чем в европейской зоне на аналогичных рабочих местах. Введены такие надбавки для труднодоступных районов, куда доставлять все жизненно необходимое дорого, отчего цена товаров и услуг возрастает. Но о какой цене может идти речь, если город обеспечен товарной массой лишь на 50 процентов от положенного уровня? Ведь за дефицит платим и в три, и в десять раз дороже. На это никаких «северных» не хватит.

Вот и держится индустрия города в значительной степени на тех, кому судьба другого выхода не дала. Отсюда — повышенная миграция населения, точнее, выражаясь нашим новым парламентским языком, ротация: «досидел» на «химии» срок, можешь уезжать, пришли нового. Нет корней, нет чувства хозяина, ответственности, нет желания согреть и приласкать кормящую тебя землю своими руками. Отсюда же — страшный уровень преступности, вечные муки ожидания по вечерам задержавшихся близких, психологиче-

ские шоки от известий о новых зверских, групповых, немотивированных убийствах, время от времени сотрясающих город.

Символом что-либо, даже малое, становится тогда, когда несет в себе все главные признаки большого и сложного явления. Комсомольск-на-Амуре — живой символ Системы, из которой мы сейчас, теряя целые куски живой духовной плоти, начинаем вырваться. Но не так-то легко от нее избавиться. Пример: приезд М. С. Горбачева на Дальний Восток породил у местной технократо-бюрократии «перестроечный» припадок, который вылился в формы «Долгосрочной государственной программы комплексного развития производительных сил Дальневосточного региона». По ней одним лишь новых заводов в одном лишь Хабаровском крае планировалось построить аж 122. А где же на такие прожекты рабочие руки взять? А там, где раньше брали. И при бывшем первом секретаре крайкома т. Черном вызрел план создать в крае еще около двух десятков «зон». Даже строительство начали. Но руководство края сменилось, «Долгосрочная программа» как-то сама собой испускает дух по причине полной нежизненности, так что на берегах Амура сейчас подрастерялись: строить «их» или погодить?

Ну что ж, спустимся с высоты в озеро смога, поговорим с людьми, узнаем конкретнее, чем они живут и чем болеют, что их в сегодняшнем Комсомольске беспокоит более всего. Честно признаемся, что никогда еще работа экспедиции «Юности» не была так хорошо организована, как в этом регионе. Лидеры общественного экологического движения в городе и Комитета содействия перестройке (прежде всего рабочий завода имени Гагарина Сергей Уханов, рабочий свинокомплекса Георгий Каскинин, зам. директора ДК Алексей Трубников и др.) не только заблаговременно мобилизовали активистов трудовых коллективов на сбор необходимой информации и четкое планирование (буквально по часам) работы экспедиции, но и обеспечили ее финансирование, аренду вертолета, катера, транспорта для передвижения по огромной территории.

Когда государственные природоохранные органы начнут проявлять хотя бы малую долю такой активности, оперативности и желания преодолеть многочисленные проблемы, тогда только станет реальным первый шаг в сторону от пропасти экологической катастрофы, у края которой балансирует сейчас страна.

Свое отношение к экологическим бедствиям города комсомольчане продемонстрировали, обеспечив на выборах в народные депутаты СССР убедительную победу В. М. Десятова. Владимир Михайлович в одинаковой степени любим населением и нетерпим для местной бюрократии — именно своей многолетней бескомпромиссной природоохранной борьбой. Сейчас он является членом Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов и своей эффективной деятельностью в нем не даст угаснуть надеждам земляков на их выживание.

Итак, чем же заплатила страна за подвиг и муки Комсомольска-на-Амуре? Почти 100 процентов промышленного производства города — в ведении союзных министерств. «Город на заре» дает державе авиационную и военную технику, корабли, сталь, нефте- и химпродукты, электрическое оборудование, лес и т. д. А что получает взамен?

ДЕСЯТОВ: «Наш город по многим показателям стал лидером всесоюзного «черного списка». Мы занимаем первое место по загрязненности атмосферного воздуха (превышение нормы в 12 — 30 раз). Первое место по заражению среды свинцом (до 50 раз). Второе по выбросам формальдегида (в 3,5 раза): это вещество — опаснейший канцероген, к тому же обладает мутагенными свойствами и нервно-паралитическим действием. На пятом месте по фенолу (в 13 раз), в группе «лидеров» по серному ангидриду, окислам азота и многим другим отравляющим веществам. Вот и получается, что город в тайге, а нет свежего воздуха. Стоит на одной из величайших рек мира, а не может решить проблемы чистой воды. Четыре пятых потребляемой воды, в том числе и питьевой, город берет из Амура. В Амур же, только в нашем крае, сбрасывается 35 тысяч тонн загрязняющих вредных и ядовитых веществ. Предельно допустимая их концентрация в Амуре превышает, таким образом, в 24 (!) раза. Сам Комсомольск «грешит» с размахом — его годовой сброс способен отравить сток трех таких рек, как Амур. В результате вода, еще 10 лет назад числившаяся в высшей категории, сегодня — в четвертой. Существует семь категорий. Седьмая — это смерть всего живого. При этом городской

водозабор находится в черте города. Представляете, что пьют люди. Наивно уповать на очистные сооружения, ведь они рассчитаны только на воду высшей и первой категории».

Вот какой разговор по этому поводу вышел с начальником городского водохозяйства Т. Дацко:

— Когда очистные работают, — сообщил он, — вода у нас соответствует ГОСТу, дважды в месяц проводим контроль...

— Позвольте, а что значит «когда работают»? Значит, это бывает не всегда?

— Начиная с 1988 года мы в состоянии очищать воду реагентами только 8 месяцев, остальные 4 вынуждены лишь фильтровать. В стране острый дефицит, например, с глиноземом. Наши представители были и в Госплане, и в Госнабже... В Союзе только три таких завода, один встал на ремонт, вот всех теперь и лихорадит.

— Как же вы тогда улавливаете хром, цинк, тяжелые металлы?

— В эти 4 месяца никак. Потому что именно глинозем «берет» их, да и многое другое. Что только не несет в себе наша река. Недавно появилось в ней столько щелочи, что теперь нам не надо даже подщелачивать питьевую воду до уровня ГОСТа... Единственное, что мы можем, — гиперхлорировать воду.

Уяснил, читатель, ситуацию? Советуем всем навести справки в своих городах — а сколько месяцев в году у вас чистая вода?

Для справки: с санкции Минздрава СССР норму хлорирования можно увеличивать вдвое, что и называется гиперхлорированием. Это при том, что отечественная наука еще не изучила, а что же образуется в воде при соединении хлора с другими элементами. Это уже сделано на Западе. Во многих странах хлорирование запрещено, потому что соединения хлора образуют канцерогены и мутагены, сочетание с любыми металлами дает опасные для здоровья окислы.

Как мы привыкли уповать на различные ГОСТы, нормы, допустимые концентрации. У специалистов к ним разное отношение. Вот мнение и. о. главврача горСЭС С. И. Баклушиной:

«Гиперхлорирование применяется, чтобы избежать бактериальное загрязнение. Что опаснее: хлор или бактерии, нужно еще выяснить. Однако в ГОСТе нет, например, показателя на вирусы. Поэтому нередко вспышки инфекционного гепатита, других заболеваний. Наши водозаборы — это источник опасности. Новый также строится в черте города. Мы взяли в этом районе пробы — оказалось превышение в воде по марганцу в 5–6 раз. Поставили перед проектировщиками вопрос — обеспечить очистку от марганца. Два года идет тяжба — ни с места».

Город располагает еще двумя водными объектами: горной рекой Силинкой, в которой, по воспоминаниям старожилов, ловились пудовые таймени, ленки, заходившие на икромет лосося, и озером Мылки — в прошлом это был сущий рай для рыболовов и отдыхающих. После строительства в верховьях Силинки горно-обогатительного комбината (ГОК) и города с очень экологическим названием Солнечный речка получает отравы в общей сложности в 30–40 раз больше ПДК. В отдельные месяцы «солнечный» ГОК вливает через Силинку в Амур 150 сверхнормативных доз меди и 90 цинка. Озеро Мылки давно перестало быть раем для рыбы и людей по той причине, что в него гадят 14 городских предприятий и только нефтепродуктов в нем бывает в 130 раз больше нормы. Кстати, основной городской водозабор находится ниже стока воды из озера в Амур, пропуская через себя все эти ПДК.

А теперь проследим круговорот воды в природе г. Комсомольска. Город сосет реку, пропускает воду через предприятия, а также ванны и краны граждан, условно очищает только треть потребленного, выплевывает остальную грязь в Силинку, Мылки, а значит, в Амур и — опять всасывает. Попытаемся ответить на вопрос: где комсомольчанину выпить чистой воды или покупаться, не рискуя получить дозу неведомой отравы? Ответ: в городе — нигде! По-своему плохо и автомашинам: на 70 тысяч единиц нет ни одной мойки. Хотя есть одна — Амур, а значит, собственная ванная.

ДЕСЯТОВ: «Именно факторы сверхдопустимого загрязнения среды обитания послужили причиной бурного роста заболеваемости в городе. Можно, видимо, уже говорить о бедствии. По сравнению только с 1986 годом наблюдается скачок хронических патологий у наиболее восприимчивой части населения — подростков, юношей и девушек. По абсолютному количеству случаев патологии складывается такая

последовательность: первое место — психические расстройства, второе (!) — дебилность, третье — неврозы, затем следуют гастриты, болезни печени и желчевыводящих путей, нефрит, экземы, дерматит. По некоторым из этих патологий идет превышение общесоюзного уровня до трех раз. Нанесен сокрушительный удар по наследственности: растет процент новорожденных, умерших от врожденных уродств, в структуре младенческой смерти — это каждый пятый. Медики утверждают: причина тому — загрязнение внешней среды, широкое использование пестицидов, ядохимикатов. С 1983 года (с 32 до 53 процентов) возросла доля умерших от болезней новорожденных (в первые дни и часы жизни). Это в основном связано с условиями быта, производства, питанием и санитарным уровнем. Вдумайтесь: количество новорожденных, больных раком, увеличилось вдвое».

Рак вцепился в город. Опять лидерство — первое место в Хабаровском крае. Вольготно живется этой лютой болезнью в нашей стране. Рак — в зоне молчания, до недавнего времени — не тронь! Вроде как и не было его вовсе.

Л. А. Чурилова заведует отделом в городском онкодиспансере. Она уверена, что рост онкологического бедствия напрямую связан с экологической обстановкой.

ЧУРИЛОВА: «До сих пор бытует мнение, что в росте заболеваемости повинны лишь здравоохранение: плохо, мол, организует снижение показателей. Не потому ли даются указания лечебным учреждениям: не говорите о плохой материально-технической базе, о бедственном положении со средствами, оборудованием и т. д.? Врачей вынуждали искажать реальное положение».

Когда я столкнулась с годовыми отчетами, оказалось, что они фиктивные. Пришлось самой пересчитывать данные наших онкослужб за 10 лет. Пришла в ужас. Выявился значительный рост заболеваемости. Считается обычно на 100 тысяч населения, но если пересчитать только на взрослых, то цифры будут катастрофические. Даже по принятой методике за 10 лет имеем на 100 тысяч человек рост количества больных с 206 в 1978 году до 274 в 1988-м при среднем показателе по краю — 224. Рак в нашем городе «помолодел» на 15–20 лет. Раньше рак легкого считался уделом семидесятилетних. Сейчас «нормой» считаются 40–45 лет, но нередко случаи заболевания у мужчин в 32–34 года. Легочные формы вышли у нас на первое место, во втором — рак желудка, на третьем — желудочно-кишечного тракта. То есть органов, напрямую связанных с окружающей средой, зависимых от ее состояния.

В нашем городе не делается ничего, чтобы шло снижение уровня онкологических заболеваний, а значит, можно сказать и так — делается все, чтобы было повышение. По преступному недомыслию городской онкодиспансер расположен в эпицентре промышленной зоны. Больные раком задыхаются на больничных койках от пыли и выбросов, не спят от шума грузовых автомобилей: с двух сторон в 7–15 метрах проходят две транспортные магистрали. В палатах невозможно выслушать у пациентов легкие, сердце. 15 лет назад принято решение о переносе диспансера, сколько новых заводов уже построено, а на помощь страдающим не истрчено ни одного рубля».

В сложившейся экологической ситуации виноваты, конечно же, и сами жители побережья Амура. Слишком часто их отношение к нему было нечистоплотным. Но главная их вина, а беда в том, что никогда не прислушивались к их мнению, чем и приучили смотреть на любое безумие молча. Как и всех нас. Но ведь есть же государственные органы, чье дело — защита чистоты среды обитания человека и охрана природы: СЭС и Госкомприрода. Или все-таки они не в счет?

БАКЛУШИНА: «В стране до сих пор нет санитарного законодательства, а значит, СЭС находится в положении борца со связанными руками. Ущерб среде обитания наносится на десятки миллионов рублей, а штраф, которым мы можем наказать, например, директора завода... до 30 рублей. За прошлый год наложили 1400 штрафов, дали казне более 40 тысяч рублей. Много это или мало, гадать не будем — все равно городу они не достаются. Единственная наша действенная мера — закрытие предприятий, есть у нас и крайняя природоохранная прокуратура».

Но вот вынесли мы решение о закрытии Электротехнического завода. Сразу же посыпались правительственные телеграммы. Все, как обычно, — обещания, посулы, только не закрывайте завод, план, план. Но знаете, мы настолько уже устали от ожидания «светлого» будущего, обещающего министерствами, что перестали реагировать на их послания и заключения комиссий. Времена меняются, поэтому надеемся

все-таки закрыть завод. А еще лет пять назад первыми, кто начинал давить на нас, когда мы принимали решение об остановке производств, были наши собственные исполком и горком партии. Теперь к таким мерам не прибегают, но прав у нас от этого не прибавилось. Деньги на перенос ЭТЗ изыскивали, а строить некому: ни одна стройорганизация не берет его в план, все перегружены. Вечный тупик.

А вот Передельный металлургический завод построили быстро: в 1981-м приняли решение, в 1985-м пустили первый комплекс. Почему у нас ударно строится только то, что особенно вредно? СЭС категорически возражала против его размещения вблизи жилой застройки, без санитарно-защитной зоны. Краевая СЭС также отклонила согласование, но строительство так и завершилось по несогласованному проекту. В 1986 году СЭС отказывается подписать акт приемки очередного комплекса — но и он вступает в строй. В 1988-м (идет у нас перестройка или нет?) мы не согласовываем пуск последнего комплекса завода и опять оказываемся битыми. Ведомственные барьеры оказались сильнее нас. Да что там СЭС! Ни один представитель местной власти не вошел в число членов госкомиссии по приемке, будто ее здесь вообще нет. И вот мы теперь имеем от этого завода в районе жилых домов превышения ПДК по окислам азота в 6 раз, фенолу в 7 раз, пыли — 14, окиси углерода — 10 раз и т. д. Мы как-то привыкли к цифрам многократного превышения концентрации вредных веществ, а ведь первое слово в ПДК — предельно. За что же все это нашим людям?

Председатель городского Комитета по охране природы С. А. Кузьминых занял этот пост в результате выборов на альтернативной основе. Доверие людей чрезвычайно важно для таких комитетов, считает он, но этого явно недостаточно.

КУЗЬМИНЫХ: «Пока не станет реальностью Закон о Госкомприроде, не вступят в силу соответствующие правовые акты, пока в законодательстве не будет закреплено право органов комитета рассматривать дела об административной ответственности за нарушение природоохранных законов — до тех пор виновные в экологическом бедствии должностные лица будут жить вольготно, а природа и люди гибнуть».

А пока — в 1988 году, например, мы оштрафовали главного загрязнителя города завод «Амурсталь» на 58 тысяч рублей. Уплатили. В прошлом году — на 65 тысяч рублей. Опять уплатили. Эти деньги уходят в бюджет. Бюджет же выделяет заводу более 40 миллионов рублей на реконструкцию и решение природоохранных вопросов. А он их не осваивает. Проще отбиваться очередными штрафами, по существу, грошовыми. Так народные деньги кочуют из кармана в карман, а дело — ни с места. И в этой ведомственной игре Госкомприроде отведена роль некоего громоотвода для общественного возмущения. Но громоотводы, принимая на себя молнии, не могут, как известно, влиять на ход грозы. Нам нужны права и средства, а наш комитет не обеспечен даже всем необходимым, нет лабораторного оборудования, транспорта. Одна «гордость» — мы единственные в городе имеем приборы для определения состава выхлопов автотранспорта. Но разве это наше дело? Такое оборудование должно быть в каждом автохозяйстве, на всех пунктах ГАИ».

Бедный, бедный Госкомприроды. Когда сталкиваешься с этой организацией, честное слово, появляется горькое чувство какой-то растерянности, смешанное с непреодолимым желанием скорее отвести глаза: будто увидел ребенка с огромной бесформенной головой, тщедушным тельцем и маленькими худосочными ручками-ножками. Продукт генетических аномалий административной системы. Такое творение уже не вылечить. Необходимы новые роды. Но доверить это можно только здоровой, жизнеспособной силе — народной власти.

Нынешний комитет был создан постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7.01.1988 года. Им предусматривалось передать образованному органу функции комплексного управления природоохранной деятельностью и государственного контроля за использованием и охраной земель, вод, атмосферы, животного мира, недр.

«Комплексное управление», «государственный контроль» — какая чудная музыка, и мы, наивные, в очередной раз клюнули, умилились — ну наконец-то. Однако, перефразируя Маяковского «если постановления принимаются, значит это кому-нибудь нужно». И уже через два месяца появилось новое — «О совершенствовании управления лесным хозяйством и лесной промышленностью». «Совершенствование» заключалось в том, что аналогичные с Госкомприродой функции были возложены и на Госкомлес (т. Иса-

ев А. С.). На местах, где лес еще остался, царит с тех пор, мягко говоря, недоумение. Как же так: одно и то же правительство разными постановлениями поручило двум ведомствам делать то, что одному из них явно противопоказано. Складывается впечатление, что ведомств у нас много, а дела мало, но надо всех занять. На самом деле ситуация значительно интереснее: «посадили kota сливки сторожить». Поясним: в результате этого «совершенствования» только в Хабаровском крае 50 процентов лесхозов (то есть лесников — охранников и пестунов леса) передано в подчинение предприятиям лесной промышленности (то есть леспрохозам — истребителям леса). Загадка для читателей «Мурзилки»: больше или меньше леса у нас будет, если дяденька лесник сидит под каблуком у дяденьки лесоруба? Для тех, кто не догадался, подсказка хабаровского природоохранного прокурора В. И. Паршикова: «контроль за рациональным использованием лесных богатств значительно ухудшился».

Другие ведомства тоже не лыком шиты, оттяпали у слабого дитяти кто что смог. Минрыбхоз, например, отдал комитету контроль за средой обитания рыбных запасов, а контроль за самой живностью оставил себе. Половит, половит, потом поконтролирует и снова половит и опять поконтролирует, что же он там наловил и сколько осталось. Рыбы меньше, а премий за контроль больше. Также и Минводстрой сам контролирует, что творит.

В итоге, вместо обещанного единого и единственного органа контроля за состоянием природы имеем семнадцать, большинство из которых «контролирует» результаты собственной разрушительной деятельности.

* * *

Человек, превосмогающий себя, готовый на самопожертвование ради — не своего вовсе, а общего или просто чьего-то другого — блага и жизни, совершает подвиг. Герои безвинны, за свои ошибки уплачено ими с избытком. Сила же, бросающая людей в горнило подвига отнюдь не для блага общества, а лишь для собственного обогреть и развлекения, — сила демоническая, античеловечная. Она лишает героев главной, единственной награды — смысла подвига, его результата. Он нужен не падшим и искалеченным, он нужен нам, их награда — в нас. Наследники темной силы хотели бы, чтобы мы, сегодняшние, махнули на героев рукой — эх, глупцы, что натворили...

Да, казавшиеся неисчерпаемыми богатства края подорваны, экологическое равновесие нарушено, традиции, человеческие связи деформированы. Но герои и жертвы безвинны. Отрицанием их подвига мы закроем себе будущее, отрежем, может быть, последний питающий нас животительный корень. Необходимо остановить общее саморазрушение беспрестанными поисками виноватых среди бывших подвижников. За сегодняшний день, за нынешнее состояние человека и природы ответственны только мы. Неведомый материал народного энтузиазма неистребим, потому что в основе его — жажда разумной человеческой жизни.

В Комсомольске-на-Амуре (не будем забывать, что он символ) этот энтузиазм последовательным неразумием и бесчеловечной эксплуатацией гнули и скручивали, пытались прижать к земле, а получились невероятной силы спираль. Продолжать гнетущее давление Система уже не в силах. В этой пружине сконцентрирована огромная мощь. И нет оснований бояться, что она пойдет в сторону разрушения. Только она, распрямившись, сможет остановить процесс деградации человека, природы, экономики. Значит, опять — Подвиг. Но уже без демонической ухмылки за спиной.

* * *

В следующем номере читайте продолжение материала «СПИРАЛЬ ПОДВИГА»: 2. Человек и энергия (о проблемах Дальневосточной АЭС и нанайского этноса). 3. Сколько стоит лес и река (сколько лет осталось жить тайге, и почему в Амуре не стало рыбы).

Хабаровский край

Попечители экспедиции: московские кооперативы «Саят-Новая», «Фархад» и трудовые коллективы г. Комсомольска-на-Амуре и поселка Эворон.



Александр
КУШНЕР

☆☆☆

Христианская, может быть, вера
Переделала меньше меня,
Чем возможность из дома, из сквера
Позвонить среди белого дня
И узнать, что сейчас отпустило,
Что сидишь за рабочим столом.
«Нет, не бойся. Нет, лучше, чем было.
Не сейчас. Объясню все потом».

Как я жил, Расскажи, Предводитель
Хора, спой, как терзал меня страх,
Он отбеливатель и краситель,
Заливающий щеки впотьмах
Краской... Там, за волнами морскими,
За припухлостями могил,
Там, в Микенах, там, в Иерусалиме,
В те века телефон не звонил.

Сколько сказано в гулкую трубку
Жалких слов и горячих, слепых!
Если б, черную, выжать, как губку,—
Третий том сочинений моих
Я бы мог предъявить... Изменился
Человек? Еще как! С той поры,
Как ему милый голос явился
В будку, в комнату, в тартарары...

☆☆☆

Антон Павлович — вот кого представить
В двадцатом гибельном хотел бы я году.
Уйти с Деникиным, махнуть рукой нельзя ведь.
Но и под красными ему немотугу
Быть: жаль расстрелянных, и дела не поправить,
И надрываются, ревут гудки в порту.

Нет, он уехал бы; нет, он остался б, точно,
С охранной грамотой на белостенный дом
И сад ступенчатый; нет, он бы еженощно
Железных ждал гостей; нет, он бы над письмом
Сидел к товарищам из ВЧКа; нет, срочно
Его б спровадили в Европу за теплом

И укреплением здоровья... Что, тоскливо?
Вот кто бы нобелевский был лауреат!
А «Жизнь Арсеньева» ждала бы терпеливо
Других каких-нибудь отличий и наград.
В окно б медонская сквозь сон тянулась слива,
И было б Чехову едва за шестьдесят.

Что ж, начинающих от нас бы посылали
К нему писателей учиться мастерству?
Я рифму страшную не назову в запале!
Зазвали б Чехова в советскую Москву?
Он вместе б с Пешковым на Беломорканале
В алмазах небо вдруг увидел наяву?

Нет, не увидел бы! Не соблазнился б, что ты...
Не обманули бы его, не провели,—
Прости, врываются в стихи такие ноты...
За сеной рубят сад, играют марш вдали...
В шестидесятые, подтаявшие годы
Впервые Чехова прочесть бы мы смогли.

☆☆☆

Остынь, возьми слова назад:
Не слышишь, что ты говоришь...
Того не склеит влажный взгляд,
Что хвостиком смахнуламышь,
Живя под плинтусом среди
У нас похищенных крупниц
Земного счастья... Остуди
Опасный блеск своих зарниц.

Тот, кто завидует двоим,
Не знает, слабый, глядя вслед,
Чего их счастье стоит им
В падучем, скользком мире бед,
Каких чудовищ приручить...
Какой наукой для сердец...
(Он сам бы фразу мог продлить)
Во что обходится дворец...

Ночная музыка

Ночная музыка сама себе играет,
Сама любит себя собой.
Где чуткий слушатель? Он спит. Он засыпает.
Он ищет музыку руками, как слепой.

Ночная музыка резвится, как наяда
В ручье мерцающем, невидима никем.

Ночная музыка, не надо!
Не долетай до нас, забудь о нас совсем.

Мы двери заперли и окна затворили.
Жить осмотрительно, без счастья и страстей —
О, чем не заповедь! Ты где, в автомобиле?
На кухне, у чужих людей?

Но те, что слушают, скорей всего не слышат.
Я знаю, как это бывает: кофе пьют,
Узор, что музыкою вышит,
Не отличим для них от нитей всех и пут.

И только тот, кто ловит звуки
За десять стен от них и множество дверей,
Тот задыхается от счастья, полный муки:
Он диких в комнату впустил к себе зверей.

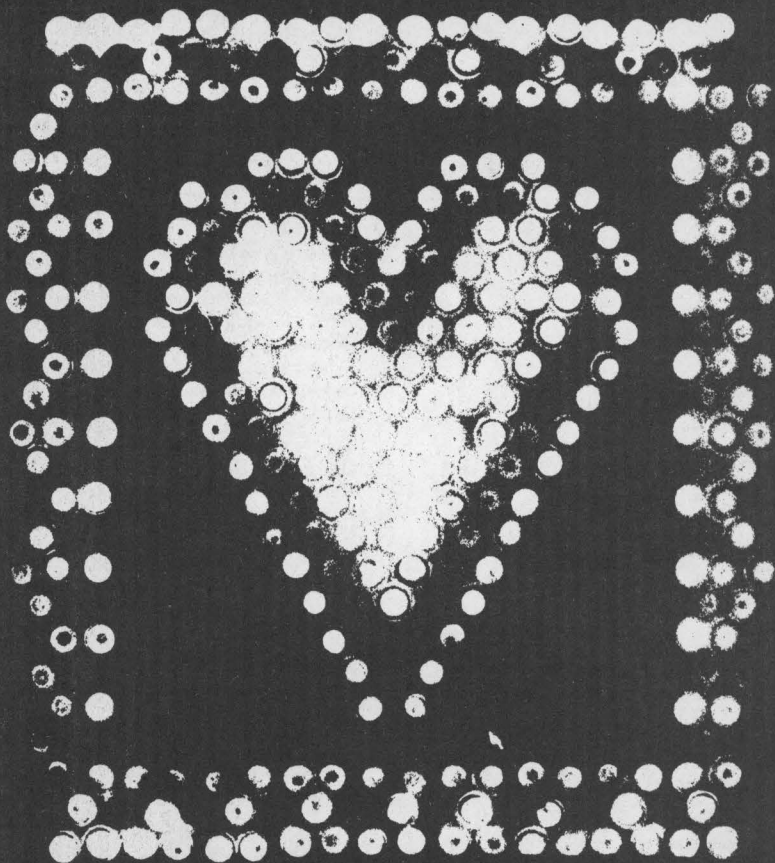
Любовь на кресло
С размаха прыгает, и Радость — на кровать,
И Гнев — на тумбочку, все ожило, воскресло,
Очнулось, вспомнилось, прихлынуло опять.

☆☆☆

Кто мне ссудил и знойный этот день,
И плавание, и сладкое топтанье
На лежаке (как если бы, как тень,
Блаженное я вел существование
В стране теней), и мнущий воду винт,
И пляжный тент, и чайку, и дымочек,
И раздевалки тесный лабиринт,
Как бы его фрагмент или кусочек?

Хитрили, гибли, мучили, в плену
Держали, шли на варваров в когортах,
Жгли на кострах, и славили страну,
И реабилитировали мертвых;
Но ничего придумать не смогли
Прекрасней, чем у мыса ли, у рифа
Купанье на краю родной земли,
Что знал уже Улисс и знала нимфа.

г. Ленинград



LOVE STORY



*in
Segal*

*Ryan O'Neal
and
Ali MacGraw*

Эрик СИГЛ
**ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ**

Повесть

Мы живем в стране всеобщей полуграмотности. Долгие десятилетия наши представления о мире, истории, литературе, философии, нравственности формировались под жестким идеологическим контролем, определявшим, что мы знать можем, а что — не имеем права. Результат очевиден до слез. Целые пласты мировой духовной жизни мы проворонили, объявив буржуазной культурой. Досталось от нас и так называемым бестселлерам. Если переводить дословно, «бестселлер» — это лучшие всех продающийся. Вероятно, исходя из этого буквального смысла, наша пропаганда уверяла, что бестселлеры — типичные образчики западной масскультуры, навязанные доверчивому потребителю всемогущей рекламой и средствами информации. При этом как-то забывалось, что многие классические произведения XX века, прежде чем занять место в истории литературы, были бестселлерами: Хемингуэй, Стейнбек, Мозм, Маркес, Саган... Не все бестселлеры стали классикой, но стать бестселлером — тоже ведь немало!

В предреволюционные годы любая сколько-нибудь заметная зарубежная книга мгновенно выходила в России: Уайльд, Киплинг, Уитмен, Метерлиник, Лондон... Кто знает, быть может, высота пробы нашего «серебряного века» зависела и от этой всеотзывчивости отечественной литературы?!

Сегодня мы стираем белые пятна. Везде. От всеобщей полуграмотности наметилось движение к грамотности, пусть не всеобщей, пусть... Очень важно, чтобы именно сегодня наш читатель все-таки получил те книги, которые все эти десятилетия будоражили, питали сердца и умы там, за железным занавесом или пыльными кумачовыми порттьерами.

Именно по этим соображениям мы решили в «Юности» открыть рубрику «Зарубежный бестселлер». А саму рубрику открыть американским супербестселлером «История любви» (Love Story) Эрика Сигла (Erich Segal). Практически все помнят знаменитую мелодию из одноименного кинофильма. Некоторые видели ленту, крутившуюся в закрытых аудиториях застойного периода. Но саму книгу прочитали лишь те немногие, кто знал английский язык и добыл небольшой томик, выходивший на Западе сумасшедшими тиражами.

Эрик Сигл, по профессии университетский преподаватель, выпустил «Историю любви» в начале семидесятых, когда студенчество на Западе было чрезвычайно политизировано. Оливер и Джени, герои повести, тоже студенты, но речь идет не о политических притязаниях молодого поколения (может быть, и обоснованных), а о любви. Да, нам всегда казалось, что главное — взлелеять в людях классовое самосознание; выяснилось: это очень просто и очень опасно. Куда труднее развить в людях чувства любви, доброты, сострадания, преданности... Преданности не строю или партии, а друг другу... Именно об этом повесть Сигла, и именно поэтому, читая ее, роняли слезы люди всех цветов кожи, кроме нас, разумеется...

Несмотря на внешнюю простоту, «История любви» довольно сложна по эмоциональной и культурной насыщенности. Есть в ней и та особая интонация, без чего «История любви» превратилась бы в обычную литературную «слезовыжималку». Потерять эту интонацию при переводе — значит, потерять почти все! Думаю, еще и поэтому повесть Сигла так долго не переводилась...

Но непреходящий, подспудный интерес к этой вещи у нас оставался и закончился тем, чем и должен был закончиться: появились сразу две переводческие версии (см. также сборник «История любви. Американская повесть 70-х годов». Московский рабочий, 1990 г.). На первый взгляд, следуя журналистскому стереотипу, «Юность» должна бы отказаться от своего обещания опубликовать «Историю любви», данного еще до появления вышепоименованного сборника. Но, во-первых, наших читателей, особенно молодых, до которых едва ли дойдет этот дефицитный сборник, конечно же, не устроит такая необязательность журнала. А во-вторых, и это главное, мы предлагаем нашу версию «Истории любви», выполненную специально для «Юности».

Кто-то заметил, что различные переводы художественного произведения похожи на детей, у которых мать одна, но отцы разные. Об остальном же судить читателям...

Юрий ПОЛЯКОВ

Слева — актеры одноименного фильма
Райан О'Нил и Эли Макгро.

Журнальный вариант.

Что можно сказать о двадцатипятилетней девушке, которая умерла?

Что она была красивой. И умной. Что любила Моцарта и Баха. И «Битлз». И меня. Однажды, когда она окончательно замучила меня, рассказывая о своих музыкальных привязанностях, я спросил: «Ну и кто за кем?» — «По алфавиту», — смеясь, ответила она. Я тоже улыбнулся. Тогда. Но теперь сижу и думаю: ведь если в этот список вставить мое имя, то я всего-навсего плетусь в хвосте у Моцарта, а вот если фамилию — тогда мне удастся втиснуться между Бахом и «Битлз». Но в любом случае я не первый, и это, неизвестно почему, чертовски угнетает меня. С самого детства я привык во всем быть первым. Впрочем, это у нас фамильное.

Той осенью, когда я учился на последнем курсе, у меня вошло в привычку ходить в библиотеку Рэдклиффа. И не только для того, чтобы поглазеть на сексапильных студенточек, хотя надо сознаться, что и для этого тоже. К тому же в этом тихом местечке можно было получить любую книгу. До экзамена по истории оставался всего лишь день, а я даже еще не заглядывал в список рекомендованной литературы — типичная гарвардская болезнь. Я неторопливо приблизился к столу, где принимали заказы на книги. Мне нужен был заветный том, с помощью которого я собирался выкарабкаться на завтрашнем экзамене. Там сидели две девушки. Одна из них — здоровенное теннисное нечто, а вторая — из породы очкастых мышей. Я остановил свой выбор на Минни-Четырехглазке.

— У вас есть «Конец средневековья»?

Она быстро взглянула на меня и спросила:

— А у вас есть собственная библиотека?

— Послушай, Гарвард имеет право пользоваться библиотекой Рэдклиффа.

— Я с тобой говорю не о правах, Преппи¹, я сейчас говорю об этике. У вас, ребята, пять миллионов томов. У нас — какие-то вшивые тысячи.

Боже мой, и эта тоже воображает себя высшим существом! И тоже, наверное, думает, что если соотношение между Рэдклиффом и Гарвардом 5:1, то и девицы соответственно в пять раз умнее. Я с такими экземплярами обычно не церемонюсь, но тогда мне жутко была нужна эта чертова книга!

— Послушай, мне нужна эта чертова книга!

— Будь любезен, выбирай выражения, Преппи!

— А с чего ты взяла, что я ходил в подготовительную школу?

— Сразу видно, что ты тупой и богатый, — сказала она, снимая очки.

— А вот и нет, — запротестовал я. — На самом деле я умный и бедный.

— Нет уж, Преппи. Это я умная и бедная.

Она посмотрела на меня. Глаза у нее были карие. О'кей. Возможно, я и вправду похож на богатого, но я не позволю какой-то там клиффи — даже если у нее красивые глаза — обзывать меня болваном.

— А почему, черт возьми, ты считаешь себя такой умной? — спросил я.

— А потому, что я никогда бы не пошла выпить с тобой кофе, — ответила она.

— А я бы тебя и не пригласил.

— Вот-вот, — сказала она. — Именно поэтому-то я и считаю тебя тупым.

Теперь нужно объяснить, почему я все-таки пригласил ее выпить кофе. Предусмотрительно капитули-

ровав в решающий момент — иначе говоря, изобразив внезапное желание пригласить ее в кафе, — я получил волеженный флиант. А поскольку она должна была дежурить до закрытия библиотеки, я располагал кучей времени, чтобы вобрать в себя несколько многозначительных фраз о том, как в конце одиннадцатого века королевская власть, все более опираясь на законников, постепенно избавлялась от клерикальной зависимости. На экзамене я получил «А»¹ с минусом — между прочим, эта отметка совпала с той, которую я мысленно поставил Дженни за ее ноги в тот момент, когда она первый раз вышла из-за стола. Впрочем, то, как она была одета, я оценил не столь высоко — чересчур богемно на мой вкус. Особенно отвратительной мне показалась та индейская штучковина, которую она использовала в качестве дамской сумочки. Но я не стал высказывать свое мнение и правильно сделал, потому что, как выяснилось позже, это было ее собственное изделие.

Мы решили посидеть в «Лилипуте» — это одно местечко поблизости, где можно съесть пару сандвичей, и ходят туда, вопреки названию, люди нормального роста. Я заказал два кофе и шоколадное мороженое (для нее).

— Меня зовут Дженнифер Кавиллери, — сказала она, — я американка итальянского происхождения.

Ну, конечно, сам бы я не догадался.

— Я занимаюсь музыкой, — добавила она.

— Меня зовут Оливер, — представился я.

— Это имя или фамилия? — спросила она.

— Имя, — ответил я и признался, что мое полное имя Оливер Бэрретт (ну, почти полное).

— О-о, — произнесла она, — тебя зовут Бэрретт, как поэтессу?

Последовала пауза, во время которой я тихо радовался, что она не задала такой привычный и такой мучительный для меня вопрос: «Тебя зовут Бэрретт, как Бэрретт Холл?»

Должен признаться, что я действительно родственник того парня, который построил Бэрретт Холл — самое большое и уродливое сооружение в Гарварде, колоссальный памятник деньгам, тщеславию и чудовищному гарвардизму моей семьи.

Потом Дженнифер довольно долго молчала. Неужели нам не о чем говорить? Может быть, я разочаровал ее тем, что не имею никакого отношения к поэзии? В чем же дело? Она просто сидела, чуть-чуть улыбаясь мне. Чтобы хоть чем-то заняться, я начал просматривать ее тетрадки. Почерк у нее был любопытный — маленькие остренькие буковки, и ни одной заглавной (может быть, девочка вообразила себя э. э. каммингсом²). А занималась она чем-то умопомрачительным: «Сравнит. Лит. 105, Музыка 150, Музыка 201...»

— Музыка 201? Это ведь курс для выпускников?

Она кивнула с плохо скрываемой гордостью:

— Полифония Ренессанса.

— А что такое «полифония»?

— Ничего сексуального, Преппи!

Почему я все это терплю? Может быть, она вообще не читает «Кримзон» и не знает, кто я такой?

— Эй, ты что, не знаешь, кто я такой?

— Знаю, — ответила она с пренебрежением. — Ты тот самый парень, которому принадлежит Бэрретт Холл.

Она действительно не знала, кто перед ней.

— Бэрретт Холл не принадлежит мне, — заюлил я. — Просто мой прадедушка подарил его Гарварду.

¹ «Преппи» — Preppie — пренебрежительное прозвище тех, кто посещает частные курсы по подготовке в высшее учебное заведение. Обычно это дети состоятельных родителей (амер.). — Здесь и далее примечание переводчиков.

¹ «А» — высшая оценка в университетах США.

² Каммингс, Эдуард Эстлин (1894—1962), американский поэт. Одним из его стилистических приемов был отказ от использования заглавных букв.

— Для того, чтобы его занюханного правнука на-
верняка приняли в Гарвард.

— Дженни, если я, по-твоему, законченный дебил,
то тогда зачем ты потащила со мной пить кофе?

Она подняла глаза и улыбнулась:

— Мне нравится твое тело.

Одно из главных качеств настоящего победите-
ля — это умение красиво проигрывать. И здесь нет
никакого парадокса. Истинный гарвардец способен
превратить в победу любое поражение...

И, провожая Дженни до общежития, я все еще
надеялся взять верх над этой редклиффской паршив-
кой.

— Послушай, паршивка, в пятницу вечером будет
хоккейный матч. Играет Дартмут.

— Ну и...?

— Ну и я хочу, чтобы ты пришла.

Она ответила с характерным для Редклиффа ува-
жением к спорту:

— А какого черта я должна идти на этот вшивый
хоккейный матч?

Мне удалось ответить небрежно:

— Потому что играю я.

— За какую команду? — спросила она.

Глава II

Оливер Бэрретт IV
Ипсвич, Массачусетс.
Возраст — 20 лет.
Специальность —
общественные науки.

Деканский список ¹:
1961, 1962, 1963.

Член хоккейной команды —
победителя чемпионатов
Плющевой Лиги ²: 1962, 1963.

Предполагаемая карьера —
юриспруденция.
Студент последнего курса.
Рост — 5 футов 11 дюймов.
Вес — 185 фунтов.

К этому времени Дженни уже наверняка прочитала
мои биографические данные в программке. Я трижды
удостоверился, что Вик Клейман, наш менеджер,
снабдил ее программкой.

— Боже мой, Бэрретт, это что, твое первое свида-
ние?

— Заткнись, Вик, а то будешь жевать свои зубы.

Разминаясь на льду, я ни разу не помахал ей
(верный признак равнодушия) и даже не взглянул
в ее сторону. Но убежден, что она была убеждена,
будто я на нее все-таки смотрю. Я также думаю, что
во время исполнения Национального Гимна она сня-
ла очки отнюдь не из уважения к государственному
флагу...

В середине второго периода мы побеждали Дартмут
со счетом 0:0. Иными словами, Дейви Джонстон
и я уже несколько раз были готовы продырявить
сетку их ворот. Зеленые ублюдки почувствовали это
и начали грубить.

...Обычно я придерживаюсь определенной такти-
ки: луплю все, что одето в форму противника. Где-то
под ногами болталась шайба, но в эту минуту мы
сосредоточили все свои усилия на том, чтобы как
можно качественнее отдубасить друг друга.

И тут засвистал судья.

— Удаление на две минуты.

Я оглянулся. Он показывал на меня. На меня?
Но ведь я еще ничего не сделал, чтобы заслужить
удаление?!

— Но послушайте, что я такого сделал?

Странно, но судья не заинтересовался продолжени-
ем диалога.

— Номер седьмой — удаление на две минуты! —
крикнул он в сторону судейского столика и подтвердил
это соответствующей жестикуляцией...

Зрители неодобрительно зароптали; некоторые гар-
вардцы выразили сомнение по поводу остроты зрения
и неподкупности судей. Я сидел, стараясь восстано-
вить дыхание и не глядя на лед, где Дартмут теперь
имел численное преимущество.

— Почему ты сидишь здесь, когда все твои друзья
играют там?

Это был голос Дженни. Я проигнорировал ее
и принялся громко подбадривать своих товарищей по
команде.

— Жми, Гарвард! Шайбу! Шайбу!

— Что ты натворил?

Мне пришлось повернуться и ответить — в конце
концов я же пригласил ее сюда.

— Я перестарался...

— Наверное, это большой позор?

— Ну, Дженни, пожалуйста, не мешай — я хочу
сосредоточиться.

— На чем?

— На том, как бы мне урвать этого подонка Эла
Реддинга!

Я не отрывал глаз ото льда, оказывая моральную
поддержку моим соратникам.

— Значит, ты любишь грязную игру? — Дженни
продолжала занудствовать. — А меня бы ты мог
«урвать»?

Я ответил, не поворачивая головы:

— Я это сделаю прямо сейчас, если ты не за-
ткнешься.

— Я ужоу. До свидания.

Когда я оглянулся, ее уже не было. Я встал,
чтобы лучше видеть игру, и в эту минуту сообщили,
что мое штрафное время истекло. Мне оставалось
только перемахнуть через барьер.

Толпа приветствовала мое возвращение. Если Бэр-
ретт «в игре», все будет о'кэй. Где бы ни пряталась
Дженни, она должна была слышать, какой взрыв
энтузиазма вызвало мое явление на лед. И потому не
все ли равно, где она?

А где она?

...Ринувшись к шайбе, я успел подумать, что
у меня есть доля секунды, чтобы взглянуть вверх на
трибуны и найти глазами Дженни. И я увидел ее. Она
была там.

В следующий момент я сообразил, что еду на соб-
ственной заднице. Оказывается, в меня врезались
сразу два зеленых ублюдка, в результате чего я сел
прямо на лед и, как следствие, невероятно смутился.
Бэрретт повержен! Верные гарвардские фанаты даже
застонали, когда я поскользнулся. И было слышно,
как кровожадные болельщики Дартмута скандируют:
«Бей их! Бей их!»

Что подумает Дженни?

Дартмутцы снова атаковали наши ворота, и снова
наш вратарь парировал их удар... Зрители совершенно
озверели. Надо было забивать гол. Я завладел шай-
бой и повел ее через все поле — за синюю линию
Дартмута...

— Вперед, Оливер, вперед! Оторви им головы!

Среди рева толпы я различил пронзительный визг
Дженни. Он был изысканно яростен. Я обманул
одного защитника и с такой силой вцепился в другого,
что тот отключился. Но потом — вместо того чтобы
бить по воротам самому — я переадресовал шайбу
Дейви Джонстону, неожиданно появившемуся спра-
ва. И Дейви послал ее точно в сетку ворот. Гарвард
открыл счет!

В следующий миг мы обнимались и целовались.
Толпа бесновалась... А тот парень, которого я выр-
бил, все еще не мог оторвать ото льда свою задницу.

¹ Список десяти лучших студентов на курсе.

² Плющевая Лига — название восьми университетов, находящихся
на Восточном побережье США.

Болельщики швыряли программки на лед. Это окончательно сломало хребет Дартмуту!.. Мы уделали их со счетом 7:0.

Будь я сентиментален и люби Гарвард достаточно горячо, чтобы вешать на стенки какие-нибудь фотографии, то на снимках был бы запечатлен Диллон. Стадион Диллон... Каждый день, ближе к вечеру, я шел туда, приветствовал моих товарищей дружеской руганью, сбрасывал с себя сбрую цивилизации и превращался в спортсмена. Как это чудесно — надевать на себя хоккейные доспехи и майку с доброй старой цифрой «7» (мне даже грезилось, что никто больше не получит моего номера, когда я уйду из команды, но, увы, этого не произошло), взять коньки и направиться на каток Уотсон.

Но еще приятнее возвращаться в раздевалку. Стянуть с себя потную форму и нагишом важно направиться к стойке за полотенцем.

— Ну, как поработал сегодня, Олли?

— Отлично, Ричи. Отлично, Джимми.

Потом пройти в душевую, слушать о том, кто, с кем и сколько раз сделал в ночь с субботы на воскресенье. «Мы имели этих свиноматок из Маунт Ида, понимаешь...?» К счастью, у меня было персональное место для медитаций. Господь Бог наградил меня большим коленом (да, именно наградил — можете заглянуть в мою призывную карточку!). Поэтому после игры мне был необходим небольшой гидромассаж. Сидя в воде и разглядывая кипение струй вокруг моего колена, я любовно пересчитывал свои ссадины и синяки и размышлял обо всем и ни о чем конкретно. В тот вечер я думал о забитой мной шайбе и еще об одной, заброшенной с моей подачи, а также о том, что наша команда уже почти обеспечила себе очередной титул чемпиона Плющевой Лиги — в третий раз на моей памяти...

Боже мой! Да ведь Дженни ждет меня на улице. Я надеюсь! Надеюсь, что еще ждет! Господи Иисусе! Сколько же времени я прокайфовал в этом уютном местечке, пока она торчала снаружи, на кембриджском холоде? Я поставил рекорд по скоростному одеванию и, не успев просохнуть, выскочил из дверей Диллона.

Морозный воздух был как удар. Бог ты мой, ну и холод! И темнота! У входа все еще толпилась небольшая кучка болельщиков, в основном старые верные фанаты — наши выпускники, которые в душе так и не сняли с себя хоккейные доспехи...

Отойдя на несколько шагов в сторону от болельщиков, я принялся отчаянно высматривать Дженни. И вдруг она выскочила откуда-то из-за кустов — лицо ее было замотано шарфом, и виднелись только глаза.

— Эй, Преппи, здесь чертовски холодно.

Я ужасно был рад ее видеть!

— Дженни! — И я, будто бы инстинктивно, слегка поцеловал ее в лоб.

— Разве я тебе разрешила это сделать?

— Что?

— Разве я сказала тебе, что ты можешь меня поцеловать?

— Извини, я увлекся.

— А я нет.

Почти все уже разошлись, было темно, холодно и очень поздно. Я снова поцеловал ее. Но уже не в лоб и не слегка. Поцелуй длился восхитительно долго. Когда же он закончился, она все еще держалась за мой рукав.

— Мне что-то это не нравится, — произнесла она.

— Что именно?

— Мне не нравится то, что мне это нравится.

Назад мы шли пешком (машину пришлось оставить, потому что Дженни хотела прогуляться), и она держа-

ла меня за рукав. Не за руку, а именно за рукав. Только не спрашивайте меня, почему. На пороге Бриггс Холла я не стал ее целовать и желать доброй ночи.

— Послушай, Джен, возможно, я не буду тебе звонить несколько месяцев.

Она на секунду замолчала. На несколько секунд. И наконец спросила:

— Почему?

— А может быть, позвоню тебе, как только доберусь до своей комнаты.

Я зашагал прочь.

— Недоносок! — прошептала она.

Я круто повернулся и влепил шайбу с расстояния двадцати футов.

— Вот видишь, Дженни, тебе так нравится щелкать по носу других, а сама ты этого не любишь.

О, как мне хотелось рассмотреть выражение ее лица, но я воздержался — по стратегическим соображениям.

Когда я вошел, мой сосед по комнате Рэй Стрэттон играл в покер с двумя своими приятелями-футболистами.

— Привет, животные!

Они ответили подобающим в таких случаях хрюканьем.

— Ну, что у тебя сегодня, Олли? — спросил Рэй.

— Шайбу засадили с моей подачи, и еще шайбу — я сам.

— С подачи Кавиллери?

— Не твоё дело, — отрезал я.

— А это еще кто? — спросил один из бегемотов.

— Дженни Кавиллери, — ответил ему Рэй. — Дочка музыкантша.

— Я ее знаю, — сообщил второй из бегемотов. — У нее очень аккуратная попка.

Я проигнорировал реплики этих сексуально озабоченных грубиянов, взял телефон и понес его в свою спальню.

— Она играет в Обществе друзей Иоганна Себастьяна Баха, — сказал Стрэттон.

— А во что она играет с Бэрреттом?

— В «А ну-ка, отними!»

Хмыканья, хрюканье и гогот. Животные веселились.

— Джентльмены, — объявил я, выходя из комнаты, — а не пойти ли нам...

И я заслонился дверью от новой волны нечеловеческих воплей. Потом снял ботинки, завалился на кровать и набрал номер Дженни.

Мы разговаривали шепотом.

— Эй, Дженни...

— Да?

— Джен, что бы ты ответила, если бы я тебе сказал...

Я запнулся. Она ждала.

— Мне кажется, я в тебя влюбился.

Наступило молчание. Потом, очень тихо, она произнесла:

— Я бы ответила... что ты мешок с дерьмом.

И повесила трубку.

Я не был ни расстроен, ни удивлен.

Глава III

Во время игры с Корнеллом я получил травму.

Правда, это произошло по моей вине. В одной крутой схватке я допустил досадную ошибку, назвав их центрального нападающего «трахнутым кэнук-ком¹». При этом я имел неосторожность забыть, что четыре члена их команды — канадцы и, как выяснилось, все четверо — лютые патриоты... Я получил не

¹ Кэнук — презрительное прозвище канадцев.

только травму, но и оскорбление, потому что меня же и удалили с площадки... На целых пять минут! Садясь на скамейку штрафников, я видел, как наш тренер рвал на себе волосы.

Ко мне подскочил Джеки Фелт. И только тогда я осознал, что вся правая сторона моего лица превратилась в кровавое месиво.

— Господи Иисусе! — повторял Джек, обрабатывая мою рану кровоостанавливающим карандашом. — Господи Боже мой, Олли!

Я спокойно сидел и молчал, тупо уставившись в пространство. Мне было стыдно смотреть на лед, где уже начали оправдываться мои самые худшие опасения: шайба влетела в наши ворота. Корнеллские болельщики визжали, ревели и свистели. Счет сравнялся. Теперь Корнелл мог преспокойно выиграть этот матч, а значит, и титул чемпиона Плющевой Лиги. Вот дьявол! А я отсидел еще только половину штрафного времени...

На противоположной трибуне среди немногочисленных гарвардских болельщиков царил угрюмый молчаливый. К этому моменту все зрители уже забыли обо мне, и лишь один не отрывал глаз от скамейки штрафников...

Там, по другую сторону ледяного пространства, сидел Камнелиций и бесстрастно наблюдал, как исчезают под пластырем последние капли крови на лице его единственного сына. О чем он думал? «Ай-яй-яй» или же что-нибудь в этом роде?..

Возможно, Камнелиций по привычке предавался в этот миг самовосхвалению: оглядитесь вокруг — сегодня здесь так мало гарвардцев, но среди этих немногих — я. Я, Оливер Бэрретт III, крайне серьезный человек, занятый своими банками и разными прочими вещами, я все-таки нашел время приехать в Итаку, чтобы присутствовать на каком-то вшивом хоккейном матче...

Это была наша последняя большая игра... И мы проиграли со счетом 3:6.

После матча мне сделали рентген, и выяснилось, что кости целы. Тогда Ричард Сельцер, доктор медицины, наложил на мою щеку двенадцать швов.

В раздевалке было пусто. Должно быть, все уже отправились в мотель. Я решил, что они просто не хотели видеть меня. С чувством ужасной горечи — даже во рту было горько — я покидал в сумку свои вещи и вышел на улицу. В этом зимнем безлюдье на окраине штата Нью-Йорк гарвардских фанатов было совсем немного...

— Сейчас бы не помешал хороший кусок мяса или бифштекс, — произнес знакомый голос. Да, это был Оливер Бэрретт III. Никто, кроме него, не мог бы порекомендовать такое старомодное средство для лечения фонаря под глазом...

За обедом состоялся очередной раунд наших бесконечных «недоразговоров», неизменно начинавшихся словами «Ну, как ты живешь?» и заканчивающихся «Может быть, я могу для тебя что-нибудь сделать?».

— Ну, как ты живешь, сын?

— Прекрасно, сэр.

— Лицо болит?

— Нет, сэр.

Кстати, оно потихоньку начинало болеть все сильнее и сильнее.

— Я бы хотел, чтобы Джек Уэллс посмотрел тебя в понедельник.

— Это ни к чему, отец.

— Но он хороший специалист...

— Корнеллский доктор тоже вроде не ветеринар, — ответил я в надежде слегка остудить тот снобистский пыл, с которым мой отец обычно относился к разным специалистам, экспертам и прочим представителям высшей касты.

— Как неудачно вышло, — заметил Оливер Бэрретт III, и мне сначала показалось, что это просто попытка к юмору: мол, как неудачно вышло, что я «получил такую чудовищную травму».

— Да, сэр, — сказал я (вероятно, он ждал, что я еще и хихикну в ответ).

И тут мне пришло в голову, что квазиостроумное замечание моего отца можно рассматривать и как разновидность утонченного упрека в связи с моей выходкой на льду.

— Ты имеешь в виду, что сегодня вечером я вел себя, как скотина?

Мой вопрос вызвал на его лице тень удовлетворения. Однако он просто ответил:

— Ты же сам помянул ветеринаров...

Мы прошлись по всему диапазону наших обычных разговоров, крутившихся вокруг «недотемы», особо излюбленной Камнелиций, — моих планов.

— Скажи-ка, Оливер, из Школы Права у тебя не было никаких известий?

— Отец, дело в том, что я еще не принял окончательного решения относительно Школы Права.

— Я только любопытствую, приняла ли какое-либо решение Школа Права относительно тебя.

Вероятно, это была еще одна шутка. И, вероятно, мне надлежало улыбнуться в ответ на цветистую риторику моего отца.

— Нет, сэр. Я не получил никаких известий.

— Я могу позвонить Прайсу Циммерману...

— Нет! — мгновенно отреагировал я. — Пожалуйста, не надо, сэр.

— Не для того, чтобы просить за тебя, — честно признался О. Б. III, — просто навести справки.

— Отец, я хочу дождаться письма наравне со всеми. Пожалуйста.

— Да. Конечно. Отлично.

— Спасибо, сэр.

— Тем более что практически нет никаких сомнений по поводу твоего зачисления, — добавил он.

Не знаю, почему, но О. Б. III умудрялся унижать меня, даже вознеся хвалу в мой адрес.

— Не такой уж это верняк, — ответил я. — Хоккейной команды-то в Школе нет.

Не представляю, зачем я оплевывал сам себя... Может быть, только затем, чтобы говорить обратное его словам?

— У тебя есть и другие достоинства, — утешил меня Оливер Бэрретт III, но развивать данную мысль не стал. Впрочем, вряд ли он был способен на это.

Еда оказалась такой же отвратительной, как и наш разговор, с той лишь разницей, что черствость булочки я мог предсказать еще до того, как их принесут, но предвидеть, какую тему для разговора вкрадчиво подбросит мой отец, было невозможно.

— И еще не надо забывать про Корпус Мира, — заметил он ни с того ни с сего.

— Сэр? — переспросил я, не вполне уверенный в том, что это было — вопрос или утверждение.

— Я полагаю, Корпус Мира — замечательное учреждение, не так ли? — добавил он.

— Ну, конечно, — ответил я, — это гораздо лучше, чем Военный Корпус.

Счет сравнялся. Я не понял, что имеет в виду он, и наоборот...

Даже яблочный пирог оказался черствым.

...Около половины двенадцатого я проводил его до машины.

— Могу я что-нибудь сделать для тебя, сын?

— Нет, сэр. Спокойной ночи, сэр.

И он уехал... Я вернулся в мотель и позвонил Джени.

Это было единственное приятное событие за весь день. Я рассказал ей все о драке (не уточняя повода,

приведшего к этому инциденту), и, кажется, она осталась довольна. Мало кто из ее хлипких друзей-музыкантов мог отвечать или выдерживать подобные тумачи!

— Надеюсь, ты сделал с тем парнем все, что надо? — спросила она.

— Ну! Конечно, сделал... Я взбил из него гоголь-моголь.

— Как жаль, что я этого не видела. Слушай, а нельзя кого-нибудь «взбить», когда вы будете играть с йельской командой?

— Сделаем...

Я улынулся. Она тоже любит простые радости жизни.

Глава IV

— Дженни разговаривает по телефону.

Эту информацию выдала мне студентка, дежурившая у коммутатора.

— Спасибо, — ответил я. — Подожду здесь.

— Не повезло вам в матче с Корнеллом. В «Кримзоне» написано, что на тебя навалились сразу четверо.

— Да, и меня же еще удалили. На пять минут.

— Да.

Разница между другом и болельщиком заключается в том, что с последним говорить почти не о чем.

— Дженни уже закончила?

Взглянув на пульт, девушка ответила:

— Нет еще.

Интересно, на кого это Дженни транжирит время, предназначенное для свидания со мной? На какого-нибудь музыкального доходягу? Я ведь знаю, что некто Мартин Дейвидсон, старшекурсник из Адамс Хаус, дирижирующий оркестром Общества друзей Баха, считает, что ему принадлежат особые права на Дженни. Разумеется, не на тело — думаю, у этого парня ничего не поднимается, кроме дирижерской палочки. Во всяком случае, пора заканчивать с узурпацией моего времени.

— Где тут у вас телефонная будка?

— Внизу, за углом. — И она указала мне точное направление.

Я спустился в холл и уже издали увидел Дженни. Она оставила дверь кабинки открытой. Я приближался медленно, вразвалочку, надеясь, что вот сейчас она заметит мои бинты, мои боевые раны, заметит всего меня сразу — и так растрогается, что бросит трубку и ринется в мои объятия. Приближаясь, я услышал обрывки ее разговора.

— Да. Конечно! Ну, разумеется. О, я тоже, Фил. Я тебя тоже люблю, Фил.

Я перестал приближаться. С кем это она говорит? Очевидно одно — не с Дейвидсоном: уж кого-кого, но его Филом нельзя было назвать. Я давно выяснил о нем все, что нужно: «Мартин Юджин Дейвидсон, Риверсайд Драйв — 70, Нью-Йорк. Высшая школа музыки и искусств». Судя по фотографии, он тонко чувствовал, глубоко мыслил и весил на пятьдесят фунтов меньше меня. Но при чем здесь Дейвидсон? Совершенно ясно, что Дженнифер Кавиллери дала отставку нам обоим, предпочтя кого-то третьего. Ему и предназначен воздушный поцелуй, посылаемый в телефонную трубку. Как это пошло!

Я отсутствовал всего сорок восемь часов, и уже какой-то ублюдок по имени Фил завалился с Дженни в постель! Ну, конечно, так это и было!

— Да, Фил, я тоже люблю тебя. Пока.

Вешая трубку, она вдруг заметила меня и даже не покраснела. Она улыбнулась и послала еще один воздушный поцелуй — но теперь уже мне. Чудовищное двуличие!

Дженни легонько поцеловала меня в уцелевшую щеку.

— Эй, ты ужасно выглядишь!

— Я травмирован, Джен.

— А тот, другой, он выглядит еще хуже?

— Да, намного. Другие парни у меня всегда выглядят хуже.

Я произнес все это зловеще, как бы давая понять, что изуродую любого соперника, норовящего заползти к Дженни в постель в мое отсутствие. Вот уж действительно с глаз долой — из сердца вон! Она схватила меня за рукав, и мы направились к двери.

Когда мы вышли из общежития и уже собирались сесть в мой «эм-джи», я набрал полные легкие вечернего воздуха, выдохнул и спросил как можно небрежнее:

— Послушай, Джен...

— Да?

— М-м, а кто такой Фил?

Садясь в машину, она деловито ответила:

— Мой отец.

Так я и поверил в эти сказки.

— И ты зовешь своего отца Фил?

— Ну, это его имя. А ты как зовешь своего?

Однажды мне Дженни рассказала, что ее воспитывал отец — то ли булочник, то ли пекарь из Крэнстона. Когда Дженни была еще совсем маленькой, ее мать погибла в автомобильной катастрофе. Именно поэтому она до сих пор еще не получила водительских прав. Отец Дженни во всех иных отношениях, по ее словам, «действительно отличный парень», чудовищно суеверен и поэтому не разрешает своей дочери водить машину...

— А как ты зовешь своего? — повторила она.

Я так задумался, что даже не понял ее вопроса.

— Кого своего?

— Ну, каким термином ты обозначаешь своего предка?

Я ответил ей, обозначив его именно так, как мне всегда этого хотелось:

— Сукин Сын.

— Прямо в лицо? — изумилась она.

— Я никогда не вижу его лица.

— Он что, носит маску?

— В каком-то смысле да. Маску из камня. Абсолютно каменную.

— Да ладно! Он, должно быть, ужасно гордится тобой. Ты же знаменитый спортсмен.

Я взглянул на нее и понял, что ей известно далеко не все.

— И он тоже был знаменитым гарвардским спортсменом, Дженни.

— И даже знаменитее, чем один хоккеист из Плющевой Лиги?

Мне было приятно, что она так высоко ценит взятые мною спортивные вершины, но, к сожалению, придется спуститься вниз и рассказать кое-что об отце.

— Он участвовал в Олимпийских играх 1928 года — греб на академической одиночке.

— Боже мой! — воскликнула она. — И пришел первым?

— Нет, — ответил я и несколько приободрился, вспомнив тот факт, что в финальной гонке он пришел шестым.

Мы помолчали.

— Но все-таки почему ты зовешь его Сукиным Сыном? Что он такого сделал? — спросила Дженни.

— Он меня затрахал, — ответил я.

— Прости, я не поняла...

— Затрахал меня, — повторил я.

Ее глаза округлились и стали похожи на два блюда.

— Но это же кровосмешительство?!
— Только не впутывай меня в свои семейные заморочки, Джен. Мне хватает собственных.
— Ну, например, чем именно он тебя затрахал? — поинтересовалась она.
— Своей правильностью.

— И что же неправильного в его правильности? — спросила она, радуясь этому очевидному парадоксу.

Я рассказал ей, как противно ощущать себя запрограммированным исключительно для продолжения традиции рода Бэрреттов. И разве она не замечала, как меня корежит от одного упоминания порядкового номера после моей фамилии? И еще мне не нравилось каждый семестр выдавать энное количество успехов.

Я рассказывал о том, что чувствовал всегда, но никогда никому до этого не говорил. Мне было чертовски неловко, но я хотел, чтобы Дженни узнала все.

— Он просто вызывающе бездушен — что бы я ни сделал, все воспринимает как должное.

— Но он же занятый человек. Разве он не руководит банками и еще чем-то?

— Господи Иисусе, Дженни, ты-то за кого?

— А что, разве это война? — спросила она.

— Вот именно, — ответил я.

— Но это же смешно, Оливер.

Оказалось, что я не убедил ее ни в чем. И тогда я впервые заподозрил, что между нами существует некая изначальная разность, а именно: три с половиной года учебы в Гарварде — Рэдклиффе сделали из нас задиристых умников, которых традиционно поставляют данные учебные заведения, но, когда нужно было признать тот факт, что мой отец настоящая окаменелость, Дженни мертвой хваткой держалась за какой-то атавистический итало-средиземноморский миф о «бамбинолюбивом папочке». Спорить с этим было бесполезно.

И все же я попытался переубедить ее с помощью какого-нибудь примера. Рассказал о нашем странном «недоразговоре» после того матча. Это действительно произвело на нее впечатление. Но совсем не то, черт подери, на какое я рассчитывал.

— Значит, он специально приезжал в Итаку, чтобы посмотреть на твою вшивую игру?

Я попытался объяснить ей, что мой отец — это всего лишь форма и никакого содержания. Но она прямо-таки заикнулась на том, что он проделал такой большой путь ради сравнительно тривиального спортивного события.

— Слушай, Дженни, давай забудем об этом.

— Слава Богу, что ты хотя бы по поводу своего отца комплексуешь, — ответила она. — Получается, что и ты не идеал.

— Да? Ты, что ли, идеал?

— Конечно, нет, Преппи. Иначе я бы встречалась не с тобой.

Ну вот, опять она за свое.

Глава V

Я бы хотел немного рассказать о наших отношениях в физическом смысле.

Странно, но очень долгое время между нами вообще ничего не было. То есть не было ничего серьезного, кроме тех поцелуев, о которых я уже упоминал... Честно говоря, такого у меня еще никогда до этого не было, потому что я довольно-таки импульсивен, нетерпелив и предпочитаю действовать быстро. Если бы вы сказали любой из дюжины девиц в Тауэр Корт (Уэллсли), что Оливер Бэрретт IV встречался с одной юной леди *ежедневно* в течение трех недель и не переспал с ней ни разу, то они бы, несомненно, расхо-

хотались и высказали серьезные сомнения в женских качествах вышеупомянутой леди. Но, конечно, на самом деле все было по-другому.

Я не знал, что делать.

Не поймите меня превратно или слишком буквально. Я отлично знал, как это делают. Просто я никак не мог разобраться в собственных чувствах и привести себя в боевую готовность... Я боялся, что умная Дженни просто посмеется над тем, что я всегда считал учтиво-романтичным и неотразимым стилем Оливера Бэрретта IV. Да, я боялся быть отвергнутым. И еще я боялся, что буду принят, но принят совсем по другим причинам...

— Оливер, ты завалишься на экзамене.

В то воскресенье, днем, мы сидели у меня в комнате и занимались.

— Оливер, ты точно завалишься на экзамене, если будешь только смотреть, как я занимаюсь.

— А я не смотрю, как ты занимаешься. Я сам занимаюсь.

— Чушь собачья. Ты разглядываешь мои ноги.

— Ну, только иногда. Между главами.

— Что-то в этой книжке удивительно короткие главы.

— Послушай, жертва нарциссизма, не такая уж ты красавица!

— Конечно, нет. Но что я могу сделать, если ты меня *такой* воображаешь?

Я швырнул книгу на пол, пересек комнату и подошел к ней вплотную.

— Дженни, ради Бога, как я могу читать Джона Стюарта Милля, если каждое мгновение я до смерти хочу тебя?

Она нахмурилась.

— Ну, Оливер, пожалуйста.

Я примостился около ее стула. Она опять углубилась в книгу.

— Дженни...

Она медленно закрыла книгу, положила ее на пол, а потом опустила руки мне на плечи.

— Пожалуйста, Оливер...

И тут все случилось. Все.

Наша первая близость была совершенно не похожа на нашу первую встречу и наш первый разговор. Все было так тихо, так нежно, так ласково. До этого я никогда не подзревал, что это и есть настоящая Дженни, такая мягкая и нежная, и что в ее легких прикосновениях столько любви. И что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция. И я был мягким и ласковым. Я был нежным. Неужели это и был истинный Оливер Бэрретт IV?

Как я уже говорил, до этого я всегда видел Дженни полностью одетой, разве что на кофточке у нее была расстегнута одна лишняя пуговица. Поэтому я был немного удивлен, обнаружив, что она носит крошечный золотой крестик на цепочке без застежки. То есть, когда мы любили друг друга, крестик был на ней. Потом (в этот миг «все» и «ничего» значат одно и то же) я дотронулся до маленького крестика и спросил, как отнесся бы ее духовный отец к тому, что мы лежим в постели, ну и так далее. Она ответила, что духовника у нее нет.

— Но ведь ты послушная верующая девушка? — удивился я.

— Да, я девушка, — согласилась она. — И я послушная.

Она посмотрела на меня, ожидая подтверждения, и я улыбнулся. Она улыбнулась мне в ответ:

— Так что попадание — два из трех.

Тогда я задал ей вопрос о крестике на запястной цепочке. Она объяснила, что это крестик ее матери; это память, а религия здесь ни при чем. И мы снова заговорили о нас.

— Эй, Оливер, а я тебе говорила, что люблю тебя? — спросила она.

— Нет, Джен.

— А почему же ты не спрашивал?

— Если честно, то я боялся.

— Ну, тогда спроси меня сейчас.

— Ты меня любишь, Дженни?

Она взглянула на меня.

— А ты как думаешь?

— Да. Пожалуй. Вероятно. Наверное, любишь.

Я поцеловал ее в шею.

— Оливер?

— Да?

— Я тебя люблю не просто так...

(О, Боже мой, в каком смысле?..)

— Я очень люблю тебя, Оливер.

Глава VI

Я люблю Рэя Стрэттона.

Конечно, он не гений и не великий футболист (на поле ему не хватает скорости), но он всегда был хорошим соседом по комнате и надежным другом. А сколько пришлось вынести этому несчастному ублюдку в последнем семестре! Интересно, куда же он шел заниматься, если видел висящий на дверной ручке галстук (традиционный знак, что «внутри заняты делом»)? Честно говоря, он не особенно перетруждал себя учебой, но ведь *иногда* ему все же приходилось заниматься... Допустим, он шел в библиотеку, или в соседнее общежитие, или, наконец, в студенческий клуб. Но вот где спал он в те субботние ночи, когда Дженни и я пренебрегали внутриуниверситетскими порядками и не расставались даже ночью? И Рэю приходилось скитаться по соседним комнатам и ютиться на диванчиках — разумеется, если соседи не занимались тем же, чем и мы...

Но как я отблагодарил его? Некогда я делился с ним мельчайшими подробностями моих любовных триумфов. Теперь же, попирая его законные соседские права, я ни разу не поговорил с ним откровенно и даже не признавался, что мы с Дженни любовники. Я просто сообщал, когда нам понадобится комната, ну и так далее. И Стрэттон мог думать все что угодно.

— О Господи, Бэрретт, ну между вами есть хоть что-нибудь? — канючил он постоянно.

— Рэймонд, пожалуйста, будь другом, не спрашивай меня об этом.

— Но, Боже мой, Бэрретт, — все вечера, ночи с пятницы на субботу, ночи с субботы на воскресенье! Господи, чем вы еще можете заниматься?

— Ну и не дергайся, если все знаешь.

— Это ненормально.

— Что именно?

— Да все это, Ол. Такого же никогда не было. То есть я имею в виду вот что: ты молчишь, как воды в рот набрал, и ничего не рассказываешь старине Рэю. Это ненормально. Или она особенная какая, что ли?

— Слушай, Рэй, когда любят по-настоящему...

— Любят?!

— Только не произноси это слово как ругательство.

— В твои годы? Любовь? Боже, да я просто боюсь за тебя, дружище!

— Боишься? Что я схожу с ума?

— Что ты женишься. Я боюсь за твою свободу. И за твою жизнь!

Бедный Рэй! Он действительно так думал.

— Боишься остаться без соседа, да?

— Черт возьми, в некотором смысле я даже приобрел еще одного соседа — она же отсюда не выплезает!

Я собирался на концерт и поэтому хотел закончить этот разговор как можно скорей.

— Не напрягайся, Рэймонд, мы еще пошумим

в той квартирке в Нью-Йорке. Каждую ночь новые девочки. Все впереди.

— Не надо меня успокаивать. Да, Бэрретт... эта девица здорово тебя зацепила.

— Ситуация под контролем, — ответил я. — Отдыхай.

Поправляя на ходу галстук, я пошел к двери. Но Стрэттон оставался безутешен.

— Эй, Олли...

— Ну что еще?

— Но вы ведь занимаетесь *этим*, правда?

— Господи ты Боже мой, Стрэттон!

Нет, в тот вечер я не вел Дженни слушать концерт. Я шел слушать Дженни. Общество друзей Иоганна Себастьяна Баха давало концерт в Данстер Хаус, и Дженни исполняла соло на арфе в Пятом Бранденбургском концерте. Конечно, я много раз слышал, как она играет, но еще ни разу не присутствовал на ее публичном выступлении с ансамблем или оркестром. Боже, как я гордился ею! По-моему, она не сделала ни одной ошибки.

— Даже не верится — ты играла просто потрясающе, — сказал я после концерта.

— Теперь я вижу, как ты разбираешься в музыке, Препши.

— Нормально разбираюсь.

Мы пересекли Мемориал Драйв, чтобы пройти вдоль реки.

— Ну когда же ты поумнееешь, Бэрретт? Да, я играю вполне прилично. Но не потрясающе. И даже не занимаю первых мест, как ты со своей хоккейной командой. Просто нормально, понял? О'кэй?

Спорить было бесполезно, потому что Дженни захотелось поскромничать.

— О'кэй. Ты играешь нормально. Вот и держись на этом уровне.

— А кто сказал, что я не собираюсь держаться на этом уровне? Господи Боже мой! Я ведь буду учиться у Нади Буланже...

О чем это она говорит, черт возьми? И по тому, как она неожиданно замолчала, я почувствовал, что есть нечто такое, о чем ей не хочется говорить.

— У кого? — переспросил я.

— У Нади Буланже. Это знаменитая преподавательница музыки. В Париже. — Она проговорила два последних слова как-то слишком торопливо.

— В Париже? — произнес я не сразу.

— Американцев она берет очень редко. Мне повезло. Я даже стипендию получила.

— Дженнифер, ты собираешься в Париж?

— Я никогда не была в Европе. Мне очень хочется туда поехать.

Я схватил ее за плечи. Может быть, слишком грубо. Я не знаю.

— Эй, и давно ты туда собралась?

Впервые в жизни Дженнифер не смотрела мне прямо в глаза.

— Олли, не глупи, — сказала она. — Это неизбежно.

— Что неизбежно?

— Что мы заканчиваем колледж и каждый идет своей дорогой. Ты поступаешь в Школу Права...

— Минуточку. Это ты о чем?

— Не глупи, Олли, — повторила она. — Гарвард — это как рождественский мешок Санта Клауса. Он набит всякими сумасшедшими игрушками. Но когда праздник заканчивается, тебя вытряхивают... — Она немного помедлила. — ...И ты оказываешься там, где тебе и положено быть.

— Ты что, собираешься печь пирожки в Крэнстоне. Род-Айленд?

Все это я говорил от отчаяния.

— Печенье,— сказала она.— И не смей издеваться над моим отцом.

— А ты не смей бросать меня, Дженни. *Пожалуйста!*

— А как же моя стипендия? А Париж, который я так ни разу и не видела за всю мою чертову жизнь?

— А как же наша свадьба?

— А разве кто-нибудь когда-нибудь говорил о свадьбе?

— Я. Я сейчас об этом говорю.

— Ты хочешь жениться на мне?

— Да.

Она склонила голову набок и серьезно поинтересовалась:

— Почему?

Я посмотрел ей прямо в глаза:

— А потому.

— А-а,— сказала она.— Это убедительно.

Она взяла меня под руку (а не за рукав, как раньше), и мы молча пошли вдоль реки. Все уже было сказано.

Глава VII

Ипсвич (штат Массачусетс) находится приблизительно в сорока минутах езды от Мистик Ривер Бридж — впрочем, это зависит еще от погоды и от того, как вы водите машину. Однажды мне удалось проделать этот путь за двадцать девять минут...

— Ты гонишь как сумасшедший,— заметила Дженни.

— Это Бостон,— отозвался я.— Здесь все ездят как сумасшедшие.— В этот момент я как раз притормозил на красный свет.

— Я боялась, что нас убьют твои родители, но, кажется, ты сделаешь это раньше.

— Послушай, Джен, мои родители — прелестные люди.

Зажегся зеленый, и через десять секунд мой «эм-джи» уже мчался со скоростью шестьдесят миль в час.

— Даже Сукин Сын? — уточнила она.

— Кто?

— Оливер Бэрретт III.

— А-а, да он же отличный парень. Тебе он обязательно понравится.

— Откуда ты знаешь?

— Он нравится всем.

— Тогда почему он тебе не нравится?

— Именно потому, что он нравится всем,— ответил я.

И вообще зачем я вез ее знакомиться с ними? Разве я нуждался в благословении Камнелицега? Но дело в том, что, во-первых, этого захотела она («Так принято, Оливер»), а во-вторых, Оливер III был моим банкиром в самом паршивом смысле слова: он платил за мое проклятое обучение.

Я свернул на Гротон Стрит — по этой дороге я гоняю с тринадцати лет и в повороты вписываюсь на любой скорости.

— Странно, здесь нет домов,— удивилась Дженни,— одни деревья.

— Дома за деревьями.

Когда едешь по Гротон Стрит, надо быть очень внимательным, иначе можно пропустить поворот к нашему дому. Так и случилось. И, только пролетев еще триста ярдов, я спохватился и резко затормозил.

— Где мы? — спросила она.

— Проскочили поворот,— буркнул я, ругая себя самыми последними словами.

И было что-то символическое в этом возвращении, в этих трехстах ярдах, отделявших нас от поворота к моему дому. Во всяком случае, въезжая во владение

Бэрреттов, я сбавил скорость. От Гротон Стрит до Доувер Хаус по меньшей мере полмили. А вдоль дороги, по обеим сторонам... ну, в общем, много чего понастроено. Думаю, все это выглядит достаточно внушительно, особенно поначалу.

— Ни фиги себе! — проговорила Дженни.

— В чем дело?

— Притормози, Оливер. Я серьезно. Останови машину.

Я остановился. Она сидела, стиснув руки.

— Послушай, я не знала, что все это будет выглядеть так.

— Так — это как?

— Ну, так величественно. Слушай, могу поспорить — у вас тут, наверное, и *рабы* есть.

Я хотел протянуть руку и дотронуться до нее, но ладони у меня были непривычно влажные, и тогда я попытался успокоить ее словами.

— Да ладно, Джен. Считай, что мы поехали приветиться.

— Разумеется, но почему мне вдруг захотелось, чтобы меня звали, скажем, Абигайль Адамс или Венди БАСП¹?

К дому мы подъехали в полном молчании. Потом припарковались, подошли к парадной двери, позвонили и стали ждать. Тут, в последнюю минуту, Дженни вдруг запаниковала.

— Давай убежим,— предложила она.

— Давай останемся и поборемся,— сказал я.

Шутил ли кто-нибудь из нас?

Дверь открыла Флоренс, верная старая служанка семейства Бэрреттов.

— О, мастер Оливер,— обрадовалась она.

Боже, как я бешусь, когда меня называют «мастер», подразумевая унижительное для меня различие между мистером Камнелицем и мной!

Мои родители, как сообщила Флоренс, ожидали нас в библиотеке. Дженни была потрясена портретами, мимо которых мы проходили. И не только потому, что некоторые принадлежали кисти Джона Сингера Сарджента (в частности, знаменитый портрет Оливера Бэрретта II, иногда выставляемый в Бостонском музее).

— Господи Иисусе, — сказала Дженни, кивая на портреты.— Выходит, что они построили пол-Гарварда.

— Это все ерунда,— сообщил я.

— Значит, ты и к Сьюэл Боут Хаус имеешь отношение?

— Да, я происхожу из древнего рода каменщиков. Длинный ряд портретов заканчивался стеклянной витриной. В ней хранились трофеи. Спортивные трофеи.

— Потрясающе! — воскликнула Дженни.— Ничего подобного я не видела, и, главное, они прямо как из золота и серебра.

— Они из золота и серебра.

— Боже мой! Твои?

— Нет. Его.

Общезвестно, что Оливер Бэрретт III не был призером Амстердамской Олимпиады. Тем не менее на его долю все же выпадали гребные триумфы. Иногда. Довольно часто. И теперь Дженнифер стояла, ослепленная блестящими свидетельствами этих побед.

— У нас в Крэнстоне есть Лига кегельбанщиков, но даже там такие штуки не вручают.— И тут она решила бросить камешек в мой огород.— А у тебя есть трофеи, Оливер?

— Да.

— Под стеклом?

— В моей комнате, под кроватью.

¹ БАСП — белая, англосаксонка, протестантка.

Тут Дженни вдруг превратилась в пай-девочку и прошептала:

— Мы на них потом посмотрим, угу?

— Не успел я проникнуться смыслом этого заманчивого предложения насчет прогулки в мою комнату, как нас прервали.

— А-а, привет!

Вот сукинсыно. Это был Сукин Сын.

— О, здравствуйте, сэр. Знакомьтесь, это Дженнифер...

— А, привет!

Я еще не успел представить его Дженни, а он уже тряс ей руку. И еще я заметил, что вместо традиционного Костюма Банкира на Оливере III был модный кашемировый джемпер. А каменное выражение лица он сменил на пакостную улыбочку.

— Пойдемте, я познакомлю вас с миссис Бэрретт.

Для Дженнифер был припасен еще один трепетно неповторимый миг: знакомство с Элисон Форбс «Типси»¹ Бэрретт. Иногда с патологическим упрямством я старался представить себе, как могло повлиять на нее это школьное прозвище, не стань она волею судеб истово-добродетельной попечительницей музея. Неважно, что Типси Форбс так и не закончила Смит Колледж. Она сбежала со второго курса, получив от родителей восторженное благословение на брак с Оливером Бэрреттом III.

— Это моя жена, Элисон, а это Дженнифер...

Он уже узурпировал мое право представлять Дженни.

— Калливеры, — добавил я, поскольку Камнелицкий не знал ее фамилии.

— Кавиллери, — вежливо поправила меня Дженни, так как я неверно произнес ее фамилию. Первый и последний раз в моей проклятой жизни...

Моя мать и Дженни обменялись рукопожатиями, а также традиционными для нашего дома банальными любезностями. Все сели и замолчали. Я пытался понять, что происходит. Несомненно, моя мать присматривалась к Дженни, оценивая ее костюм (сегодня в нем не было ничего богомного), ее позу, манеры и произношение. Должен сознаться, что, хоть Дженни и старалась придерживаться самого изысканного политеса, ее родной Крэнстон давал о себе знать. Очевидно, Дженни тоже приглядывалась к моей матери. Говорят, что так поступают все девушки. Наверное, таким образом они лучше узнают парней, за которых собираются выйти замуж. Вероятно, приглядывалась она и к Оливеру III. Интересно, заметила ли Дженни, что он выше меня? А что она думает про его кашемировый джемпер?

Конечно, Оливер III, как водится, сосредоточил весь свой огонь на мне.

— Ну, как живешь, сын?

Для человека, окончившего Гарвард, он удивительно нудный собеседник.

— Прекрасно, сэр. Прекрасно.

Забываясь о равномерном течении беседы, моя мать спросила у Дженнифер:

— Надеюсь, вы хорошо доехали?

— Да, — ответила Дженни, — хорошо и быстро.

— Оливер всегда ездит быстро, — вмешался Камнелицкий.

— Готов спорить, что не быстрее, чем ты, отец, — парировал я.

Интересно, что он на это скажет?

— М-да... Полагаю, не быстрее.

Смотри не проспорь свою задницу, отец.

Моя мать, которая всегда и во всем принимала его сторону, тут же перевела разговор на более отвлеченные темы — живопись, музыка... Впрочем, я не при-

слушивался. Через какое-то время в моей руке оказалась чашка чаю.

— Спасибо, — поблагодарил я и добавил: — Мы скоро уже поедем.

— Что-что? — пробормотала Дженни.

Кажется, они говорили о Пуччини или еще о чем-то в этом роде и мою реплику сочли несколько неуместной. Моя мать взглянула на меня (уникальное событие!).

— Но ведь вы приехали на обед, не так ли?

— Э-э, мы не можем остаться, — сказал я.

— Именно так, — ответила Дженни почти одновременно со мной.

— Мне необходимо вернуться, — объяснил я Дженни совершенно серьезно.

Она бросила на меня взгляд, означавший: «Что ты такое несешь?» И тогда Камнелицкий произнес:

— Вы остаетесь обедать. Это приказ.

Даже наигранная улыбка не смягчила резкости его тона. Ну нет, такой фигни я не потерплю даже от финалиста Олимпиады.

— Мы не можем, сэр, — повторил я.

— Мы должны, Оливер, — проговорила Дженни.

— Почему?

— Потому что мне хочется есть, — ответила она.

Мы сели за стол, покорные желанию Оливера III. Он низко склонил голову. Мать и Дженни последовали его примеру. Я тоже опустил глаза.

— Благослови нашу трапезу для нашего блага и нас для служения Тебе и помоги нам всегда помнить о нуждах и желаниях других. Об этом мы просим Тебя, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.

Господи Иисусе, я был просто раздавлен. Мог бы хоть сегодня не утомлять нас своим благочестием. Что подумает Дженни? Ведь это же какой-то пережиток Средневековья!

— Аминь! — произнесла моя мать. (Дженни тоже, очень тихо.)

— Свисток — мяч в игре! — сострил я.

Никто не улыбнулся. А Дженни вообще отвела взгляд и стала смотреть куда-то в сторону. Оливер III быстро глянул на меня через стол.

— Очень жаль, Оливер, что ты хоть изредка не играешь в бейсбол.

Обед проходил не в полном молчании, благодаря замечательному дару моей матери поддерживать светскую беседу.

— Так, значит, вы родом из Крэнстона, Дженни?

— Частично. Моя мать из Фолл Ривер.

— Бэрретты владеют несколькими предприятиями в этих местах, — заметил Оливер III.

— ...веками эксплуатируя несчастных бедняков, — подхватил Оливер IV.

— В девятнадцатом веке, — уточнил Оливер III.

Моя мать улыбнулась, очевидно, довольная тем, что ее Оливер выиграл эту подачу. Ну, нет уж!

— А как насчет планов автоматизации производства и сокращения рабочих мест? — отбил я мяч с лету.

Наступило молчание. Я ждал сокрушительного ответного удара.

— А как насчет кофе? — спросила Элисон Форбс Типси Бэрретт.

Для заключительного раунда мы перешли в библиотеку. На завтра меня и Дженни ожидали занятия, Камнелицкого — дела в банке и многое другое. Разумеется, и Типси запланировала какое-нибудь неотложное дело на раннее утро.

— Сахару, Оливер? — спросила моя мать.

— Оливер всегда пьет кофе с сахаром, дорогая! — сказал мой отец.

¹ Типси — tipsy — под хмельком (англ.).

— Спасибо, только не сегодня, — ответил я. — Без молока и без сахара, мама.

Вот так мы и сидели, с чашками кофе, нам было очень уютно и абсолютно нечего сказать друг другу. Поэтому я и решил подбросить тему для разговора.

— Послушай, Дженнифер, — поинтересовался я, — что ты думаешь о Корпусе Мира?

Она только нахмурилась в ответ.

— О, значит, ты уже рассказал им об этом? — спросила моя мать у моего отца.

— Сейчас не время, дорогая, — отозвался Оливер III с той наигранной скромностью, которая буквально взывала: «Ну расспросите меня, расспросите». Деваться было некуда.

— А что случилось, отец?

— Ничего особенного, сын.

— Не понимаю, как ты можешь так говорить, — воскликнула моя мать и повернулась ко мне, чтобы без потерь донести до меня эту важную новость. (Я же говорил, что она всегда и во всем принимает его сторону.) — Твой отец собирается возглавить Корпус Мира.

— О-о!

Дженни тоже сказала «О-о», но с надлежащей радостью в голосе. Мой отец пытался изобразить смущение, а моя мать, кажется, ожидала, что я паду ниц или сделаю еще что-нибудь в этом роде. Подумаешь, тоже мне госсекретарь нашелся!

— Поздравляю вас, мистер Бэрретт! — Дженни взяла инициативу на себя.

— Да. Поздравляю вас, сэр.

Мать так и распирало от желания поговорить об этом.

— Я уверена, что подобная деятельность исключительно облагораживает.

— О, несомненно, — согласилась Дженни.

— Да, — сказал я без особого воодушевления. М-м, передайте мне сахар, пожалуйста.

Глава VIII

— Ну, Дженни, подумаешь — тоже мне госсекретарь нашелся!

Слава Богу, мы наконец-то возвращались в Кембридж.

— Все равно, Оливер, ты мог бы проявить побольше энтузиазма.

— Я же сказал: «Поздравляю».

— Ужасно великодушно с твоей стороны.

— А ты-то чего хотела?

— Боже мой, — ответила она, — да меня просто тошнит от всего этого.

— И меня тоже, — добавил я.

Довольно долго мы ехали в полном молчании, но что-то было не так.

— Отчего тебя тошнит, Джен? — спросил я как бы вдогонку.

— Оттого, как отвратительно ты ведешь себя со своим отцом.

— Так же отвратительно, как и он со мной.

Дженни развернула широкомасштабную кампанию по пропаганде отцовской любви. Ну, в общем, типичный итало-средиземноморский синдром. И еще она говорила, какой я наглец.

— И ты к нему все цепляешься, и цепляешься, и цепляешься...

— Это взаимно, Джен. Ты могла бы заметить.

— Я думаю, ты ни перед чем не остановишься, лишь бы «достать» своего отца.

— Невозможно «достать» Оливера Бэрретта III.

Последовало непродолжительное, но странное молчание, и потом Дженни сказала:

— Невозможно... Разве что жениться на Дженнифер Кавиллери...

У меня хватило хладнокровия, чтобы припарковаться возле рыбного ресторанчика, после чего я вернулся к Дженнифер — злой как черт.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Я думаю, что это одна из причин, — произнесла она совершенно спокойно.

— Дженни, значит, ты не веришь, что я люблю тебя?! — закричал я.

— Любишь, — ответила она все так же тихо, — но как-то странно... Ты ведь любишь еще и мое булочно-кренстонское происхождение.

Я не знал, что ответить, и ограничился заурядным «нет», но зато повторил это слово несколько раз и с разной интонацией. Я был настолько расстроен, что мне даже пришла в голову мысль: а вдруг в ее ужасном предположении есть доля правды?

Но Дженни тоже было не по себе.

— Я никого не осуждаю, Олли. Просто мне кажется, что это одна из причин. Ведь и я люблю не только тебя самого. Я люблю твоё имя. И даже твой номер. — Она отвернулась, словно собиралась заплакать, но не заплакала. — В конце концов это тоже часть тебя, — закончила она свою мысль.

Некоторое время я сидел, разглядывая мигающую надпись «Лангусты и устрицы». Как я любил в Дженни эту ее способность заглянуть в меня и понять даже то, чему я сам не находил названия. Именно это она сейчас и сделала. И пока я не желал признать свое несовершенство, она уже примирилась и с моим несовершенством, и со своим собственным. Боже, как скверно на душе!

Я не знал, что ответить.

— Хочешь лангуста или устриц?

— А в зубы хочешь, Преппи?

— Да, — сказал я.

Она сжала руку в кулак и нежно примерила его к моей щеке. Я поцеловал ее кулачок, но, когда попытался обнять ее, она оттолкнула меня и рывкнула, как настоящая бандитка:

— А ну заводи! Хватай руль — и поехали!!

И я поехал. Я поехал.

Комментарии моего отца сводились в основном к тому, что я чересчур стремителен и опрометчив. Не помню дословно, но главным образом его проповедь во время нашего официального ленча в Гарвард Клубе касалась моей излишней торопливости. Для начала он порекомендовал мне не спешить и тщательно прожевывать пищу. Я вежливо заметил, что, будучи достаточно взрослым человеком, больше не нуждаюсь не только в корректировании, но даже в комментировании моего поведения. Он высказал мнение, что даже лидеры мирового масштаба порой нуждаются в конструктивной критике. Я воспринял это как не слишком тонкий намек на его недолгое пребывание в Вашингтоне в период первой администрации Рузвельта...

Впрочем, наш очередной «недоразговор» пока не был закончен: предстоял еще один раунд. Было совершенно очевидно, что главной темы мы упорно избегаем.

— Отец, ты ничего не сказал о Дженнифер.

— А что тут говорить? Ты поставил нас перед свершившимся фактом, разве не так?

— И что ты думаешь, отец?

— Я думаю, что Дженнифер достойна восхищения. Для девушки ее происхождения пробыться в Рэдклифф — это...

Охмуря меня этой псевдомироотворяющей бодягой, он явно уклонялся от прямого ответа.

— Говори по делу, отец.

— Дело совсем не в молодой леди. Дело в тебе, сын.

— Да? — удивился я.
— Это бунт. Ты бунтуешь, сын.
— Отец, я не понимаю. Женитьба на красивой, умной девушке из Рэдклиффа — это бунт? Ведь она не какая-нибудь чокнутая хипповка!

— Да, она не хиппи, но она и не...
Ага, начинается. Цирлих-манирлих.
— Да, она не протестантка, и она не богата. Так что же тебя отталкивает больше, отец?

Он ответил шепотом, слегка подавшись ко мне:
— А что больше привлекает тебя?
Мне захотелось встать и уйти. И я сказал ему об этом.

— Ты останешься и будешь вести себя, как мужчина.

А как веду себя я? Как мальчик? Как девочка? Какмышь? И я не ушел. Наверное, Сукин Сын получил от этого огромное удовлетворение. Еще бы, он опять — в который раз! — побеждал меня.

— Я только прошу тебя немного подождать, — сказал Оливер Бэрретт III.

— Что значит «немного»?
— Окончи школу Права. Истинное чувство выдержит испытание временем.

— Конечно, выдержит, но какого черта я должен его испытывать?

Думаю, он понял меня. Да, я сопротивлялся. Сопротивлялся этой попытке: его праву судить, его манере владеть и распоряжаться моей жизнью.

— Оливер... — Он начал новый раунд. — Ты еще несовершеннолетний...

— Что значит «несовершеннолетний»? — Я уже терял терпение. — В каком смысле?

— Тебе нет двадцати одного года, и с точки зрения закона ты еще не стал взрослым.

— Да я в гробу видал твои вшивые законы!
Возможно, сидевшие за соседними столиками услышали это мое высказывание. И, словно в противовес моему крику, Оливер III произнес являющим шепотом:

— Повторяю — жениться тебе не время. Если ты это сделаешь, можешь ко мне не обращаться. Я даже не отвечу тебе, который час.

Ну и плевать, если кто-нибудь нас услышит.

— Да что ты можешь знать о времени, отец?!

Так я ушел из его жизни и начал свою.

Глава IX

Оставалась еще проблема Крэнстона (Род-Айленд) — этот городишко расположен немного дальше от Бостона, чем Ипсвич, с той лишь разницей, что Ипсвич находится на севере, а Крэнстон — на юге. После того, как знакомство Дженнифер с ее потенциальными законными родственниками закончилось катастрофой («Как же мне их теперь называть — незаконными родственниками?» — спросила она), я ожидал встречи с ее отцом без всякого энтузиазма. Я готов был мужественно выдержать шквал любвеобильного итало-средиземноморского синдрома, осложненного еще и тем, что Дженни — единственный ребенок и к тому же выросла без матери, а, следовательно, узы, связывающие ее с отцом, прочны и аномальны. Я готовился противостоять любому комплексу, описанному в книжках по психологии.

И, помимо всего прочего, я был без денег.

В самом деле, представьте себе на секунду некоего Оливеро Барретто, приятного итальянского мальчугана, живущего в одном из кварталов Крэнстона (Род-Айленд). Вот он идет знакомиться с мистером Кавиллери, который добывает свой хлеб насущный, работая городским шеф-пекарем, и вот он говорит:

— Я хочу жениться на вашей единственной дочери Дженнифер.

О чем спросит этот старик в первую очередь? Конечно, он не подвергнет сомнению любовь Барретто к Дженнифер, ибо знать Дженни — значит любить Дженни: это непреложная истина. Нет, мистер Кавиллери скажет что-нибудь вроде:

— Барретто, а на что ты собираешься кормить мою дочь?

Теперь представьте себе, какотреагирует добропорядочный мистер Кавиллери, если Барретто проинформирует его о том, что все как раз наоборот и по крайней мере в течение трех ближайших лет его дочь будет кормить его зятя! После всего этого любой на месте добропорядочного мистера Кавиллери укажет Барретто на дверь или даже выкинет его вон — разумеется, если Барретто не будет обладать моими габаритами...

Ставлю на кон свою задницу, так и случится.

Вот почему в тот воскресный майский день, когда мы ехали на юг по шоссе № 95, я подчинялся каждому ограничительному знаку. Дженни, которая уже привыкла к обычным темпам моей езды, пожаловалась, что даже там, где разрешено делать сорок пять миль в час, я ползу со скоростью сорок. Я сказал ей, что машина барахлит, но она этому не поверила.

— Расскажи мне об этом еще раз, Дженни.

Терпеливость не входила в число ее добродетелей, и она не собиралась крепить мою веру в себя до бесконечности, повторяя ответы на мои дурацкие вопросы.

— Дженни, ну еще один раз, пожалуйста.

— Я ему позвонила. Я ему все сказала. Он ответил «о'кэй». По-английски. Можешь не верить, но я тебе уже говорила и повторяю: по-итальянски он не знает ни черта, за исключением нескольких ругательств.

— Допустим, но что тогда означает «о'кэй»?

— Ты хочешь сказать, что в Гарвардскую Школу Права принял человека, который не понимает, что такое «о'кэй»?

— Это не юридический термин, Дженни.

Она дотронулась до моей руки. Слава Богу, хоть это я еще понимал. Но мне все-таки требовались разъяснения. Я должен знать, что меня ждет.

— «О'кэй» можно понять и по-другому: «Ладно, так уж и быть, стерплю...»

В ее сердце все же нашлось место для сострадания, и она повторила в энный раз подробности разговора с отцом. Он был счастлив. На самом деле. Посылая ее в Рэдклифф, он и не ждал, что она вернется в Крэнстон и выйдет за какого-нибудь соседского парня (который, между прочим, звал Дженни замуж как раз перед ее отъездом). Сначала Фил даже не поверил, что ее суженого зовут Оливер Бэрретт IV, и обратился к дочери с убедительной просьбой не нарушать Одиннадцатую Заповедь.

— Это какую же? — спросил я ее.

— Не дури отца своего!

— О!

— Вот и все, Оливер. Правда.

— А он знает, что я бедный?

— Да.

— И его это не смущает?

— Теперь по крайней мере у тебя с ним есть что-то общее.

— Но ведь он бы наверняка порадовался, если б у меня нашлась пара долларов, верно?

— А ты бы не порадовался?

Я заткнулся и всю оставшуюся дорогу молчал.

Дженни жила на улице под названием Гамильтон авеню, представлявшей собой ряд деревянных домов, перед которыми можно было видеть множество играющих детей и несколько чахлах деревьев. Я мед-

ленно ехал вдоль улицы, выбирая место для стоянки, и чувствовал себя так, как будто находился в другой стране. Прежде всего здесь было очень много людей. Целые семьи в полном составе сидели на крылечках своих домов и наблюдали, как я пытаюсь припарковать свой «эм-джи». Очевидно, никакого другого более интересного занятия в этот воскресный день после полудня у них не намечалось.

Дженни выпрыгнула из машины первой. В Крэнстоне у Дженни проявились какие-то странные инстинкты, и она стала похожа на маленького прыткого кузнечика. Когда же на крылечках поняли, кто моя пассажирка, раздался единодушный приветственный клич. Услышав эти крики восторга по поводу прибытия Дженни, я засмутился и чуть было не остался в автомобиле. Увы, ведь я даже отдаленно не напоминал гипотетического Оливера Барретто!

— Эй, Дженни! — смачно крикнула какая-то матрона.

— Эй, миссис Каподилупо! — завопила в ответ Дженни.

Я выкарабкался из машины, и все тут же устали на меня.

— Эй, а это кто? — заорала миссис Каподилупо.

Не очень-то тут церемонятся...

— Да так, кое-кто! — прокричала Дженни в ответ. И это удивительным образом повлияло на мою уверенность в себе.

— Ну и ладно! — взревела миссис Каподилупо. — Но вот девчонка рядом с ним — это кое-что!

— Он знает, — ответила Дженни. Затем она повернулась, чтобы удовлетворить любопытство соседей по другую сторону улицы. — Он знает, — сообщила она целой ораве своих вновь прибывших болельщиков.

Она взяла меня за руку и, словно вводя в рай, повлекла по ступенькам к дому номер 189-а по улице под названием Гамильтон Авеню.

...Момент был неловкий.

Я просто стоял, а Дженни сказала:

— Это мой отец.

И Фил Кавиллери, крепко сбитый (приблизительно: рост 5 футов 9 дюймов, вес 165 фунтов) пятидесятилетний обитатель Род-Айленда, протянул мне руку. Рукопожатие у него было сильное.

— Здравствуйте, сэр.

— Фил, — поправил он меня. — Меня зовут Фил.

— Фил, сэр, — повторил я, продолжая сжимать ему руку.

Момент был ужасный. Потому что, едва отпустив мою руку, мистер Кавиллери повернулся к своей дочери и завопил:

— Дженнифер!

Какую-то долю секунды ничего не происходило. А потом они начали обниматься. Крепко. Очень крепко. Раскачиваясь туда-сюда. Все, что мистер Кавиллери говорил далее, сводилось к повторению (теперь очень тихому) имени дочери: «Дженнифер». А все, что могла сказать в ответ его дочь, оканчивающаяся с отличием Рэдклифф, составляло тоже одно слово: «Фил».

Несомненно, я был здесь третьим лишним.

В тот день меня выручила мое приличное воспитание. Сколько раз мне читали лекции о том, что нехорошо разговаривать с набитым ртом. Фил и его дочка прямо-таки сговорились держать мое ротовое отверстие набитым, и я в полном молчании поглотил рекордное количество итальянских пирожных. После этого я пустился в долгие рассуждения, подвергая съеденное сравнительному анализу (а съел я, боясь обидеть хозяев, по две штуки каждого сорта — к восторгу обоих Кавиллери).

— С ним все о'кэй, — сказал Фил Кавиллери своей дочери.

Что бы это могло значить на этот раз?

Мне не нужно было объяснять значение слова «о'кэй», я просто хотел знать: которое из моих немногочисленных и тщательно продуманных действий снижало мне эту вожделенную оценку?

Может, я удачно похвалил пирожные? А может быть, понравилось мое рукопожатие? Что именно?

— Я же говорила тебе, что с ним все о'кэй, Фил, — сказала дочь мистера Кавиллери.

— О'кэй-то о'кэй, — произнес ее отец, — но я должен был убедиться в этом. И я убедился. Оливер?..

Теперь он обращался ко мне.

— Да, сэр?

— Фил.

— Да, Фил, сэр?

— С тобой все о'кэй.

— Спасибо, сэр. Я очень тронут. Честное слово. Вы же знаете, как я отношусь к вашей дочери, сэр. И к вам, сэр...

— Оливер, — перебила меня Дженни, — да кончай ты лепетать как недоделанный...

— Дженнифер, — оборвал ее мистер Кавиллери, — ты могла бы воздержаться от сквернословия! Все-таки этот сукин сын — наш гость!

За обедом (оказалось, что пирожные — всего лишь закуска) Фил всерьез пытался поговорить со мной сами-знаете-о-чем. Ему в голову пришла совершенно сумасшедшая мысль: способствовать урегулированию отношений между Оливерами III и IV.

— Давай я ему позвоню и поговорю с ним, как отец с отцом, — просил он меня.

— Ну, Фил, это же бесполезная трата времени.

— Но я не могу спокойно видеть, как родитель отрекается от собственного ребенка, не могу!

— Да, но ведь я тоже отрекаюсь от него, Фил.

— Чтобы я больше от тебя этого не слышал. — Он начинал сердиться по-настоящему. — Отцовскую любовь надо беречь и уважать. Это большая редкость.

— Особенно в моем семействе, — заметил я.

Дженнифер хлопотала, то подавая, то унося что-нибудь со стола, и поэтому в нашем разговоре почти не участвовала.

— Ну-ка, набери его номер, — повторил Фил. — Сейчас я этим займусь.

— Нет, Фил. Между мной и моим отцом полное охлаждение.

— Э, Оливер, он оттаит, можешь мне поверить, как только придет время идти в церковь...

В эту минуту Дженни, расставлявшая десертные тарелочки, произнесла коротко и злобеще:

— Фил...

— Да, Джен?

— Насчет церкви...

— Да?

— М-м... мы к этому не очень-то хорошо относимся, Фил.

— Да ну? — удивился мистер Кавиллери. И затем, вероятно, придя к неправильному выводу, он начал извиняться передо мной. — Я... хм-хм... не имею в виду обязательно католическую церковь, Оливер. Я имею в виду, что мы католики, — Дженнифер, конечно, говорила тебе. Но я имею в виду *твою* церковь, Оливер. Могу поклясться, что Господь Бог благословит ваш союз в любой церкви.

Я посмотрел на Дженни, которая, по-видимому, не смогла разъяснить своему отцу по телефону нашу точку зрения на этот жизненно важный вопрос.

— Оливер, — объяснила она, — я не могла вывалить на него еще и это.

— Вы о чем? — спросил неизменно любезный мистер Кавиллери. — Валите, детки, валите. Валите на меня все, что у вас в голове.

— Речь идет о Божьем благословении, Фил,— пояснила Дженни, отводя взгляд.

— Ну, Джен, дальше?..— произнес Фил, опасаясь худшего.

— Ну, понимаешь, Фил, мы относимся к этому вроде как негативно,— объяснила Дженни и с мольбой посмотрела на меня.

Я постарался приободрить ее взглядом.

— К Богу? К Богу вообще?

Дженни кивнула.

— Можно, я объясню, Фил? — спросил я.

— Пожалуйста, Оливер.

— Никто из нас двоих не верит в Бога, Фил. А лицемерами мы быть не хотим.

Я думаю, он принял сказанное только потому, что оно исходило от меня. Дженни он мог бы, наверное, ударить. Но теперь он был третьим лишним и даже не решался поднять на нас глаза.

— Хорошо,— проговорил он после довольно долгого молчания,— могу я хотя бы узнать, кто совершит этот обряд?

— Мы сами,— ответил я.

После новой длинной паузы он повторил: «Хорошо»,— и обратился ко мне, поскольку я собирался делать карьеру в области юриспруденции, с вопросом: а будет ли такой брак — как бы это выразиться — законным? Дженни рассказала ему, что тот обряд, о котором идет речь, будет совершен под присмотром капеллана унитарной церкви колледжа («А-а, капеллана»,— пробормотал Фил), но суть церемонии заключается в том, что мужчина и женщина сами обращаются друг к другу.

— Неужели и невеста говорит? — Почему-то именно это окончательно добило его.

— Филипп,— заинтересовалась его дочь,— а ты себе можешь представить ситуацию, в которой я бы промолчала?

— Нет, детка,— ответил он, с трудом улыбаясь.— Думаю, ты всегда найдешь, что сказать.

Когда мы возвращались в Кембридж, я спросил у Дженни, как, по ее мнению, прошла встреча.

— О'кэй,— сказала она.

Глава X

Мистер Уилльям Ф. Томсон, заместитель декана Гарвардской Школы Права, не мог поверить своим ушам.

— Я правильно вас понял, мистер Бэрретт?

— Да, сэр.— Мне было трудно в первый раз произнести это. И повторить тоже было не легче.— В следующем году мне нужна стипендия, сэр.

— Неужели?

— Именно поэтому я здесь, сэр. Ведь вы же распоряжаетесь финансовой помощью, не так ли, декан Томсон?

— Да, но все это так странно... Ваш отец...

— Он здесь ни при чем, сэр.

— Простите? — Декан Томсон снял очки и начал протирать их своим галстуком.

— Между мной и моим отцом возникли некоторые разногласия.

Декан снова надел очки и посмотрел на меня с тем невыразительным выражением, которому можно научиться, только став деканом.

— Это весьма прискорбно, мистер Бэрретт,— произнес он.

«Для кого»? — хотелось мне спросить. Этот папень, судя по всему, собирался отделаться от меня.

— Да, сэр. Весьма прискорбно. Но именно поэтому я и пришел к вам, сэр. В следующем месяце моя свадьба. Все лето мы оба собираемся работать. Затем Дженни — это моя жена — начнет преподавать

в частной школе. На жизнь нам хватит, но на мое образование — нет. А плата у вас высокая, декан Томсон.

— М-да...— протянул он и замолчал.

Ему что, непонятно, куда я клоню? Тогда на кой черт я здесь?

— Декан Томсон, мне нужна стипендия,— повторил я. В третий раз.— На моем счете нет ни цента, а меня уже зачислили к вам в Школу.

— А, да,— сказал мистер Томсон, пытаясь отвлечься от меня при помощи бюрократических отговорок,— срок для подачи заявлений на финансовую помощь уже давно истек...

Чего же еще хочет этот ублюдок? Скандальных подробностей? Или, может быть, скандала?

— Декан Томсон, когда я просил зачислить меня в Школу, я еще не знал, что так случится.

— Совершенно верно, мистер Бэрретт, но должен сказать вам, что, по моему мнению, нашей администрации не пристало вмешиваться в семейную ссору. Притом весьма прискорбную.

— О'кэй, декан,— проговорил я, вставая.— Я вижу, на что вы намекаете. Но я не собираюсь целовать задницу моему отцу для того, чтобы вы могли получить для вашей Школы что-нибудь наподобие Бэрретт Холла.

Уходя, я слышал, как декан Томсон пробормотал:

— Это несправедливо.

И я был с ним полностью согласен.

Глава XI

Дженнифер получила свой диплом в среду. Многочисленные родственники из Крэнстона, Фолл Ривера и даже одна тетка из Кливленда съехались в Кембридж, чтобы присутствовать на церемонии. Мы заранее договорились, что Дженни не будет надевать кольцо и представлять меня в качестве своего жениха, чтобы никто не обиделся, не получив приглашения на нашу скорую свадьбу.

— Тетя Клара, это мой друг Оливер,— говорила Дженни, неизменно добавляя: — Он еще не окончил колледж.

Родственники могли сколько угодно шептаться, пихать друг друга локтями и тайно сплетничать, но им так и не удалось выпытать никакой специфической информации ни у меня, ни у Дженни, ни у Фила (который, как я догадываюсь, был счастлив избежать дискуссии на тему о любви двух атеистов).

В четверг я все-таки догнал Дженни, получив свой диплом об окончании Гарварда «с отличием», так же, как и она...

Мне ничего не было известно о присутствии на церемонии Оливера Бэрретта III. Утром Актового Дня¹ более семнадцати тысяч запрудили Гарвард Ярда, а я, естественно, не разглядывал толпу в бинокль. Билеты, предназначенные для родителей, я отдал Филу и Дженни. Конечно, как бывший гарвардец, Камнелищный мог пройти без приглашения и сесть вместе с выпускниками 1926 года. Но, впрочем, зачем ему все это? Разве что банки в этот день были закрыты?

Мы поженились в воскресенье. Никто из родственников Дженни приглашения не получил — для них, истовых католиков, наш отказ от традиционного благословения во имя Отца, и Сына, и Святого Духа было бы мучительным. Бракосочетание происходило в Филиппс Брукс Хаус — старинном здании, расположенном в северной части Гарвард Ярда, а вел церемонию Тимоти Бловелт, капеллан унитарной церкви кол-

¹ День вручения дипломов.

леджа. Присутствовал Рэй Стрэттон, и еще я пригласил моего старого школьного друга Джереми Нэйхем — в свое время он предпочел Амхерст Гарварду. Дженни попросила прийти свою подружку из Бриттс Холла, а также — может быть, по какой-то сентиментальной прихоти — ту самую здоровенную нескладную девицу, которая дежурила с ней в библиотеке в день нашего знакомства. И, конечно, Фила.

Я поручил Фила Рэю Стрэттону — ну, чтобы он особо не дергался, если это вообще возможно в такой момент. Хотя, надо сказать, и сам Стрэттон не был воплощенным спокойствием! Эти двое явно чувствовали себя неуютно, и каждый из них молчаливо усиливал предубеждение другого, что эта свадьба, устроенная на манер «сделай сам» (как выразился Фил), должна вылиться (как предсказывал Стрэттон) в «чудовищный фильм ужасов». И все это лишь потому, что я и Дженни хотели сказать друг другу несколько слов!

— Готовы ли вы? — спросил мистер Бловелт.

— Да, — ответил я за нас обоих.

— Друзья, — обратился мистер Бловелт ко всем остальным. — Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями того, как две жизни соединятся в брачном союзе. Давайте вслушаемся в те слова, которые они решили прочесть друг другу в этот священный миг.

Сначала невеста. Дженни повернулась ко мне и декламировала заранее выбранное ею стихотворение. Оно прозвучало очень трогательно — особенно для меня, потому что это был сонет Элизабет Барретт.

Две любящих души взмывают в небеса,
Все ближе, молча, и глаза — в глаза,
Из трепета переплетенных рук родится пламя...

Краем глаза я наблюдал за Филом Кавиллери. Он стоял бледный, слегка приоткрыв рот, и его расширившиеся глаза излучали изумление, смешанное с обожанием. Дженни дочитала сонет до конца. Он был как молитва о нашей жизни —

Увенчанной не смертным мраком ночи,
А пробуждением в любви иного бытия.

Настал мой черед. Я долго искал стихотворение, которое мог бы прочитать, не краснея. Это же настоящий кошмар — лепетать стишки, похожие на кружевные салфеточки! Я бы просто не смог. Но в нескольких строчках из «Песни большой дороги» Уолта Уитмена было все то, что я хотел сказать:

...Я даю тебе свою руку!
Я даю тебе мою любовь, она драгоценнее золота,
Я даю тебе себя самого раньше всяких
наставлений и заповедей;
Ну, а ты отдаешь ли мне себя? Пойдешь ли
вместе со мной в дорогу?
Будем ли мы неразлучны с тобой до последнего
дня нашей жизни?¹

Я закончил читать, и в комнате наступила удивительная тишина. Затем Рэй Стрэттон передал нам кольца, и мы — я и Дженни — сами произнесли слова брачного обета: начиная с этого дня, всегда быть рядом, любить и лелеять друг друга, пока смерть не разлучит нас.

Властью, данной ему Администрацией штата Массачусетс, мистер Бловелт объявил нас мужем и женой.

...Сейчас, по зрелом размышлении, я вспоминаю, что наша «вечеринка после матча» (как выразился Стрэттон) была претенциозно неприятной. Дженни и я наотрез отказались от традиционного раута с шампанским, и мы пошли пить пиво к Кронину. Помните, Джим Кронин выставил каждому по

кружке пива бесплатно — в знак уважения к «величайшему хоккеисту Гарварда со времен братьев Клиари».

— Какого черта! — не соглашался Фил Кавиллери, стуча кулаком по столу. — Он лучше, чем все эти Клиари, вместе взятые.

Вероятно, Филип хотел сказать (ведь игры Гарвардской хоккейной команды он не видел ни разу), что, как бы хорошо ни гоняли на коньках Бобби и Билли Клиари, ни один из них не сумел жениться на его очаровательной дочери. По-моему, все напились всмятку.

Я позволил Филу заплатить по счету, и позже не очень щедрая на похвалы Дженни отметила мою интуицию:

— Ты еще станешь человеком, Преппи!

Правда, на автобусной остановке я пережил несколько паршивых минут. Глаза у всех оказались на мокром месте: и Фила, и Дженни, и, кажется, мои тоже. Ничего не помню, кроме того, что наше прощание сухим, во всяком случае, не было.

Наконец, после всевозможных благословений Фил влез в автобус, а мы стояли и долго махали ему вслед. И лишь в этот момент до меня начал доходить смысл происшедшего.

— Дженни, а ведь мы законные супруги!

— Да, и теперь я могу быть стервой.

Глава XII

Нашу повседневную жизнь в течение тех первых трех лет можно описать одной-единственной фразой: «Где бы перехватить?» В состоянии бодрствования мы были заиклены исключительно на том, где бы, черт возьми, перехватить «капусты», которой бы хватило на то, на что ее в этот момент должно было хватить. Так мы и жили — в обрез... Вот обычный ход моих мыслей: «Сколько стоит эта книга? (У букиниста, должно быть, дешевле...) И где возможно — если вообще возможно — покупать в кредит хлеб и вино? И где бы снова перехватить, чтобы рассчитаться с долгами?»

Жизнь изменчива. Теперь, чтобы принять какое-нибудь простейшее решение, нужно было собирать мозги на заседание бдительной бюджетной комиссии.

— Эй, Оливер, пошли в театр — сегодня «Бекет»¹.

— Три доллара.

— Ну, и что это значит?

— Это значит, доллар пятьдесят за твой билет и доллар пятьдесят — за мой.

— Ну, и что это значит: да или нет?

— Ничего. Это значит просто три доллара.

Медовый месяц мы провели на яхте. Мы — это Дженни, я и двадцать один ребенок. С семи часов утра я управлял тридцатишестифутовой яхтой Роудс, терпеливо ожидая, пока моим пассажирам надоест кататься. Дженни присматривала за детьми. Яхтклуб «Пиквод» располагался в местечке Деннис Порт, недалеко от Хайэнниса. Это заведение включало в себя большой отель, пирс и несколько дюжин домов, сдававшихся внаем. К стене одного из самых крошечных бунгалов я мысленно прибил табличку: «Здесь спали Дженни и Оливер — когда не занимались любовью». Надо нам обоим отдать должное: после долгого дня, заполненного обхаживанием клиентов (наш доход зависел от чаевых), Дженни и я тем не менее были обходительны друг с другом. Я говорю просто «обходительны», ибо мой словарь слишком беден для описания того, что значит любить и быть

¹ Имеется в виду пьеса Жана Ануй «Бекет, или Честь Божья» (1958 г.).

¹ Перевод К. Чуковского.

любимым Дженнифер Кавиллери. Простите, я хотел сказать Дженнифер Бэрретт.

Перед отъездом в Деннис Порт мы подыскивали дешевую квартиру в Северном Кембридже. Я говорю, в Северном Кембридже, хотя фактически это уже был Сомервилл, а дом, как выразилась Дженни, «пребывал в антимонном состоянии». Первоначально этот дом был рассчитан на две семьи, а теперь в нем имели место четыре квартиры, каждая из которых стоила довольно дорого, именуясь при этом «дешевым жильем». Но куда же, черт побери, деваться студентам? Рынок принадлежит торговцам...

— Перенеси меня через порог, — приказала Дженни.

— Ты что, веришь в эту чепуху?

— Перенеси — а потом я решу.

(Этот диалог происходил в сентябре, после нашего возвращения.)

О'кэй. Я подхватил ее и поволок вверх по ступенькам (их было пять) на крыльцо дома.

— Почему ты остановился? — спросила она.

— А разве это не порог?

— Ответ отрицательный, ответ отрицательный, — проговорила она.

— А почему же у звонка наша фамилия?

— Официально это еще не наш порог. Вперед, индюк!

До нашего «официального» местожительства осталось еще двадцать четыре ступеньки, и на полпути я остановился, чтобы перевести дух.

— Почему ты такая тяжелая? — спросил я.

— А тебе не приходило в голову, что я беременна? — поинтересовалась она.

От этого вопроса у меня перехватило дух.

— Это правда? — наконец вымолвил я.

— Что, испугался?

— Не-ет...

— Не свисти своим ребятам, Преппи.

— Да, ты права. У меня внутри все сжалось.

И я понес ее дальше.

Это был один из тех немногих драгоценных моментов, когда мы не думали о том, где бы «перехватить».

Благодаря моему славному семейному имени нам открыли кредит в одном продуктовом магазинчике, хотя другим студентам в долг продавать отказывались. И в то же время оно повредило нам в том месте, где я ожидал этого меньше всего, — в школе Шейди Лейн, куда Дженни должна была пойти работать учительницей.

— Разумеется, то скромное вознаграждение, которое предлагает учителям Шейди Лейн, невозможно сравнить с жалованьем в других школах, — сообщила моей жене мисс Энн Миллер Уитман, директор школы. И добавила, что «Бэрреттов, очевидно, данный аспект не волнует».

Дженни попыталась развеять эту иллюзию, но все, что она смогла получить вдобавок к положенным ей тридцати пяти сотням, это двухминутное «хо-хо-хо». Мисс Уитман предположила, что Дженни просто шутит, повествуя о том, будто Бэрреттам приходится платить за квартиру, как обыкновенным смертным.

Когда Дженни передала мне весь этот разговор, я высказал несколько своих предположений, куда можно было послать мисс Уитман вместе с ее «хо-хо-хо» и тридцатью пятью сотнями в придачу. Тогда Дженни спросила, не хочу ли я вылететь из Школы Права и взять ее на содержание до тех пор, пока она будет учиться на курсах, готовящих преподавателей публичных школ. В течение двух секунд я напряженно обдумывал ситуацию и, наконец, пришел к краткому и корректному заключению:

— Буйволиное дерьмо.

— Очень убедительно, — заметила моя жена.

— А ты думала, я скажу: «хо-хо-хо»?

— Нет. Просто привыкай есть спагетти.

Я привык. Научился любить спагетти, а Дженни научилась готовить из макарон все что угодно. С нашими летними приработками, ее жалованьем и моими предполагаемыми доходами от запланированной ночной работы на почте во время Рождества мы жили весьма сносно. Конечно, было много фильмов, которые мы так и не посмотрели (и концертов, на которые она так и не сходилась), но концы с концами мы все-таки сводили.

Но на этом все и кончалось. Я хочу сказать, что наш образ жизни круто изменился. Мы оставались в Кембридже, и теоретически Дженни могла по-прежнему играть во всех своих оркестрах. Но не хватало времени. Из Шейди Лейн она приходила совершенно измученная. А еще надо было приготовить обед (если мы только дома: питание в другом месте выходило за рамки наших максимальных возможностей). Между тем мои друзья оказались достаточно предупредительными и оставили нас в покое. То есть они не звали в гости нас, а мы не звали в гости их — надеюсь, вы меня поняли.

Мы даже забросили футбольные матчи.

Как член Варсити Клуба я имел право бронировать роскошные клубные места в престижный пятидесяти-ардовый ряд. Но это стоило шесть долларов, а на двоих — двенадцать.

— Нет, — спорила Дженни. — Это стоит только шесть долларов. Ты можешь сходить без меня. Ведь я ничего не знаю о футболе, кроме того, что люди там орут: «А ну, дай ему еще!» Но именно поэтому ты его обожаешь, и именно поэтому я хочу, чтобы ты пошел туда, черт подери!

— Слушание дела закончено, — обычно отвечал я, будучи все-таки мужем и главой семьи. — И потом я могу использовать это время, чтобы позаниматься...

Тем не менее все субботние вечера я проводил, прижав к уху транзистор и наслаждаясь ревом болельщиков, находившихся всего в миле от меня — и в то же время совершенно в другом мире.

Я воспользовался своими привилегиями члена Варсити Клуба, чтобы достать билеты на матч с участием йельской команды для Робби Уолда, моего приятеля из Школы Права. Когда Робби с благодарным шумом наконец покинул нашу квартиру, Дженни попросила еще раз объяснить ей, кто имеет право сидеть на роскошных местах, принадлежащих Клубу. Я повторил, что места эти предназначены исключительно для тех, кто доблестно защищал честь Гарварда на полях спортивных сражений независимо от их возраста, веса и социального положения.

— И на водах тоже? — уточнила она.

— Спортсмен — всегда спортсмен, — ответил я, — сухой он или мокрый.

— За исключением тебя, Оливер, — сказала она. — Ты у меня ледяной.

Я постарался закрыть тему, допустив, что Дженни, как обычно, просто щелкнула меня по носу, и не допуская, что в ее вопросе содержится нечто большее, чем элементарный интерес к спортивным традициям Гарвардского университета. Ну, например, легкий намек на то, что, хотя стадион и вмещает сорок пять тысяч человек, тем не менее все бывшие гарвардские спортсмены сидят в одном престижном ряду. Все. Старые и молодые. Мокрые, сухие и даже ледяные. И неужели только из-за этих несчастных шести долларов я не ходил по субботам на стадион?

Нет, если у нее на уме и было еще что-нибудь, я бы предпочел об этом не говорить.

Глава XIII

Мистер и миссис Оливер Бэрретт III
имеют честь пригласить вас на обед
по случаю шестидесятилетия мистера Бэрретта.
Обед состоится в субботу шестого марта
в семь часов
в Дувр Хаус, Ипсвич, Массачусетс.
R. S. V. P.¹

— Ну? — спросила Дженнифер.

— Ты еще спрашиваешь? — сказал я, конспектируя дело «Штат против Персиваля», ставшее чрезвычайно важным прецедентом в уголовном законодательстве.

Дженни помахала приглашением, чтобы привлечь мое внимание.

— Я думаю, что уже пора, Оливер, — сказала она.

— Пора сделать что?

— Ты прекрасно знаешь, что, — ответила она. — Неужели ему надо ползти сюда на четвереньках?

Я продолжал писать, пока она меня обрабатывала.

— Олли, он же пытается помириться с тобой!

— Ерунда, Дженни. Конверт надписан рукой моей матери.

— А мне показалось, ты сказал, что и не взглянул на него! — чуть ли не закричала Дженни. — Олли, ну подумай, — продолжала она умоляюще. — Ему же исполняется шестьдесят лет, черт побери! Откуда ты знаешь, дотянет ли он до того времени, когда ты наконец соизволишь помириться с ним?

Я проинформировал Дженни в примитивнейших выражениях, что примирение никогда не произойдет, и попросил ее любезно разрешить мне продолжать мои занятия. Она молча уселась на краешке подушечки у моих ног. Хотя Дженни не издавала ни звука, я вскоре почувствовал, что она пристально разглядывает меня. Я посмотрел на нее.

— Когда-нибудь, — сказала она, — когда тебя будет «доставать» Оливер V...

— Его никогда не будут звать Оливер, уж в этом-то будь уверена! — рявкнул я.

Она не стала кричать на меня, как делала это обычно, когда я повышал голос.

— Послушай, Ол, даже если мы назовем его «Клоун Бозо», этот ребенок все равно будет отвергать тебя, хотя бы только потому, что ты известный гарвардский спортсмен. А к тому времени, как он станет первокурсником, ты, возможно, уже будешь заседать в Верховном Суде!

Я сказал ей, что наш сын наверняка не будет отвергать меня. Она поинтересовалась, почему я так уверен в этом. Я не смог представить никаких доказательств. То есть я просто знал, что наш сын не будет отвергать меня, но я не мог точно сформулировать почему. И тогда Дженни вдруг сказала ни с того ни с сего:

— Оливер, твой отец любит тебя. Он любит тебя точно так же, как ты будешь любить Бозо. Но у вас, Бэрреттов, так чертовски развито чувство собственного достоинства и соперничества, что всю свою жизнь вы можете думать, что ненавидите друг друга.

— Если бы не ты, — пошутил я.

— Да, — согласилась она.

— Обсуждение дела прекращено, — сказал я, будучи как-никак мужем и главой семьи.

Я снова усталился в дело «Штат против Персиваля», и Дженни встала. Но тут она вспомнила еще кое-что.

— Но еще надо решить вопрос с «R. S. V. P.».

Я заметил, что выпускница Рэдклифа по классу

музыки, вероятно, могла бы сама придумать краткий, но любезный негативный ответ безо всякой профессиональной помощи.

— Послушай, Оливер, — сказала она, — вероятно, я в своей жизни и лгала, и хитрила. Но я никогда никому нарочно не причиняла боли. И не думаю, что смогла бы это сделать.

— Неужели ты не можешь просто написать записку?

— Я сейчас потеряю терпение. Скажи мне номер их телефона.

Я сказал и в ту же секунду погрузился в чтение апелляции Персиваля в Верховный Суд. Я не прислушивался к тому, что говорила Дженни. То есть я старался не прислушиваться — она ведь находилась в этой же комнате.

— О, добрый вечер, сэр, — услышал я. Неужели Сукин Сын сам подошел к телефону?.. Она зажала рукой трубку. — Олли, все-таки надо ответить отрицательно?

Мой утвердительный наклон головы означал, что это необходимо, а взмах руки — что она должна поторопиться, черт побери.

— Мне ужасно жаль, — сказала она в трубку. — То есть я хотела сказать, что нам ужасно жаль, сэр...

«Нам!» Зачем ей надо было еще и меня сюда впутывать? И почему она в конце концов не может добраться до сути дела и повесить трубку?

— Оливер! — Она снова зажала трубку рукой и заговорила громче: — Ему же очень больно, Оливер... Неужели ты можешь просто так сидеть, когда твой отец истекает кровью?

Если бы она не была сейчас в таком взвинченном состоянии, я мог бы еще раз объяснить ей, что камни не кровоточат, что она не должна проецировать свои ошибочные итало-средиземноморские понятия о родителях на скалистые кручи утеса Рашмор. Но она была очень расстроена. И это расстраивало и меня тоже.

— Оливер, — умоляюще произнесла она, — неужели ты не можешь сказать хоть одно слово?

Ему? Она, наверное, сошла с ума!

— Ну, может быть, что-нибудь вроде «здравствуй»?

Она протягивала мне трубку. И пыталась не заплакать.

— Я никогда не буду разговаривать с ним. Никогда, — сказал я совершенно спокойно.

Теперь она плакала. Беззвучно, но слезы текли у нее по лицу. И потом — потом она стала умолять.

— Ради меня, Оливер. Я никогда ни о чем тебя не просила. Пожалуйста.

Три человека. Все мы трое просто стояли (мне почему-то показалось, что мой отец тоже находится здесь) и ждали чего-то. Чего? Чтобы я что-то сделал? Этого я сделать не мог.

Разве Дженни не понимает, что она просит о невозможном? Что я сделал бы все, абсолютно все, но только не это? Я усталился в пол, качая головой из стороны в сторону с выражением непреклонного отказа и чрезвычайной неловкости, а Дженни яростно прошептала — такого тона я у нее еще не слышал:

— Ты бессердечный ублюдок. — А потом закончила разговор с моим отцом, сказав: — Мистер Бэрретт, Оливер хочет, чтобы вы знали, что по-своему...

Она остановилась, чтобы сделать глубокий вдох. Я был настолько ошарашен, что мог только дожидаться конца моего мнимого устного послания.

— ...Оливер очень вас любит, — закончила она и быстро нажала на рычажок.

Нет никакого разумного объяснения тому, что я сделал в следующую секунду. Прошу признать меня временно невменяемым. Поправка: я ничего не прошу. Меня никогда нельзя простить за то, что я сделал.

¹ Répondez s'il vous plaît. — Ответьте, пожалуйста (фр.).

Я выхватил из ее руки телефонную трубку, затем выдернул телефон из розетки и швырнул его через всю комнату.

— Черт бы тебя подрал, Дженни! Убирайся из моей жизни ко всем чертям!

Я застыл, дыша, как зверь, в которого неожиданно превратился. Господи Иисусе! Что же, черт возьми, со мной случилось? Я повернулся, чтобы взглянуть на Дженни.

Но ее не было...

Я искал ее повсюду.

В библиотеке Школы Права я рыскал по рядам зубривших студентов... Потом Харкнесс Коммонз, холл, кафетерий. Потом сумасшедшая беготня по Агассиз Холлу в Рэдклиффе. Там ее тоже не было. Теперь я носился повсюду, и мои ноги старались бежать с такой же скоростью, что и мое сердце.

Пейн Холл? (Черт побери, какая ирония в этом названии!)¹ Внизу находятся комнаты для фортепианных занятий. Я знаю Дженни. Когда она злится, она должна изо всей силы стучать по этой чертовой клавиатуре. Правильно, но что она будет делать, если до смерти перепугана?

Инстинкт заставил меня остановиться у двери, за которой я услышал сильные (рассерженные?) звуки прелюдии Шопена. На мгновение я застыл. Играли с ошибками, весьма паршиво — остановились и снова начали. В одной из пауз я услышал женский голос, произнесший: «Дерьмо!» Это наверняка Дженни. Я распахнул дверь.

За роялем сидела какая-то клиффи. Она взглянула на меня. Некрасивая широкоплечая хипповая студентка, раздраженная моим вторжением.

— Что скажешь, парень? — спросила она.

— Плохо, очень плохо, — сказал я и снова закрыл дверь.

Затем я побежал на Гарвард Сквер.

Где же Дженни?

Я стоял, ничего не делая, заблудившись во мраке этого островка на Гарвард Сквер, не зная, куда идти и что делать дальше. Какой-то цветной подошел ко мне и спросил, не хочу ли я уколиться или покурить травки. Я задумчиво ответил ему:

— Нет, спасибо, сэр.

Теперь я уже не бежал. И вправду, зачем бежать в пустой дом? Было очень поздно, и во мне все застыло скорее от ужаса, чем от холода (хотя было не жарко, можете мне поверить). Когда я был в нескольких ярдах от дома, мне показалось, что на верхней ступеньке лестницы кто-то сидит. Наверное, это галлюцинации, подумал я, ведь фигура не двигается.

Но это была Дженни.

Это она сидела на верхней ступеньке.

Я слишком устал, чтобы паниковать, и чувствовал слишком большое облегчение, чтобы радоваться...

— Джен?

— Олли?

Мы оба говорили так тихо и спокойно, что было невозможно понять, какие чувства скрываются за нашими словами.

— Я забыла ключ, — сказала Дженни.

Я стоял у подножия лестницы, боясь спросить, сколько времени она уже здесь сидит. Я только знал, что я поступил с ней ужасно.

— Дженни, прости меня...

— Замолчи. — Она прервала мои извинения, а потом произнесла очень тихо: — Любовь — это когда не нужно говорить «прости».

Я помчался вверх по ступенькам — туда, где она сидела.

— Я хочу лечь спать. О'кей? — сказала она.

— О'кей.

Мы пошли к себе в квартиру. Когда мы раздевались, она подняла глаза и сказала, успокаивая меня:

— Я говорила правду, Оливер.

Глава XIV

Письмо пришло в июле. Оно было отправлено из Кембриджа в Деннис Порт, и поэтому я узнал обо всем с опозданием приблизительно на один день. Я бросился туда, где Дженни присматривала за детьми, игравшими в футбол (или еще во что-то), и сказал в своей обычной манере, подражая Богарту¹:

— А ну пошли.

— Что?

— А ну пошли, — повторил я приказным тоном и направился к воде. Дженни последовала за мной.

— Что происходит, Оливер? Объясни, пожалуйста. Ну, ради Бога!

— В лодку, Дженнифер! — повелел я, простирая вперед руку. В кулаке было зажато письмо, но Дженни его не заметила.

— Оливер, я же не могу оставить детей без присмотра, — протестовала Дженни, послушно ступая на борт. — Черт возьми, Оливер, да объясни в конце концов, в чем дело!

Мы были уже в нескольких сотнях ярдов от берега.

— Мне надо тебе кое-что сказать, — сообщил я.

— А что, ты не мог сказать мне об этом на берегу? — завопила она.

— Нет, черт побери! — проорал я в ответ. Никто из нас не сердился, но было ветрено, и приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. — Я хотел остаться с тобой наедине. Посмотри, что у меня есть. — Я взмахнул конвертом, и она тут же узнала фирменный знак.

— О, Гарвардская Школа Права! Тебе что, дали пинка под зад?

— Думай еще, жизнерадостная сучка! — рявкнул я.

— Тебя признали первым среди выпускников! — осенило ее.

Мне стало неловко.

— Почти. Третьим.

— О-о, — протянула она. — Всего лишь третьим?

— Послушай, но это значит, что моя фамилия все равно попадает в этот недоделанный «Юридический Вестник»! — прокричал я.

Она сидела с абсолютно ничего не выражающим лицом.

— Господи Иисусе, Дженни, — захныкал я, — ну скажи хоть что-нибудь!

— Не раньше, чем я узнаю, кто стал первым и вторым, — процедила она.

Я надеялся обнаружить на ее лице хоть тень улыбки, которую пока еще ей удавалось сдерживать.

— Ну, Дженни... — молил я.

— Мне пора. До свидания, — сказала она и тут же прыгнула в воду.

Я нырнул за ней, и в следующий миг мы оба хихикали, уцепившись за борт лодки.

— Эй! — Мне захотелось поделиться с ней одним остроумным наблюдением. — Из-за меня ты бросилась за борт.

— Не выпендривайся, — ответила она. — Третий — это всего лишь третий.

— Знаешь что, стерва?

— Что, недоносок?

— Я чертовски многим обязан тебе, — серьезно закончил я.

— А вот и неправда, убудодок, неправда, — отозвалась она.

¹ Пейн — pain — боль (англ.).

¹ Имеется в виду Хэмфри Богарт (1899—1957), американский киноактер.

— Неправда? — переспросил я, несколько озадаченный.

— Ты обязан мне всем, — сказала она.

В ту ночь мы просадили двадцать три доллара, обьежившись омарами в одном модном ресторане в Ярмуте. Однако Дженни отложила вынесение окончательного приговора до тех пор, пока не выяснится, кто те два джентльмена, которые, как она выразилась, «положили меня на лопатки».

Как это ни глупо звучит, но я был настолько в нее влюблен, что, едва мы вернулись в Кембридж, я тут же кинулся выяснять, кто они — те два парня, обошедшие меня. Я почувствовал облегчение, когда обнаружил, что первым в списке шел Эрвин Блэсбэнд, выпускник Сити Колледж 1964 года, дохлый очкастый книгоед, совершенно не в ее вкусе, а парнем номер два оказалась Белла Ландау, выпускница Брин Мор 1964 года. Все складывалось к лучшему. Особенно то, что Белла Ландау была довольно-таки фактурна (насколько вообще может быть фактурна правоведка). Теперь я мог немножко подразнить Дженни подробностями того, что творится вечерами в Гэннетт Хаус — здании, где размещался «Юридический Вестник». А ведь и в самом деле мы нередко засиживались допоздна. Сколько раз я приходил домой в два или три часа ночи! Подумайте только: шесть лекций плюс редактирование в «Юридическом Вестнике», да плюс еще тот факт, что я писал статью для одного из номеров «Вестника» (Оливер Бэрретт IV. «Юридическая помощь беднейшим слоям городского населения: на материале исследования района Роксбери, г. Бостон»; ГЮВ¹, март, 1966 г., стр. 861—908).

— Хорошая статья. Действительно, хорошая статья, — несколько раз повторил старший редактор Джоэл Флейшман.

По совести говоря, я ожидал более членораздельного комплимента от парня, собирающегося в следующем году стать помощником судьи Дугласа, но это единственное, что он смог выдать из себя, просматривая окончательный вариант моей статьи. Господи, а Дженни уверяла меня, что вещь «острая, умная и действительно хорошо написана». Неужели Флейшман не мог сказать мне что-нибудь в этом роде?

— Флейшман считает, что это хорошая статья, Джен.

— Боже, неужели я прождала тебя почти до утра, чтобы услышать ЭТО? — возмутилась она. — Разве он не стал комментировать твою методику, стиль — или еще что-нибудь?

— Нет, Джен. Он просто назвал статью хорошей.

— В таком случае, почему тебя так долго не было? Я подмигнул ей.

— Никак не мог закончить одно дельце с Беллой Ландау.

— Да ну?

Тона я не уловил.

— Ты что, ревнуешь? — спросил я с надеждой.

— Нет, ноги у меня гораздо лучше, — ответила она.

— А ты умеешь составлять исковые заявления?

— А она умеет готовить спагетти?

— Да. Между прочим, именно спагетти она и принесла сегодня вечером в Гэннетт Хаус. Все сказали, что ее спагетти так же хороши, как твои ноги.

Дженни кивнула:

— Еще бы!

— Ну, и что ты на это скажешь? — поинтересовался я.

— Скажу: «А кто платит за квартиру — Белла Ландау?»

— Вот черт! — воскликнул я. — Ну почему я нико-

гда не могу остановиться именно в тот момент, когда я впереди?

— Потому что ты никогда не бываешь впереди, Преппи, — ответила моя любящая жена.

Глава XV

Так мы закончили Школу Права.

Эрвин, Белла и я были названы лучшими выпускниками Школы. Пришло время нашего триумфа. Тесты, серьезные деловые предложения. Встречные иски. Надувание щек. Куча работы. Повсюду мне мерещились призывные надписи: «Поработай у нас, Бэрретт!»

Но я твердо следовал вдоль линии, отмеченной «зелеными линиями». Не такой уж я болван, чтобы согласиться на престижное место клерка при каком-нибудь суде или пойти в государственное учреждение типа Министерства юстиции. Я искал денежную работу, которая раз и навсегда исключила бы из нашего чертова лексикона эту подлую фразу: «Где бы перехватить?»

...Особо интригующее предложение поступило от одной фирмы из Лос-Анджелеса. Посредник, назовем его некто Мистер Х (так спокойнее!), твердил мне:

— Слушай, Бэрретт, мой мальчик, с ЭТИМ у нас все в порядке. В любое время суток. Если захочешь, доставят прямо в контору.

И не то чтобы нас очень тянуло в Калифорнию, но хотелось все-таки знать, что Мистер Х подразумевает под «ЭТИМ». У меня с Дженни появилась целая масса совершенно безумных догадок на этот счет, но, видимо, для Лос-Анджелеса они были недостаточно безумны. (В конце концов я отделался от Мистера Х, сказав ему, что «ЭТО» меня абсолютно не волнует. Он был ошеломлен.)

На самом деле мы уже приняли решение остаться на Восточном побережье: у нас было предостаточно заманчивых предложений из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона. Одно время Дженни думала, что нам подойдет округ Колумбия («Ты можешь попасть в Белый дом, Ол»), но меня больше тянуло в Нью-Йорк. И посему, с благословения моей жены, я наконец сказал «да» конторе Джонса и Марша — престижной фирме (Марш некогда был генеральным прокурором), специализирующейся на защите гражданских свобод («Надо же, ты сможешь делать добро и карьеру одновременно», — сказала Дженни). К тому же они прилично попытели, чтобы уболтать меня: старик Джо-нас прикатил в Бостон, потащил нас обедать в Пьер Фор, а потом прислал Дженни цветы.

Целую неделю Дженни ходила, распевая куплет, начинавшийся словами «Джонас, Марш и Бэрретт». Я посовещался с ней не опережать события, а она посоветовала мне не выпендриваться, потому что, по ее мнению, у меня в голове крутился тот же самый мотив. Должен признаться, что она была права.

Впрочем, позвольте довести до вашего сведения, что Джонас и Марш положили Оливеру Бэрретту IV 11 800 долларов в год — никто из наших выпускников не получил такого головокружительного жалования.

Как видите, третьим я оказался только с точки зрения успеваемости.

Глава XVI

ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА:

С 1-го июля 1967 года

мистер и миссис Оливер Бэрретт IV
проживают по адресу:
263, 63-я Ист Стрит, Нью-Йорк,
штат Нью-Йорк 10021.

— Это звучит так, будто мы с тобой нувориши, — огорчилась Дженни.

¹ ГЮВ — «Гарвардский Юридический Вестник».

— Но мы ведь и есть нувориши,— настаивал я.

И еще один факт усиливал мою эйфорию: сумма, которую мы ежемесячно выкладывали за мою новую машину, была — черт подери — почти равна той, что мы платили за всю нашу квартиру в Кембридже! От нас до конторы Джонаса и Марша идти было минут десять, или точнее шествовать, ибо я предпочитал именно эту разновидность передвижения. На таком же расстоянии от нашего дома находились шикарные магазины вроде Бонвита, и я потребовал, чтобы моя жена, паршивка этакая, немедленно открыла счет и начала тратить деньги.

— Ну для чего, Оливер?

— Для того, черт возьми, Дженни, что я хочу, чтобы ты меня использовала!

В Нью-Йорке я вступил в Гарвардский Клуб по рекомендации Рэймонда Стрэттона, выпускника 1964 года, только что вернувшегося к гражданской жизни после того, как он вроде бы подстрелил вьетнамца. («Вообще-то не уверен, что это был вьет. Я просто услышал шум и пальнул по кустам».) Мы с Рэем играли в сквош по крайней мере три раза в неделю, и я дал себе слово через три года стать чемпионом Клуба. Мы перебрались в Нью-Йорк летом (перед этим мне пришлось зубрить, как проклятому, чтобы сдать экзамены для вступления в адвокатуру Нью-Йорка). Нас начали приглашать на уик-энды.

— Пошли их на хрен, Оливер. Я не хочу тратить целых два дня в неделю, чтобы канителиться с этими занудными полудурками.

— О'кэй, Джен, но что я должен им сказать?

— Ну скажи, например, что я беременна.

— Правда? — спросил я.

— Нет, но если на уик-энд мы останемся дома, это, может быть, станет правдой.

Мы даже выбрали имя. То есть выбрал я, и Дженни в конце концов со мной согласилась.

— Эй, а ты не будешь смеяться? — спросил ее я, впервые коснувшись этой темы.

В этот момент она возилась на нашей кухне, выдержанной в изысканных желтых тонах и оснащенной даже посудомоечной машиной.

— Над чем? — поинтересовалась она, не прекращая резать помидоры.

— Я пришел к выводу, что мне нравится имя Бозо, — ответил я.

— Ты что, серьезно? — спросила она.

— Серьезно. Классное имя.

— Ты хочешь назвать нашего ребенка Бозо? — переспросила она.

— Да. Хочу. Честное слово, Дженни. Знаешь, это отличное имя для будущего чемпиона.

— Бозо Бэрретт. — Она как бы попробовала это имя на вкус.

— Господи Боже мой, он будет невероятным громилой, — продолжал я, с каждым словом все больше убеждая в этом самого себя. — Бозо Бэрретт. Непрошибаемый полузащитник непобедимой Гарвардской сборной.

— Да... Но, Оливер, предположим — ну, просто предположим, — что у ребенка будет неважно с координацией движений?

— Это невозможно, Джен, у нас слишком хорошие гены. Правда.

Я действительно не шутил. И даже важно шествовал на работу, я продолжал грезить о нашем будущем Бозо.

За обедом я снова вернулся к этой теме. Кстати, мы купили великолепный сервиз из датского фарфора.

— Бозо вырастет громилой с прекрасной координа-

цией, — сообщил я Дженни. — А если у него будут твои руки, мы сделаем из него не полузащитника, а защитника.

На лице Дженни появилась усмешка, извещавшая о том, что она подыскивает какое-нибудь ехидное словечко, чтобы разрушить мою идиллию. Но, видимо, не придумав никакого по-настоящему убийственного аргумента, она просто разрезала пирог и положила мне кусочек. И стала слушать дальше.

— Ты только подумай, Дженни, — продолжал я даже с набитым ртом. — Двести сорок фунтов виртуозного мордovorотства.

— Двести сорок фунтов? — сказала она. — В наших генах не обнаружено ничего такого, что говорило бы о двухстах сорока фунтах, Оливер.

— А мы его будем откармливать, Джен. «Хай-Протин», «Нутрамент» — запишем в него все витамины, которые только известны науке.

— Ну да? А если он не захочет их есть, Оливер?

— Он будет их есть, черт его поberi! — Я уже начал слегка заводиться, и во мне поднималось раздражение на этого парня, который скоро усядется за наш стол и не захочет поработать на мою мечту и стать триумфом мускулатуры. — Он будет есть, иначе я набыю ему морду.

Тут Дженни посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась.

— Не набьешь, если в нем будет двести сорок фунтов, ни за что не набьешь.

— М-да. — Это на мгновение слегка охладило мой пыл, но я быстро нашелся. — Постой, он же не сразу наберет двести сорок фунтов!

— Разумеется, — согласилась Дженни и погрозила мне ложкой, — но когда он наберет их — тогда беги без оглядки, Преппи! — И она засмеялась, как сумасшедшая.

Это было действительно забавно, и в моем мозгу возникла такая картина: этакий младенец, двести сорок фунтов весом, путаясь в пеленках, гонится за мной по Центральному Парку и орет:

— Не груби моей мамочке, Преппи!

Господи, одна надежда на Дженни — она не позволит Бозо размазать меня по стенке!

Глава XVII

Сделать ребенка, оказывается, не так-то просто.

Вот ирония судьбы: в первые годы своей сексуальной жизни парни озабочены исключительно тем, как бы их подружки не залетели (в свое время я тоже поваландался с презервативами), а потом все наоборот — на них находит какое-то маниакальное желание зачать потомство.

Да, это желание может стать навязчивой идеей, и тогда самый замечательный аспект вашей счастливой семейной жизни лишается главного — внезапной естественности. То есть, я хочу сказать, что программирование (на ум сразу приходит какая-то машина) — так вот, мысленное программирование будущего акта любви в соответствии с правилами, календарями, определенной стратегией («Наверное, лучше завтра утром, Ол?») может стать источником дискомфорта, отвращения и ужаса в конце концов...

...Когда видишь, что твоя любительская квалификация и здоровые (будем надеяться!) усилия не решают проблему «плодитесь и размножайтесь», то в голову лезут самые чудовищные мысли.

— Я надеюсь, Оливер, вы понимаете, что «бесплодие» и «бессилие» — вещи совершенно разные, — так успокоил меня доктор Мортимор Шепард во время нашего первого разговора, когда мы с Дженни наконец решили показаться специалисту.

— Он понимает это, доктор, — ответила за меня

Дженни, прекрасно зная (хотя я даже никогда не упоминал об этой проблеме), что мысль о моем бесплодии — вероятном бесплодии — может меня доконаť. И в голосе ее даже послышалась надежда на то, что если и обнаружится какое-то отклонение, то, вероятно, у нее самой.

Но доктор, просветив нас на предмет самого худшего, затем сообщил, что скорей всего мы в порядке и что, очевидно, в ближайшее время станем счастливыми родителями. Но, разумеется, нам придется пройти кучу обследований. Сдать все анализы. И так далее — просто не хочется перечислять все неприятные подробности такого рода обследований.

Нас обследовали в понедельник. Дженни — днем, а меня — после работы (дел в конторе было невпоровот). Доктор Шепард пригласил Дженни еще раз в пятницу на той же неделе, объяснив, что его медсестра, кажется, что-то перепутала, и он должен перепроверить кое-что. Когда Дженни рассказала мне об этом повторном визите, я заподозрил, что отклонение от нормы нашли у нее. Наверное, она думала о том же. Вся эта история с невнимательной сестрой была слишком примитивна.

Когда доктор Шепард позвонил мне в контору Джонаса и Марша, я был уже почти уверен в этом.

— Пожалуйста, зайдите ко мне по дороге домой.

Услышав, что говорить мы будем вдвоем, без Дженни («Я уже сегодня беседовал с миссис Бэрретт»), я укрепился в своих подозрениях. У Дженни не будет детей. Впрочем, не делай преждевременных выводов, Оливер, не забывай, что Шепард рассказывал о разных методах лечения, например, о хирургической коррекции. Но сосредоточиться я не мог, и ждать до пяти часов казалось глупостью. Поэтому я позвонил Шепарду и попросил принять меня пораньше. Он ответил о'кей.

— Ну и чья это вина? — спросил я напрямик.

— Я бы не сказал, что это «вина», Оливер, — ответил он.

— Ну хорошо, тогда у кого из нас, в таком случае, нарушены функции?

— У Дженни.

Я был более или менее готов к такому ответу, но категоричность тона доктора поразила меня. Он больше ничего не стал говорить, и я решил, что он хочет послушать меня.

— Ладно, тогда мы кого-нибудь усыновим. Ведь главное — что мы любим друг друга, верно?

И тогда он сказал мне:

— Оливер, все гораздо серьезнее. Дженни тяжело больна.

— Объясните мне, пожалуйста, что значит «тяжело» больна?

— Она умирает.

— Но это невозможно, — сказал я.

Я ждал — вот сейчас доктор признается, что все это просто-напросто шутка.

— Она умирает, Оливер, — повторил он. — Мне жаль, но я вынужден сказать об этом.

Я начал убеждать его, что это какая-то ошибка, возможно, идиотка медсестры снова что-нибудь перепутала и дала ему не тот рентгеновский снимок. Он отвечал мне со всем сочувствием, на какое только был способен, что трижды посылал кровь Дженни на анализ. Так что диагноз абсолютно точный. Впрочем, он может направить нас — меня и Дженни — на консультацию к гематологу. Посоветовать...

Я поднял руку, и он остановился. Мне хотелось посидеть молча минуту. Просто помолчать и окончательно осознать, что случилось. И вдруг я подумал вот о чем.

— А что вы сказали Дженни, доктор?

— Что у вас обоих все в порядке.

— И она поверила?

— Думаю, да.

— Но ведь ей придется об этом сказать? Когда?

— Это зависит только от вас.

Только от меня... Боже, в тот миг мне не хотелось жить!

Врач объяснил мне, что терапевтическое лечение при той форме лейкемии, которая обнаружена у Дженни, — всего лишь временное облегчение страданий. Да, можно уменьшить боль, замедлить развитие недуга, но повернуть болезнь вспять нельзя. Так что решать мне. Впрочем, он не настаивает на немедленном лечении.

Но в эту минуту я думал лишь о том, что все случившееся с нами чудовищно и безысходно.

— Но ведь ей только двадцать четыре года! — закричал я доктору.

Доктор терпеливо кивнул. Разумеется, он знал возраст Дженни, но знал он и о том, какая это мука для меня. В конце концов я сообразил, что нельзя же сидеть в кабинете доктора вечно. И спросил, что же делать. То есть, что мне нужно делать. Он посоветовал вести себя как можно естественнее и тянуть это как можно дольше. Я поблагодарил и вышел.

Как можно естественнее! Как можно естественнее!

Глава XVIII

Я начал думать о Боге.

Мысль о том, что где-то обитает некое Высшее Существо, прочно поселилась в моей голове. Но мне вовсе не хотелось отхлестать Его по щекам или врезать Ему как следует за то, что Он собирается сделать со мной — с Дженни то есть. Нет, моя религиозность выглядела совсем по-другому. Ну, например, когда я просыпался утром рядом с Дженни. Все еще рядом. Неловко признаться, но тогда я надеялся, что существует Господь Бог, которому я мог сказать за это спасибо. Спасибо Тебе за то, что Ты позволяешь мне просыпаться и видеть рядом Дженнифер.

Я дьявольски старался и вел себя как можно естественнее, даже разрешал ей готовить завтрак, ну и так далее.

— У тебя сегодня встреча со Стрэттоном? — спросила она, когда я допивал вторую чашку кофе.

— С кем? — переспросил я.

— Ну, с Рэймондом Стрэттоном, — пояснила она. — Твой лучший друг выпуска 1964 года. Он был твоим соседом по комнате — до меня.

— Ах, да. Мы собирались поиграть в сквош. Ну, я отменю.

— Нет, ты будешь играть в сквош, Преппи. На черта мне нужен обвислый муж!

— О'кей, — согласился я, — но тогда давай пообедаем где-нибудь в центре.

— Что-о? — спросила она.

— Что значит «что»? — завопил я, пытаюсь изобразить свой обычный притворный гнев. — Что же это — я не могу повести свою чертову жену обедать, если мне этого хочется?

— Кто она, Бэрретт? И как ее зовут?

— Не понял?

— Сейчас поймешь, — объяснила она. — Если посреди недели ты тащишь свою жену куда-нибудь обедать, значит, ты точно с кем-нибудь трахаешься!

— Дженнифер! — взревел я, теперь уже по-настоящему обиженный. — Как ты смеешь говорить такое во время моего завтрака!

— Хорошо, но тогда твоя задница будет сидеть на этом стуле во время моего обеда. О'кей?

— О'кей.

И я сказал этому Высшему Существо: кто бы Ты ни был и где бы Ты ни был, знай — я с радостью

понесу свой крест. Мне наплевать на мои муки. Главное, чтобы Дженни ни о чем не догадывалась. Договорились, Сэр? Назови любую цену, Господи...

— Оливер!

— Да, мистер Джонас?

Он пригласил меня в свой кабинет.

— Вы знакомы с делом Бека? — спросил он.

Разумеется, я был знаком. Роберта Л. Бека, фото-репортера журнала «Лайф», до полусмерти отметили чикагские полицейские, когда он пытался сфотографировать какую-то уличную заварушку. Джонас считал это дело очень важным.

— Кажется, фараоны надавали ему по шее, сэр, — беспечно ответил я Джонасу (ха-ха!).

— Я хочу, чтобы вы вели это дело, Оливер, — произнес Джонас. — Можете взять в помощники кого-нибудь из молодых.

Кого-нибудь из молодых? Парня моложе меня в конторе не было. Но я понял, что имел в виду шеф:

«Оливер, несмотря на ваш год рождения, вы один из старших в нашей фирме. Вы один из нас, Оливер».

— Спасибо, сэр, — сказал я.

— Когда вы сможете отправиться в Чикаго? — спросил он.

Я уже говорил, что сам решил тащить свой крест. Поэтому я понес чудовищную околесицу. Даже точно не помню, как именно я объяснил старине Джонасу свое нежелание уезжать из Нью-Йорка. И очень надеялся, что он меня поймет. Но теперь я знаю, что он был разочарован и огорчен тем, как я отреагировал на его многозначительное предложение. О Боже, мистер Джонас, если бы вы только знали настоящую причину!

Парадокс: Оливер Бэрретт IV старается уйти из конторы пораньше, но домой не торопится. Как вы это можете объяснить?

У меня уже вошло в привычку разглядывать витрины на Пятой Авеню — все эти восхитительные и нелепо-экстравагантные вещи. Я бы обязательно накупил их для Дженнифер, но ведь я должен вести себя как можно естественнее...

Да, я боялся возвращаться домой. Потому что теперь, через несколько недель после того, как я узнал правду, она начала худеть. Конечно, совсем понемногу. И даже не замечала этого. Но я-то, который знал все, заметил.

Меня притягивали рекламные щиты авиакомпании: Бразилия, острова Карибского моря, Гавайи («Бросьте все — и улетайте к солнцу!») и так далее. В тот день они навязывали Европу в мертвый сезон: Лондон — любителям походить по магазинам, Париж — влюбленным...

— А как же моя стипендия? А Париж, который я так ни разу и не видела за всю мою чертову жизнь?

— А как же наша свадьба?

— А разве кто-нибудь когда-нибудь говорил о свадьбе?

— Я. Я сейчас об этом говорю.

— Ты хочешь жениться на мне?

— Да.

— Почему?

Я пользовался таким фантастически безотказным доверием, что у меня уже была кредитная карточка «Дайназ Клуб». Вж-жик! И вот моя подпись поставлена поверх пунктирной линии — я стал горделивым обладателем двух билетов (первый класс, никак не меньше!) в Город Влюбленных.

Лицо Дженни было серовато-бледным, но я-то, входя домой, надеялся, что моя фантастичная идея вернет хоть немного румянца ее щекам.

— А ну-ка, угадайте, что случилось, миссис Бэрретт? — произнес я.

— Тебя уволили, — предположила моя жена с оптимизмом.

— Выпустили на волю, — ответил я, вытащив билеты. — Да здравствует воля! Завтра вечером мы в Париже!

— Что за чушь собачья, Оливер, — проговорила она. Но очень спокойно, без обычной притворной задиристости. Ее слова скорее прозвучали нежно-ласково: «Что за чушь собачья, Оливер».

— Послушай, ты не могла бы определить поконкретнее, что такое «чушь собачья»?

— Слушай, — тихо отозвалась она, — так не пойдет.

— Что не пойдет? — спросил я.

— Я не хочу в Париж. Мне не нужен Париж. Мне нужен ты.

— Ну уж что-то, а этого тебе хватает! — перебил я ее нарочито веселым голосом.

— И еще мне нужно время, — продолжала она, — а это как раз то, что ты мне дать не можешь.

Тогда я заглянул в ее глаза. В них была невообразимая печаль, понять которую мог только я один. Эти глаза говорили, что ей очень жаль. Ей очень жаль меня.

Мы обнялись и замолчали. Конечно, если уж плакать, то вдвоем. Но лучше не плакать.

И тогда Дженни объяснила, что она чувствовала себя «абсолютно хреново» и решила опять пойти к доктору Шеппарду — но не на консультацию, а на конфронтацию.

— Вы скажете мне наконец, черт подери, что со мной?

И он сказал.

Почему-то я ощущал себя виноватым в том, что она узнала обо всем не от меня. Она почувствовала это и произнесла заранее продуманную невнятицу:

— Он йелец, Олли.

— Кто, Джен?

— Аккерман. Гематолог. Он законченный йелец: он закончил там и колледж, и Медицинскую Школу.

— Да ну? — пробормотал я, понимая, что она старается как-то облегчить этот тяжелый разговор.

— Надеюсь, он хоть умеет читать и писать? — поинтересовался я.

— Ну, в этом еще предстоит убедиться, — улыбнулась миссис Оливер Бэрретт, выпускница Рэдклиффа 1964 года, — но я уже выяснила, что разговаривать он умеет. Мне хотелось поговорить.

— О'кэй, ну тогда сойдет и йелец, — сказал я.

— О'кэй, — сказала она.

Глава XIX

Теперь я по крайней мере не боялся идти домой и не старался «вести себя как можно естественнее». Мы опять могли, как и раньше, говорить друг с другом обо всем — даже если это «все» было ужасом осознания того, что дни, которые нам суждено провести вместе, сочтены все до единого.

Нам надо было кое-что обсудить, хотя обычно двадцатичетырехлетние супруги о таких вещах не разговаривают.

— Я верю, что ты выдержишь, ты же у меня настоящий спортсмен, — говорила она.

— Выдержу, выдержу, — отвечал я, думая, догадывается ли всегда такая проницательная Дженнифер, что ее настоящий спортсмен трусит.

— Ты должен держаться ради Фила, — продолжала она. — Ему будет очень тяжело. Ну, а ты... ты станешь веселым вдовцом...

— Нет, не веселым,— перебил ее я.
— Ты будешь веселым, черт побери. Я хочу, чтобы ты был веселым. О'кэй?
— О'кэй.

Это случилось через месяц, сразу же после обеда. Она не хотела уступать и каждый день возилась на кухне. В конце концов мне удалось ее убедить, и она все-таки разрешила мне убирать со стола и мыть посуду (хотя сначала она, горячась, доказывала, что это «не мужская работа»). Итак я убирал чистые тарелки, а она играла на рояле Шопена. И вдруг остановилась на середине прелюдии. Я бросился в гостиную. Она сидела, просто сидела — и больше ничего.

— С тобой все в порядке, Джен? — спросил я (конечно, понимая, что «все в порядке» быть уже не может).

— У тебя хватит денег на такси? — поинтересовалась она.

— Конечно,— ответил я.— А куда ты хочешь поехать?

— Ну, например, в больницу.

И посреди обрушившегося на меня суматошного смятения я вдруг понял: «Вот оно». Дженни уходит из нашей квартиры, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Пока я собирал для нее вещи, она просто сидела. О чем она думала? О нашей квартире? Хотела вдоволь насмотреться и все запомнить? Нет. Она просто сидела, ничего не видя перед собой.

— Эй,— сказал я,— может быть, ты хочешь захватить с собой что-нибудь конкретно?

— Нет.— Она отрицательно покачала головой, а потом, после некоторого размышления, прибавила: — Тебя.

Спустившись вниз, мы пытались поймать такси,— что очень нелегко сделать вечером, когда все едут в театр или еще куда-нибудь. Швейцар свистел в свой свисток и размахивал руками, прямо как ополоумевший судья во время хоккейного матча. Дженни стояла, опираясь на меня, и я втайне не хотел никакого такси — лишь бы она вот так стояла и стояла, опираясь на меня. Но «мотор» в конце концов поймали. А таксист (нам всегда везло) оказался весельчаком. Едва он услышал про больницу Маунт Синай, он начал, как водится:

— Не волнуйтесь, ребятки, вы в надежных руках. Мы с аистом давненько занимаемся этим делом.

На заднем сиденье Дженни свернулась клубочком и прижалась ко мне. Я целовал ее волосы.

— Это у вас первенький? — спросил наш жизнерадостный водитель.

Думаю, Дженни почувствовала, как я собираюсь рывкнуть на этого малого, потому что прошептала:

— Не надо, Олли. Он ведь так старается.

— Да, сэр,— ответил я ему.— Это наш первенец, и моя жена неважно себя чувствует. Может быть, попробуем проскочить на красный?

Он доставил нас в Маунт Синай в мгновение ока. Этот парень действительно хорошо к нам отнесся, был очень вежливым, открыл нам дверь и все прочее. Перед тем как уехать, он долго желал нам счастья и удачи. Дженни поблагодарила его.

Мне показалось, что у нее подкашиваются ноги, и я хотел внести ее внутрь на руках, но она отказалась.

— Только не через этот порог, Преппи.

Поэтому мы вошли, и я еле вытерпел мучительно-педантичный процесс оформления больничных бумаг.

— У вас есть «Голубой щит» или другие медицинские страховки?

— Нет.

(Кто же думал о таких пустяках? Мы были слишком заняты покупкой фарфора.)

Конечно, приезд Дженни не был для них полной неожиданностью. Его предвидели, и нами сразу же занялся Бернард Аккерман, доктор медицины и, как предполагала Дженни, хороший парень, хоть и «законченный йелец».

— Мы будем ей вводить лейкоциты и тромбоциты,— проинформировал он меня.— Это то, что ей сейчас нужно больше всего. Антиметаболиты вводить не надо совсем.

— А что это значит? — спросил я.

— Это замедляет разрушение клеток,— объяснил он,— но — Дженни знает — при этом могут возникнуть неприятные побочные явления.

— Послушайте, доктор.— Я знал, что напрасно читаю ему эту лекцию.— Решает Дженни. Как она скажет, так и будет. Только уж вы, ребята, постарайтесь, чтобы ей не было очень больно.

— В этом вы можете быть уверены,— ответил он.

— Сколько бы это ни стоило, доктор.— Я, кажется, начал переходить на крик.

— Это может продлиться несколько недель, а может тянуться месяцами,— предупредил он.

— Наплевать на деньги,— сказал я.

Врач был со мной очень терпелив и спокойно реагировал на мой бессмысленный напор.

— Я просто хочу сказать,— объяснил Аккерман,— что никому неизвестно, сколько ей осталось.

— Запомните, доктор,— продолжал я командовать,— запомните: у нее должно быть все самое лучшее. Отдельная палата. Своя сиделка. И так далее. Пожалуйста. У меня есть деньги.

Глава XX

Невозможно домчаться от 63-й Ист Стрит в Манхэттене до Бостона в штате Массачусетс меньше, чем за три часа двадцать минут. Поверьте мне, я проверял предельную скорость на этой дороге и уверен, что никакая машина, иностранная или американская, даже если за рулем сидит сам Грэм Хилл, не проделает этот путь быстрее. Я гнал свой «эм-джи» по Массачусетскому шоссе со скоростью сто пять миль в час.

У меня есть такая электрическая бритва — ну знаете, на батарейках,— и будьте уверены, что я тщательно выбрился и сменил рубашку в машине, прежде чем вступить под священные своды офиса на Стейт Стрит. Даже в восемь часов утра здесь уже сидели несколько уважаемых бостонцев, ожидавших встречи с Оливером Бэрреттом III. Его секретарша меня знала и тут же сообщила о моем приходе по селектору.

Нет, мой отец не сказал:

— Проводите его ко мне в кабинет.

Вместо этого дверь распахнулась, и, появившись на пороге собственной персоной, он произнес:

— Оливер.

Научившись теперь по-другому вглядываться в лица людей, я сразу заметил, что он немного бледен, что волосы его чуть поседели (а может быть, и поредели) за эти три года.

— Заходи, сын,— произнес он каким-то непонятным тоном, но я не стал вдумываться — мне было не до этого. Я просто вошел в его кабинет и сел на стул для клиентов.— Ну, как живешь, сын? — спросил он.

— Хорошо, сэр,— ответил я.

— А как Дженнифер?

Я не стал лгать ему и сделал вид, что не услышал самый главный вопрос. Я просто выпалил причину моего неожиданного появления.

— Отец, одолжи мне пять тысяч долларов. Мне очень нужно.

Он посмотрел на меня и, кажется, кивнул.

— Ну и... — сказал он.
— Простите, сэр? — переспросил я.
— Хотелось бы знать — для каких целей?
— Я не могу сказать этого, отец. Просто мне нужны «бабки». Пожалуйста.

У меня появилось предположение, что он намеревается дать мне эти деньги, — если, конечно, допустить, что кто-то может предположить намерения Оливера Бэрретта III. Терзать меня он, видимо, тоже не собирался. Но он хотел... поговорить.

— А разве у Джонаса и Марша тебе не платят? — спросил он.

— Платят, сэр.

Сначала у меня возникло искушение сообщить ему, сколько я там получаю, — чтобы до него просто дошло, какой у меня уровень. Но потом я сообразил, что если он знает, где я служу, то, разумеется, знает, сколько мне платят.

— А разве она больше не преподает? — поинтересовался он.

Значит, он знает не все.

— Не называй ее «она», — предупредил я.

— Разве Дженнифер больше не преподает? — вежливо повторил он свой вопрос.

— Пожалуйста, оставь ее в покое, отец. Это мое личное дело. Очень важное дело.

— Какая-то девушка попала из-за тебя в затруднительное положение? — спросил он без тени осуждения в голосе.

— Да, — подтвердил я, — именно так, сэр. И мне нужны бабки. Пожалуйста.

Я и не надеялся, что он мне поверит. Да и он тоже не хотел знать правду, а задавал мне вопросы только для того, чтобы мы могли... поговорить.

Он выдвинул ящик стола и достал оттуда чековую книжку, медленно раскрыв ее — но не затем, чтобы помучить меня, а просто чтобы иметь возможность подыскать подходящие для такого случая слова. Незадаваемые слова.

Наконец он выписал чек, вырвал его из книжки и протянул мне. Какое-то мгновение я не мог понять, что тоже должен протянуть руку и взять чек из его пальцев. И, несколько смутившись, он положил чек на край письменного стола, потом посмотрел на меня и кивнул. Все это, видимо, означало: «Бери, сын». Но он только кивнул.

Мне тоже не хотелось так уходить. Я подыскивал какие-нибудь обычные, нейтральные слова, но их не было. Это было мучительно: нам обоим хотелось поговорить, и в то же время мы не решались даже посмотреть друг другу в глаза.

Я подался вперед и взял чек. Да, это был чек на пять тысяч долларов, подписанный Оливером Бэрреттом III. Чернила уже высохли. Я аккуратно сложил чек и, спрятав его в карман рубашки, встал и поплелся к двери. Конечно, нужно было сказать хоть что-нибудь вроде: «Я знаю, по моей вине весьма важные люди из Бостона (а может быть, даже из Вашингтона) прохлаждаются в твоей приемной, и все же, если бы у нас было что сказать друг другу, то я бы мог поболтать по офису, дожидаясь тебя, отец, а ты отменил бы тогда какой-нибудь официальный обед...» Ну и так далее.

Только остановившись в дверях, я сумел наконец глянуть ему в лицо и выговорить:

— Спасибо, отец.

Глава XXI

И еще мне предстояла трудная задача — рассказать обо всем Филу Кавиллери. Мне, кому же еще? Я боялся, что он обезумеет от горя, — а он просто запер дверь своего дома в Крэнстоне и переехал жить

ко мне. У каждого свой способ бороться с отчаянием. Фил наводил порядок в квартире. Он мыл, скреб, чистил, полировал. Я не очень понимал ход его мысли, но Господь с ним — пусть делает, что хочет. Может быть, он надеется, что Дженни вернется домой?

Может быть. Бедняга. И поэтому наводит чистоту. Он просто не хочет принимать вещи такими, каковы они есть на самом деле. Конечно, он в этом ни за что не признается, но я-то знаю, о чем он думает.

Ведь и я думаю о том же.

Как только она легла в больницу, я позвонил старику Джонасу и объяснил, почему не смогу приходить на службу. Я притворился, будто очень спешу и не могу долго разговаривать, так как понимал, что он огорчен, хочет сказать мне об этом и не находит слов. Отныне мой день делился на время посещения больницы и время для всего остального. Это остальное значения не имело. Я по привычке ел, наблюдал, как Фил (опять!) вылизывает квартиру, и не мог уснуть даже после таблеток, выписанных мне Аккерманом.

Однажды я услышал, как Фил пробормотал, обращаясь сам к себе:

— Я больше так не могу.

Он был в соседней комнате и протирает наш столовый сервиз. Я ничего не сказал ему, но про себя подумал: «А я вот могу. И кем бы ты ни был — Распоряжающийся Нами Там Наверху, — я прошу: «Пожалуйста, Сэр, пусть все это продлится, я могу выносить это до бесконечности. Потому что Дженни есть Дженни».

В тот вечер она выставила меня из палаты. Ей захотелось поговорить со своим отцом «как мужчина с женщиной».

— На это совещание допускаются только американцы итальянского происхождения, — сообщила она. Лицо ее было таким же белым, как и подушки, на которых она лежала. — Так что ползи отсюда, Бэрретт.

— О'кэй, — согласился я.

— Но не слишком далеко, — добавила она, когда я уже дошел до двери.

Я отправился посидеть в холле. Вскоре появился Фил.

— Она сказала, чтобы ты заползал, — прошептал он так, словно внутри у него была какая-то глухая пустота. — Пойду куплю сигарет.

— Закрой эту чертову дверь, — приказала она, когда я вошел в палату.

Я подчинился, а когда подходил к кровати, вдруг увидел все это целиком. Я имею в виду капельницу и прозрачную трубку, ведущую к ее правой руке, которую она все время старалась держать под одеялом. А я хотел видеть только ее лицо — каким бы бледным оно ни было, на нем все еще сияли ее глаза.

Поэтому я быстро сел рядом с ней.

— Мне совсем не больно, Олли. Знаешь, на что это похоже? Кажется, словно медленно падаешь с обрыва.

Что-то задрожало у меня внутри — нечто бесформенное, подбирающееся к горлу, чтобы заставить меня плакать. Но этого не будет. Не будет никогда. Сдохну, а не заплачу.

Нет, я не собирался плакать, но и говорить тоже не мог. Я смог только кивнуть в ответ. И я кивнул.

— Ерунда, — сказала она.

— М-м? — Это было больше похоже на мычание, чем на какое-нибудь слово.

— Нет, ты не знаешь, как падают с обрыва, Препи. Ты ни разу в своей дурацкой жизни не падал с обрыва.

— Падал, — возразил я, вновь обретая дар речи. — Когда познакомился с тобой.

— Да-а... На ее лице промелькнула улыбка.— «О, что за падение это было!» Откуда это?

— Не знаю,— ответил я.— Шекспир?

— Да, но кто это говорит? — произнесла она жалобно.— Я не могу даже вспомнить, из какой это пьесы. Я же закончила Рэдклифф и такие вещи должна помнить. Ведь я знала наизусть нумерацию всех вещей Моцарта в издании Кёхеля.

— Подумаешь, большое дело,— сказал я.

— А вот и большое.— И затем, нахмурившись, спросила: — Под каким номером идет концерт симфония для фортепиано с оркестром?

— Я посмотрю,— пообещал я.

И я знал, где надо смотреть. Дома, на полке у рояля. Найду этот концерт и завтра первым делом скажу ей номер.

— А ведь я когда-то это знала,— сказала Дженни.— Правда. Когда-то я это знала.

— Слушай,— произнес я, подражая Богарту,— ты что, хочешь поговорить о музыке?

— А ты предпочитаешь говорить о похоронах?

— Нет.— Я пожалел, что перебил ее.

— Похороны я обсудила с Филом. Ты меня слушаешь, Олли?

Я отвернулся.

— Да, слушаю, Дженни.

— Я сказала, что он может заказать католическую мессу. Ты же не будешь против? О'кэй?

— О'кэй,— ответил я.

— О'кэй,— повторила она.

И мне стало немного легче, потому что самое тяжелое было уже сказано. Но я ошибся.

— Послушай, Оливер,— мягко сказала Дженни — она всегда говорила так, когда злилась.— Перестань себя изводить, Оливер.

— Что?

— У тебя виноватый вид, Оливер, ты изводишь себя.

Я напрягся изо всех сил и попытался изменить выражение лица, но оно словно застыло.

— Никто не виноват. Понимаешь ты это, Преппи? — продолжала она.— Пожалуйста, перестань винить себя!

Я хотел смотреть на нее, не отрываясь,— всегда, вечно... И все же опустил глаза. Мне стало совестно, что даже сейчас Дженни может с такой легкостью читать мои мысли.

— Неужели ты не можешь сделать для меня такую ерундовину? Я прошу, Олли. Тогда все у тебя будет о'кэй.

И опять что-то зашевелилось у меня внутри, подобравшись так близко к горлу, что невозможно даже было ответить «о'кэй». Я молча смотрел на Дженни.

— Да черт с ним, с этим Парижем,— внезапно произнесла она.

— А? Что?

— И с Парижем, и с музыкой, и со всей остальной чепухой. Думаешь, ты меня всего этого лишил? Да мне наплевать на все это. Ты что, не веришь?

— Да, не верю,— честно признался я.

— Тогда убирайся отсюда. Нечего тебе делать у моего чертова смертного одра.

Она не шутила. Я знал, когда Дженни говорит что-то всерьез. И я купил разрешение остаться, солгав:

— Я тебе верю.

— Так-то лучше. А теперь я хочу тебя кое о чем попросить.

И снова что-то сжалось у меня внутри, стараясь выдавить рыдания. Но я выдержал. Я не буду плакать. Просто кивну головой, давая понять Дженни-фер, что выполняю любую ее просьбу.

— Пожалуйста, обними меня покрепче,— попросила она.

Я положил руку на ее плечо (боже мой, такое худое!) и тихонько сжал его.

— Нет, Олли, не так,— сказала она.— Обними меня по-настоящему. Иди ко мне.

Очень осторожно — чтобы не задеть все эти трубочки — я прилег рядом и обнял ее обеими руками.

— Спасибо, Олли.

Это были ее последние слова.

Глава XXII

Фил Кавиллери был в солярии и закуривал очередную сигарету, когда я там появился.

— Фил? — прошептал я тихо.

— Да? — Он посмотрел на меня, и мне показалось, что он все уже знает.

Его нужно было хоть как-то утешить. Я подошел и положил руку ему на плечо. Я боялся, что он заплачет. Я был уверен, что сам этого не сделаю. Не смогу. Просто уже поздно.

Он дотронулся до моей руки.

— Жаль,— пробормотал он.— Жаль, что я... — Тут он запнулся. Я ждал. И, впрочем, куда было спешить?... Жаль, что я обещал ей держаться. Держаться ради тебя.— И, словно ища опоры, он сжал мою руку.

Но я хотел остаться один. Вдохнуть воздуха. Может быть, даже пройтись.

Я спустился. Внизу, в больничном холле, стояла полная тишина. Я слышал только стук своих каблучков.

— Оливер.

Я остановился.

Это сказал мой отец.

Если не считать сидевшей за столиком дежурной сестры, мы были наедине. Мне вдруг пришло в голову, что в это ночное время, кроме нас, в целом Нью-Йорке бодрствует, должно быть, всего несколько человек.

Я не мог его видеть. Я пошел, не останавливаясь, прямо к вращающимся дверям. Но через мгновение он уже стоял на улице рядом со мной.

— Оливер,— произнес он.— Ты должен был мне все рассказать.

На улице было очень холодно, и я обрадовался этому, потому что мое онемевшее тело смогло наконец ощутить хоть что-нибудь. Отец продолжал говорить со мной, а я продолжал стоять неподвижно, чувствуя, как ледяной ветер хлещет меня по лицу.

— Как только мне стало об этом известно, я сразу бросился к машине,— рассказывал он.

Я забыл надеть пальто. И от холода у меня уже ломило все тело. Хорошо. Очень хорошо.

— Оливер,— торопливо проговорил мой отец.— Я хочу помочь.

— Дженни умерла,— ответил я.

— Прости,— почти беззвучно прошептал отец.

Не знаю почему, но я вдруг повторил то, что однажды, давным-давно, услышал из уст замечательной девушки, теперь уже мертвой.

— Любовь — это когда не нужно говорить «прости».

А потом я сделал то, чего никогда не делал в присутствии отца, и уж тем более в его объятиях. Я заплакал.

1970 г.

Перевод с английского
Л. АЛЕКСЕЕВОЙ и Ю. ПОЛЯКОВА

Леонид БОРОДИН

РАССТАВАНИЕ

Роман



Рисунки Ивана Бронникова
Фото Юрия Садовникова

Отец Василий! Отец Василий! Божественный ты человек! Зачем пьешь со мной? И пьянеешь. И руками размахиваешь...

Я тебе нравлюсь? И — зря. Мне ли себя не знать. Да приглядишься же! Я говорун, краснобай, на моей физиономии чего только не прочтешь.

Зря ты пьешь со мной, отец Василий. Чем-то ты для меня уже не тот, что был неделю назад, там, в сельском храме. Там был ты велик, и свят, и недосягаем в своем спокойствии, и голос твой был глухо торжественен, а я рядом с тобой чувствовал себя плебеем, ничтожеством. Это ощущение пришло ко мне извне и не было плодом интеллигентской сопливости, оно пришло и потрясло меня, всю жизнь самолюбивого, всю жизнь уязвимого всякой мелочью... И вдруг я — червь, и это не больно, а радостно и, провалиться мне за этим столом, перспективно! Ведь что значит — «всю жизнь»? Это, в сущности, одно и то же — борьба за свое место, сначала за одно, потом за другое, получше, потом за третье, а дальше уже бессмыслица, повтор, и не спираль, как кажется поначалу, а круг на плоскости без подъема.

А тут что случилось? Это когда я к тебе на службу попал... Будто выбросили меня в детство, и можно все начать сначала, от малого к большому, снова расти и радоваться росту... Это пережито и вспоминается как подарок. Твой подарок.

В детстве, помню, таинственный Дед Мороз пришел, вручил подарок, слова произнес радостные, а потом снял бороду и усы и высморкался. На ту лошадь, что он подарил, я, кажется, и не сел ни разу, так и простояла в углу года два, потом куда-то девалась...

Зря ты пьешь со мной, отец Василий. И о политике говоришь банально, как наши службисты в курилках. Что тебе политика, если приставлен ты к вечному? Да если б я такую веру имел, не смешна ли была бы мне тогда суeta людская? Ведь должны тебе люди казаться ползающими по земле мордами в землю; солнце им в затылок, а они свои тени выщупывают и объективностью именуют! Как же так, отец Василий? Ведь если вера твоя истинна, тогда жизнь без веры — это же слепота какая, юмор уродов, гордящихся уродством. Так ты это должен понимать!

Нет, если б я верил, как ты, я бы был от досады за людскую глупость. Я б им морды их самодовольные к небу повыворачивал, я бы возненавидел людей за ничтожество их страстей, за никчемность их мыслей, за безделицу их дел! А ты — спокоен. Ты пьешь со мной водку, и я тебе нравлюсь, я, дерьмо из дерьма. Да я за жизнь свою ни одного доброго дела не сделал, какое бы мне совсем без выгоды было. Не понимаю тебя, отец Василий! Там, в храме, кажется, понимал. Там ты был больше меня, а теперь, за столом, все уменьшаешься и уменьшаешься, чего доброго, проскочишь мой червячий уровень, и тогда как я буду смотреть тебе в глаза?

А самое главное: почему я тебе нравлюсь — настолько, что дочь свою единственную отдаешь мне и будто не замечаешь моей помятости, потасканности... Я бы к своей дочери такого, как я, близко не подпустил. Почему ты — отдаешь? Спросить?

— А почему вы дочь свою так легко отдаете мне, отец Василий? Ведь не подхожу я ей ни по каким статьям?

Нагло спросил. Хамски. Отец Василий прерывается на полуслове — что-то про Африку молот. Смотрит на меня и хоть бы прищурился умно или взглядом таким пронзил, чтоб мне стыдно стало за пьяное хамство. Нет, только моргает.

— Я и не отдаю тебе. Я дарю тебе ее. Она твое

будущее счастье, вот я тебе его и дарю.— Улыбается, шевеля бородой.— Так же мог бы и солнце тебе подарить или море наше священное с берегами.

— Неужто лучше меня не встречали?

— Других встречал,— уклоняется он,— других, а лучше, хуже — Бог ведает.

— Дарите, значит. А в приданое что даете?

— Чего хочешь-то? — опять улыбается.

— Веру бы мне... — отвечаю не без ехидства.

Качает головой.

— Этого подарить не могу. Не дарится.

Чем-то меня оскорбляет его доверие.

— Дочь твоя верующая, а я кто?

— Бога чувствуешь, но не понимаешь. Душа есть — значит, поймешь.

Меня тянет на ссору, хочется выбить его из этого добродушия.

— А знаешь ли, сколько грехов на моей совести?

Уже я на «ты» перешел. Понесся, как по наклонной. А он — так же улыбается и бородой шевелит.

— Да чего там грехи твои, страсти больше. Нет у тебя никаких таких грехов, чтобы пугаться. Не пугай потому.

Я воспринимаю это как обиду. Что ж я — впустую прожил свои тридцать лет, что и грехов за душой не имею? Ведь только грехами и отличаемся друг от друга, иерархию ведем по степени грехопадения и мерзости. А ведь грехи — это тоже что-то, за ними жизнь, острота, в них изюминка атеиста! И если он мне в грехах отказывает, за кого же он меня принимает, за тварь мычащую? Ну я ему сейчас врежу, он у меня заморгает! Но что кинуть ему в бороду, какой грех, чтоб заикаться начал? Господи, а ведь он прав! Нечего кинуть. Все мелочишки какие-то, ни одного звонкого греха за душой! Вот как раздел меня, как развенчал поп Василий, тесть мой будущий. Ничего за душой — ни хорошего, ни плохого. Для чего тогда прожил я свои тридцать лет? Но жил ведь, какие-то страсти были, нервы истрепаны, а на что? Ничего не вспомнить из своей жизни, как будто не было ее вовсе, где-то я отсиделся в тени да прохладе. Господи, как жалко свою жизнь!

— В город часто езжу,— опять он какую-то ахиною замолот,— дорога длинная да прескучная, все на ногах, а уж толкотня да брань... А ездить каждую неделю надо, питаться-то чем?.. И вот забаву себе придумал младенческую. Как ни тесно в автобусе, как ни кидает на поворотах да ухабах, а стараюсь проехать, чтобы никого не толкнуть. И что оказывается? Заметь — меня тоже не толкают. Иногда два часа, и никто не толкнет. Закон, оказывается, такой: свое плечо упредил в толчке — чужое тоже упредил. Локоть прибрал к ребрам — чужой локоть мимо скользнул. А?

Я молчу. Эту философию я на дух не принимаю.

— Вот к чему байка,— улыбается он,— хочешь грехами похвастаться? А зачем, если живешь бережливо, пихаться не стремишься, и тебя пихают не шибко, ведь это уже — добро. А что до Анастасьи, так она тоже понимает, чего хочет. Как же я могу против ее хотения идти, когда знаю — настоящая она у меня...

Ага! Кое-что соображаю, наконец. Значит, и она, и папаша ее во мне оттого души не чают, что я размазня безгрешная, удобно им со мной, безопасно...

— Анастасья! — кричу громко. Никогда раньше ее так не называл. Она появляется на пороге, и меня захлестывает тоска. Что в ее лице парализует меня каждый раз? Нездешняя она какая-то. Может быть, у меня и не любовь к ней вовсе, а действует на меня эта нездешность?

— Анастасья,— говорю с хрипотцой,— за что любишь меня?

— За то, что ты меня любишь,— отвечает.

И эта все про меня знает лучше меня самого.

— А если бы я тебя не любил? Тогда как было бы?

— Никак.

— А просто влюбиться — мы на это не способны?

— Не знаю, не приходилось.

Стоит у двери, чуть оперлась, руки сцепила замочком. Лицо спокойно, вроде бы никакого выражения, но — счастлива, я это чувствую. И отец Василий тоже это чувствует и смотрит на меня влюбленными глазами.

Нет, мне все это не нравится. Меня обезличивают.

— Ты, пооди, думаешь,— говорю ей многозначительно,— что я тебя никогда не обижу?

— Обидишь.

— Откуда знаешь? А может, нет?

Она подходит ко мне, кладет руки на плечи сзади, я чувствую ее дыхание и губы где-то совсем рядом. У отца Василия глаза на мокром месте. Блаженное семейство! И это я их обоих осчастливил своим появлением в этих местах? Нет, я себя знаю. Я никого не могу осчастливить. И ничего не имею дать. При мне только моя вечная суета и трепыхание. Я носитель путаницы и непостоянства. Разрушить могу многое, а что создать?

А они счастливы, и это обман, а мне никак не убедить их в этом, ни старого, ни молодую, такую странную и мне позарез необходимую...

Женщины или ласкают, или ласкаются. Она — ни то, ни другое. Ее руки на моих плечах, и я не могу понять, что они дают мне, ее руки. Но дают, это точно. И, уже познав это новое, что может дать женщина, мне иначе не прожить. Я хочу схватить ее руки и держать, чтобы они, чего доброго, не исчезли... Но что в них? Спокойствие? Нет, не только.

У меня уже все было с ней. Но откуда уверенность, что главное впереди, что я еще не открыл в ней чего-то, что должен непременно открыть и сделать своим? Не загадка она для меня, совсем не это. В ней для меня что-то постоянное, всегда необходимое, всегда желаемое. Это волнует и пугает. Я побаиваюсь ее, поповскую дочку, и страх мой — бальзам душе...

У нее такие спокойные глаза, синевы их не бросая, в них ни озорства, ни лукавства... Какой-то философ говорил, что посредством глаз душа не только видит, но и сама видима в них... Я не знаю, что такое душа, и никто не знает, но что-то я вижу в ее глазах, и увиденное вызывает во мне ответные чувства, радостные и волнующие, и если именно в этом душа, то мне повезло. Я хочу жениться на этой женщине. Связать с ней свою жизнь. Добровольно. В это трудно поверить, тем более что не о своей жизни думаю, а ее жизнь хочу накрепко привязать к себе. Я не уступаю традиции брака, я использую традицию в своих корыстных интересах, я хочу иметь эту женщину у себя за плечом на всю жизнь!

И в то же время что-то во мне противится всему, что я делаю, а я хочу надеяться, что тут всего лишь пустая гордость, ведь я так привык носить со своими чувствами, не могу не считаться ни с одним из них. Потому что каждое есть свидетельство сложности моей природы, а для интеллигента что может быть важнее? Уберите сложность — и нет интеллигента, есть только служащий такого-то учреждения.

Она чуть лохматит мне прическу, и этот банальный жест доставляет мне хмельное удовольствие, я превращаюсь в кисель...

Нет, пока она рядом, серьезно ни о чем не поговоришь, а мне очень хочется поговорить серьезно, о чем — представляю весьма смутно.

— Пооди, Тося,— говорю с сорванным дыханием.— Пооди, поговорить надо.

Ее руки соскальзывают с моих плеч, и я всем телом ощущаю, как они удаляются. По глазам отца Василия догадываюсь, что она, уходя, делает знаки ему за моей спиной не давать мне больше пить, и, как мальчишка, тут же хватаюсь за бутылку и наливаю обоям. Но пить мне больше не хочется, умный поп это видит и не притрагивается к рюмке, как бы не замечает моего щенячьего упрямства. Я собираюсь снова испытывать его доброту, но он опережает меня:

— Понимаешь ли, в какой грех вовлек ты жену будущую?

Я ошарашенно моргаю, глядя на его чуть улыбающееся лицо, потом отвожу глаза и чувствую, что краснею.

— Не понимаешь. А она-то ведь понимает. Грехом испытал ты ее любовь. Поможешь ли грех искупить?

Я молчу, а поп не торопит, не ждет моего ответа. Что значит «грех» для поповской дочки — о том я лишь догадываться могу. По какой системе идет отсчет? Если по писаному — «не пожелай», «не укради», «не убий», — я этого не понимаю, для меня люди делятся на хороших и плохих, то есть для меня хороших и для меня плохих, а говорить о грехах хорошего человека, по мне, чистейшее фарисейство. Разве не все этим сказано — «хороший человек»?

Я пытаюсь выкрутиться, поймать отца Василия на слове.

— Ты сказал, что нет у меня грехов. А у нее — есть? Если на то пошло, вместе грешили.

— Да разве ж с тебя такой спрос, как с нее? — отвечает с искренним удивлением.

— Чей спрос? Кто спрашивает? — задираюсь, обрадованный, что уклоняюсь от опасной темы.

— Да сам человек с себя и спрашивает. Один строго спрашивает, другой иначе. Она у меня строгая.

По правде, мне очень хочется сказать, что это в конце концов наши с Тосей заботы, но сказать так я не могу.

— Все будет хорошо, отец, — говорю я почти ласково, а слово «отец» звучит уже в прямом смысле, и нам обоим становится немного неловко; выходит, что я раньше времени в родню набиваюсь. Хотя, чего там, теперь уже не рано, скорее поздно...

— Венчай нас, отец Василий! — говорю выдыхом. Он качает головой.

— Разве ты один в мире живешь? Родители у тебя есть...

— Какие родители! Я сам уже давно мог бы быть родителем, да и нет им до меня дела.

Опять качает головой.

— Спешись. Езжай-ка к себе, в Москву-матушку. Издалека взгляни на все это дело. Проверься.

— Чепуха!

— Тебе — чепуха. Тебе венчание — процедура, а ей, Анастасье-то?

И вдруг я понимаю, что мне действительно придется ехать в Москву. Не могу же я жениться с одним рюкзаком. И о жилье нужно подумать. И еще, Господи, сколько предстоит суетиться! Но даже не это главное. Мне придется Тосю оставить здесь, а этого я никак не могу себе представить.

— Тося! — кричу.

И она снова в комнате. Немного сонная. Видимо, задремала там. Я вскидываюсь со стула, хватаю ее в объятия и зацеловываю ее лицо. Она для меня сейчас до боли красива. Она отвечает чуть-чуть, но я знаю, что скрывается за ее «чуть-чуть», и трепещу, и говорю хрипло и пьяно:

— Тося, я ведь должен уехать! — И спешу оправдаться. — Ненадолго.

— Конечно, — отвечает она спокойно, и я взрываюсь.

— Тебя это никак не волнует?

— Нет, — говорит она и щурится на люстру, под которой мягко хихикает отец Василий.

— Но, черт возьми... у меня, может быть, в Москве есть женщина, и я могу ее встретить.

— Ты должен ее встретить и объяснить все, — говорит она тихо и щекочет мне лицо своей прядью у лба.

Мне действительно нужно кое с кем объясниться в Москве, но Тося, самонадеянная женщина, вся светится уверенностью, словно исползала чердаки моей захламленной души. Я тащу ее за руку к отцу Василию.

— Объясни ей, что нельзя быть такой самонадеянной!

Он пожимает плечами, поглаживает бородку и хихикает счастливо. Я обнимаю его и звонко чмокаю в щеку.

— Блаженные вы оба! — ору ему в ухо. — Оба блаженные! Мне хорошо с вами! Но всегда ли так будет?

— Всегда не бывает, — отвечает он. — Но часто может быть.

Я бегу в Тосину комнату, приношу свой магнитофон, врубаю его на всю мощность, кручу поповскую дочку за руки, отталкиваю, сам впадаю в конвульсии, что в нашем веке именуется танцами. Она чувствует ритм, но движется лишь чуть покачиваясь в такт, поводя плечами едва заметно, а руки держа у подбородка... и все та же у нее сонная счастливая улыбка.

— А что, отец, — стараюсь я перекричать магнитофон, — в средние века нас всех троих сожгли бы на костре! И за музыку эту, и за танцы, да за одно присутствие при этом. А?

Тося поводит бровями — дескать, при чем тут она? Но я знаю цену ее полудвижениям, в них-то и есть настоящий сатанизм, за них-то и продашь душу дьяволу!

— А тебя на медленном огне! — кричу ей. — На самых сырых дровах!

Я смотрю на ее маленькие ноги в мягких домашних тапочках, отороченных дешевым мехом, и ужасаюсь, что бывало такое, сжигали... Вижу эти домашние тапочки и языки пламени, подбирающиеся к ступням. Вот они лижут ступни, голени, колени... Господи! Озноб останавливает меня, я замираю посередине комнаты как истукан. Она тоже замирает и с легким беспокойством смотрит на свои ноги. С ними все в порядке. Она подходит ко мне, прикасается и усмиряет мое разгулявшееся воображение. Я сажусь на стул против отца Василия, а она — на колени мне.

— Если бы человечество можно было воспринимать как нечто исторически единое, то это единое было бы достойно презрения, — выдаю я отцу Василию не без вызова.

Он вызова не принимает. Он просто не принимает меня всерьез. И вообще в разговоре с ним мое отточенное резонерство не работает. Поп лишь улыбается в усы: забава, дескать!

Я образованнее его, он не имеет и сотой доли моих знаний о мире, он и Достоевского не читал, а на равных — не получается. Он в какой-то глубокой конспирации от людей или в самом деле блаженный. А блаженность — она вне категорий ума, моего, во всяком случае.

Магнитофон продолжает орать, я морщусь в его сторону, Тося соскакивает с моих коленей, выключает.

— Время уже много... — намекает она.

У отца Василия покраснели глаза. Встает он рано, я едва успеваю в окно сигануть да на чердак забраться...

Теперь все это выглядит глупо и пошло. Он знает о наших встречах. А как быть сегодня? Ведь я должен к ней прийти... и меня коробит мерзость ситуации, в мир блаженных я сумел привнести нечистоту отношений и поступков. И в этом есть что-то непонятное для меня.

В том мире, где я подвизался до сих пор, я был не просто своим, я неплохо котирировался... Но те женщины меня любили не слишком. Мои влюбленности бывали скоротечны, еще скоротечнее оказывались чувства женщин, которые обращали на меня внимание. Я, как правило, очень скоро начинал их не устраивать, они обнаруживали у меня массу недостатков, главным из которых, как я теперь понимаю, была моя внутренняя неустроенность, мое небрежное отношение к будущему. Все это, впрочем, могло бы быть притягательным в глазах женщин определенного сорта, но беда в том, что такие женщины почему-то не устраивали меня.

И вот здесь, в райском гнездышке, я, расхлябанный, пропущенный до самой дальней клетки серого вещества, вдруг впервые узнал, как может любить женщина такого, как я, и как я сам могу влюбиться ответно...

Нет, завтра нужно уехать, расстоянием и временем очистить ситуацию и войти в нее по возможности другим человеком. Короче, я завтра начинаю новую жизнь. Я ее уже столько раз начинал — и с понедельников, и с первых дней нового месяца, и с Нового года, — что не очень-то верю в свою новую жизнь, но попробовать я обязан!

— Я приду... — шепчу на ухо Тосе, провожая до дверей ее комнаты. В ее молчании согласие. В пожатии ее руки и радость, и робость, и еще что-то, о чем я мог бы догадаться, но не очень хочу догадываться. Она понимает это как грех. А мне эти тонкости недоступны, непонятны, и я могу себе позволить не ломать над ними голову.

Я возвращаюсь к столу. Отец Василий совсем спекся. Я прощаюсь с ним, выхожу на улицу, но на чердак лезть не хочется, и я выхожу за калитку. Ночь светлая, луна с ореолом висит над озером, и оттуда слышится слабый плеск. Я иду к берегу посидеть немного на перевернутой лодке, но вижу, что место занято, кто-то уже там сидит. После некоторых колебаний я все же подхожу. Человек, кажется, не замечает меня или делает вид, что не замечает. Я пристраиваюсь на другом конце лодки и почти в то же мгновение слышу:

— Вы не верите в Бога и потому не знаете, что загубить душу человеческую такое же преступление, как загубить тело. И даже хуже!

Я узнаю этого человека. Это молодой дьяк из церкви отца Василия. Я запомнил его. У него удивительный голос. Из него вышел бы оперный певец, в худшем случае популярный эстрадник. Аккуратная борода, усы, волосы до плеч, прямые и густые. Он красив и тоже, наверное, не от мира сего.

Итак, мы имеем треугольник. Я соображаю быстро, как робот. Мне нравится, как быстро я соображаю. Отсюда, с лодки, дом отца Василия — театральная декорация. И Тосино окошко, в которое я лазил эти ночи, — вот оно, в лунном блеске!.. Моя поповская Афродита купалась в этом бледно-желтом мареве, я специально оставлял на окне часы и посылал ее за ними, и она торопливо ныряла в лунный поток, а я замирал в углу... А несчастный дьяк сидел в это время на рассохшейся лодке и страдал...

— Значит, видел?

— Видел, — отвечает он, не пошевелившись.

— И отцу Василию сказал?

— Сказал.

— А он что?

— Просил молиться за вас.

— Что значит... «за вас»? За меня или за нас обоих?

— За обоих. — Он опускает голову.

— За меня, наверное, не очень-то получалось?

Он вздыхает, кивает головой.

— Трудно было.

Я сажусь с ним рядом. Что ему сказать? Нормальные люди дали бы друг другу по физиономии. Этот же — молился за меня. Трудно, видите ли, было, но молился. Интересно, как глубоко запрятал он в себе все, что человеку не чуждо? Вот если его за бороду дернуть или за усы потаскать, проснется в нем человеческое, даст он мне по морде? Какая же у него в жизни сложная и трудная игра! Мальчишка, в сущности, и вошел в роль... Разве это нормально, когда у мужчины уводят женщину, а он молится за похитителя? Это нравственное извращение, шизофрения. Но до чего же удобная для прочих людей болезнь. Для меня, например.

— Понимаешь, — говорю я ему, — по всем законам справедливости, конечно же, дочь попа должна стать женой дьячка. Так?

— Теперь мне рукополагаться на celibате, — говорит он тихо. — А я, понимаете, не готов к этому...

— Но ведь не одна же на свете...

Он прерывает меня торопливо:

— Для меня одна.

— И для меня тоже, — отвечаю. — Как же нам быть?

Он молчит, и я знаю, что сказал бы он, если бы был от мира сего. Он сказал бы, что в моем мире полно красивых женщин, которым я подхожу и которые подходят мне. А для него в его мире одна Тося, воспитанная стать женой священника; в моем мире она будет белой вороной или я перекрашу ее, а это и называется — «загубить душу». Я просто хам, ворвавшийся в чужой мир. Чтобы получить свое, я использовал приемы, недопустимые в этом мире блаженных, я совратил чистую душу, запалил ее огнем страсти; это ведь нетрудно — взять и подпалить сердце провинциальной девушки, толкнуть его в ритм другого сердца, другой жизни, заманить, завлечь и крепко держать в руках пойманную удачу!

Я хам, я само зло, моими руками действует Антихрист, я персонифицированная нечисть человеческая!

Все это было бы именно так, если бы не было чистой неправдой.

Я с трудом подыскиваю слова, мне сложно говорить с влюбленным дьячком, слишком различны наши языки, но я пытаюсь говорить на своеобразном эсперанто:

— Слушай, ты чист, как голубь, и прям, как оглобля. Главное ты в мире понимаешь, об остальном догадываешься. Ты счастлив уже тем, что веришь в истину, для полного счастья тебе не хватает только именно этой женщины. А я? Что такое я? Я грязен и искривлен, как засушенный червь! Я не знаю истины и не верю в нее, у меня нет ни спокойствия, ни благополучия. У меня нет никаких шансов на спасение, кроме одного, — кроме нее. Кому же она нужнее? По твоей вере ты можешь подставить щеку для удара и быть счастливым от сознания своего смирения. Я же от пощечины могу повеситься. Кому же из нас легче отступиться? А если говорить о ней... Я искушаю ее другой жизнью. Да! Но с тобой она никогда не познает искушения и не проверит себя. И ведь, может быть, это как раз то, что суждено ей сделать главного в жизни — спасти меня...

Дьяк смотрит мне в лицо и пытается что-то рассмотреть во мне, наивный! И при солнечном свете не рассмотреть человека, где уж при лунном.

— Не понимаю,— качает он головой,— говорите ли вы серьезно или смеетесь. Если смеетесь, то это нехорошо.

— Я не смеюсь.

— Вы образованней и умней меня. Вы научились наряжать свой ум в любые одежды, то есть я хочу сказать, что вы все можете понять и передразнить... Я раньше тоже так умел... Но потом остается одна пустота...

Эге, соображаю, дьяк не так прост, как кажется. Уж не из бывших ли интеллигентов? Я глубоко убежден, что интеллигент никем не может быть, кроме как интеллигентом. Он просто ни на что другое не способен. Рано или поздно интеллигентность, как ржавчина, сожрет его веру или иную маску... Под мужика, например, весьма любят рядиться интеллигенты... Но — пустое! Рефлексия — безжалостная штука, она допускает только один культ — самой себя. Вообще интеллигент в современном варианте — это на редкость хитрое и, в сущности, жалкое существо. Легко ли в нашем жестком мире, который до последнего винтика подогнан под социальную конъюнктуру, сохранить позу независимой, да еще и мыслящей, личности? Современному интеллигенту приходится и голову держать гордо, и хвостом вилять шустро, а корпусом примирять между собой гордость и ловчение. Не всякому такое под силу, и тогда кто-то уходит в игру, в религиозность, к примеру. Я таких встречал. Я их терпеть не могу!

Но таков ли дьяк? Все же едва ли.

Мы оба молчим. Мне нужно бы еще что-то сказать весомое и умное, но беда в том, что я ни вины за собой не чувствую, ни жалости к дьяку. Я слишком счастлив, чтобы кого-нибудь жалеть или в чем-либо раскаиваться.

— Прости,— говорю ему,— но ничем тебе помочь не могу.

— Неужели вы совсем к вере глухи?

Ишь ты, чего хочешь! Я и сам с собой на эту тему не говорю, а уж с первым встречным дьяком и подавно не собираюсь.

— Не будем об этом,— говорю решительно, и дьяк поспешно извиняется.

— Холодноовато... да комары... Пойду, однако...

— Разойдемся,— соглашаюсь.

— До свидания. Храни вас Бог!

— Всего доброго!

Он уходит какой-то своеобразной походкой, чуть согбенный и в то же время прямой, без вихляния, ручками не машет и колени будто не сгибает.

Что-то все же накапал мне в душу будущий поп, пасмурно на душе, неуверенность какая-то, и я долго сижу спиной к дому отца Василия, спиной к окну, за которым ждуют меня Тосины руки. Я не спешу, я оттягиваю тот поворот головы, когда уже ничего не смогу видеть, кроме этого окна. Какую досаду заронил в меня дьяк-праведник? Ведь ни о чем не жалею... Или очень стараюсь не жалеть? А может, не следовало бы мне оставаться самим собой, а стоило бы присмотреться к миру, куда попал волей случая, да соблазна его законы, чтобы все получилось чисто?

И сам не заметил, как стою уже у окна, раскрываю его, влезаю на завалинку. Ждал руки, встретил — губы. И я шепчу прямо в ухо:

— Там дьяк сидит. На лодке. Каждую ночь сидит. Ты давала ему надежду, да?

— Нет, не надежду,— отвечает она тоже шепотом,— я обещала стать его женой.

Я отшатываюсь и чуть не соскальзываю с завалинки, руками цепляюсь за подоконник.

— Даже так?

— Он очень хороший,— говорит она, но не оправдывается.— На будущий год должны были венчаться.

— Слушай, Тося,— шепчу я громко, даже с хрипотцой, грудь передавлена подоконником.— Не пожалеешь ли ты? Сможешь ли жить в моей жизни? Я ведь совсем другой человек, я своей жизни на день вперед не вижу!

— А меня — видишь?

Ее руки у меня на шее. Но нет, я трезв, я жажду высказаться и хочу, чтобы она разубедила меня в моих сомнениях, я хочу отпущения грехов, я даже не против, если эти грехи она возьмет на себя. Что поделаешь, я привык к рефлексии, меня хлебом не корми — дай разложить себя на составные.

— Прости меня, Тося! — шепчу я искренне и страстно.— Я должен был вести себя по-другому. Нельзя было всего этого! — Я стучу кулаком по подоконнику.— Прости!

Конечно же, она простит. Я в этом не сомневаюсь.

И вот она уже обнимает меня и целует и убеждает, что все было правильно, она сама хотела всего, что случилось, она лучше меня знает, какой я на самом деле. Ну и слава Богу! Я успокаиваюсь. Ее руки чуть-чуть, совсем слабым движением, зовут меня в комнату. Сейчас я перемахну через подоконник...

— Тося,— говорю я совсем спокойно,— я завтра уеду и не приеду долго, пока все не подготовлю, пока не закончу все свои дела. Я тебя люблю... Потом будет все... Да? С тобой у меня все будет иначе! Так ведь? Не случайно же мы встретились...

— Конечно! Конечно! — шепчет она.— Так тебе судил Господь. И мне.

— Я даю тебе слово, я попробую понять то, чего не понимаю. Не из другой же я материи создан!

Я сажусь на подоконник, сжимаю ее крепко, до стона, целую лицо, разжимаю руки, спрыгиваю на землю, бегу, взлетаю на чердак по приставной лестнице, падаю на постель и плачу без звука. Потом, завтра или позже, я все это отрефлектирую и разложу на составные, но сейчас у меня редкий счастливый миг искренности, я так рад ему, я верю, что миг этот может быть продлен, что он может быть вечен.

I

Мой отец для меня хороший человек, потому я и живу с ним, а не с матерью. Мне удобно с ним, и этим он для меня хорош.

Он — человек удивительного здоровья, у него много нервов струны от контрабаса. Чем больше я присматриваюсь к отцу, тем больше поражаюсь его уникальности. Весь мир, всех окружающих, все свои дела, личные и служебные, он воспринимает так, как будто в целом свете он — единственная реальность, все же прочее — кинематограф.

Я не встречал второго такого человека, который мог бы так пожимать плечами. В этом неповторимом жесте больше философии, чем в рассуждениях любого из стойков. Это его пожатие плечами я долго учился копировать, но где там!..

Под конец совместной жизни мать от этого жеста впадала в истерику — получала в ответ такой же точно жест, но теперь уже по поводу ее истерики.

Небывалое равнодушие ко всему миру и к человечеству позволяло отцу довольно часто высказывать весьма трезвые и резонные мысли, которые служили для меня пищей для размышления. И где-то к двадцати годам мать начала присматриваться ко мне с откровенной отчужденностью и даже враждебностью. Люська, младшая сестра, материн адъютант и единомышленник, та, щурясь презрительно, выносила мне приговор: «Папин сыночек! Такой же толстокожий!» Мать неуверенно защищала, а я не обижался. В материнском равнодушии я тоже не видел истины, про себя же знал — кожа моя тонка и чув-



ствительна, и если я не буду повышать свой болевой порог чувствительности, трудно будет в этом мире, где каждый норовит наступить тебе на ногу, поддеть локтем, уколоть языком.

В эпоху потепления мать с Люськой отчаянно задиссидентствовали. Их однокомнатная квартира на Новослободской гудела голосами и шуршала самиздатом. Что говорить, это было веселое время! Пахло озоном, а как дышалось! Тарахтели машинки, множа и множа вырвавшееся из бездны молчания человеческое слово. И я закрутился в потоке разномыслия. Отцовская квартира превратилась в перевалочную базу торопливо настуканных машинописных листов. Отец прочитывал все, что я приносил, говорил: «Любопытно» или «Интересно», — а иногда коротко: «Чушь» и, как мне казалось, через минуту забывал о прочитанном. Ничто не могло поколебать его спокойствия. Он даже не высказывал беспокойства, что могут быть неприятности. Мать с Люськой — другое дело. Они носились по Москве, как одержимые, с кем-то знакомились, куда-то кого-то возили, вечерами ахали над страницами самиздата с именами диссидентствующих физиков и лириков. При всем том Люська продолжала исправно учиться на факультете журналистики, мать трудилась в институте общественных наук, отец преподавал марксизм-ленинизм в одном из

технических вузов. Я сам заканчивал историко-архивный и присматривал уже себе тепленькое местечко в солидном музее. Чудное и непонятное было время!

Все прошло. Власть опомнилась. Диссидентство замкнулось на кругах своих. Активисты исчезли — кто на Западе, кто на Востоке. В материнной квартире из всего иконостаса вольнодумцев остались лишь фотографии Ахматовой да Пастернака. Книжные полки отца добросовестно сверкали корешками классиков. Сейчас Люська, единственная пострадавшая, перебивается случайными заработками, халтурой. С матерью ее отношения несколько запрохладились, но живут дружно. По-моему, их объединяет презрение к отцу и ко мне, хотя наши отношения с матерью сложнее. Мы любим друг друга и все же глубоко чужды. Но мать есть мать. Я скучаю по ней, хотя и дня не вытерпел бы совместного житья. Мать агрессивна. И мне удобнее с отцом. Отец щедр. Люська и мать принципиально отказываются от его помощи. Я не отказываюсь и тем доставляю ему даже удовольствие. Много я у него не беру, но чаще всего как раз немного и нужно позарез.

Так было до этой последней командировки. Я возвращаюсь в Москву новым человеком.

Сегодня мне нравится Москва. Меня не раздражает теснота в метро, я улыбаюсь красивым женщинам

и некрасивым тоже. Я, наверное, похож на идиота, но в конце концов я не виноват, если улыбка не сползает у меня с рож.

Два месяца я не был в Москве, но, если руку на сердце, соскучился ли я? Едва ли. Хотя мы очень странные люди — горожане. Когда мы хотим одиночества, мы выходим из своих перенаселенных квартир и ныряем в толпу, и умудряемся никого не видеть, ничего не слышать, мыслить под визг тормозов, мы умеем оставаться один на один со своим «я», работая локтями, выскальзывая из-под машин, ослепляясь рекламами, — мы ненормальны всем своим образом жизни. Но если эту жизнь принимаешь, значит, она — норма.

Когда возвращаешься в Москву, только тогда видишь, как по-разному воспринимаем столицу мы, коренные москвичи, и провинциалы. Мы не чувствуем в Москве столицу страны или государства, Москва в нашем восприятии — политический центр. Центр чего — сказать трудно. Но в Москве даже случайный чих есть событие политическое, здесь просто не бывает неополитических событий. Эту политику мы чувствуем нюхом и обособляемся от нее в своих мирках, которые создаем, рушим и воссоздаем заново, и Москва для кондового москвича — это несколько квартир, где разнудан треп, чревоугодие и бахусовы процедуры — как бы микропротивостояние всеобщей вовлеченности в политику, там мы раскрепощаемся, там мы ехидничаем, иронизируем, импровизируем, пошлим, выворачиваем себя наизнанку и, собственно, только эти часы именуем жизнью, которую отделяем от службы.

Есть еще коридоры нашей жизни, личной жизни, они проходят где-то под землей — это телефонные провода. Телефоны — это наше недосыгаемое, неотъемлемое, это наша свобода. Телефон, если он где-то в прихожей или на подоконнике, или на этажерке — это не телефон, и в такой квартире живут не москвичи. У москвича аппарат около тахты или кушетки на маленьком столике, чтобы не тянуться далеко, не утруждаться неестественной позой, москвич «телефонист» в самой удобной позе, а таковой может быть только одна: это упасть на кушетку (диван, тахту), в зубах сигарета, на столике черный кофе без молока, без сахара, вот так, полулежа, свободной рукой снимается трубка, не торопясь набирается номер, голос ленив, спешить некуда, на том конце тоже не торопятся, идет треп — совершенно новый вид искусства, порождение второй половины двадцатого века.

Каждый уверен или по крайней мере надеется, что телефон его прослушивается, иначе вы — не личность! Но каждый надеется или даже уверен, что органы понимают: он человек не опасный, ну, немного иронии, немного вольности, но, слава Богу, есть настоящие диссиденты, от которых органы могут отличить просто интеллектуальных людей, коим необходима доза вольности для повышения производительности труда; в органах нынче не гробокопатели, не застрельщики сталинских времен, уже не хватают за глотку каждого шипящего, лишь пожурят слегка...

Внешне кондовый москвич немножко левее, чем по сути, а в душе полагает, что если системе можно слегка поругивать, то в такой системе можно жить, то есть считать, что ты живешь сам по себе, что тебе плевать на политику, что ты достаточно свободен, чтобы уважать себя и не уважать кого угодно.

Что до Москвы, то она для москвича — зачастую несколько кварталов, улиц или домов, это какой-нибудь один театр, несколько художников, поэтов, актеров и просто исключительных личностей, за которыми закрепляется понятие Москвы, не Москвы — столицы, но Москвы — микромира высшей катего-

рии, за пределами которого суета политиков и лупоглазие провинциалов.

«Ах, Арбат, мой Арбат!» Провинциал не поймет этих слов, в которых речь идет не о районе Москвы, где, положим, вырос, а о микромире-фантоме, что сотворен незамысловатой песенкой в противовес лозунгам, портретам и небоскрегам. И не важно, что завтра он выйдет с флажком «по среднесдельному» на ненавистный Калининский проспект встречать представителей враждебно-дружественной державы, не важно, что послезавтра на партсобрании будет докладывать о готовности своего отдела принять повышенные сообразительности в честь предстоящего съезда, это все не важно, потому что дома у него на полке «Мастер и Маргарита», а в прошлом году один диссидент оставил у него на хранение пишущую машинку, а в позапрошлом некоторая часть гонорара за статью ушла, ни больше ни меньше, в фонд помощи... «Ах, Арбат, мой Арбат!»

Ну, а для меня Москва — любовь или ненависть? Привязанность — вот слово, точное и безоценочное. Привязаться можно к чему угодно, — я привязан к Москве. Я схожу с поезда, и с первого шага я связан ритуалом моей московской жизни. На Кропоткинской у выхода из метро я ныряю в телефонную будку и звоню домой. Это правило. Дома никого.

Шелкаю замком и — дома. Заглядываю в отцовскую комнату. Там порядок, как всегда. В холодильнике. Полно. И теперь лишь — к себе.

Комната моя, которую ценил безмерно, изолированная, шестнадцать метров, полная книг, увешанная репродукциями и даже подлинниками, с окном в сквер и на простор за сквером, что-то она сегодня пуста. И я вписываю поповскую дочку в этот интерьер и пытаюсь ее глазами взглянуть на каждую деталь и на самого себя, развалившегося на кушетке у телефона.

Икона прошлого века рядом с фотографией Солженицына — это вполне по-московски, но я беру икону Тосиными руками и смотрю в угол, где репродукция Пикассо. Тонкими, гибкими Тосиными пальчиками я осторожно снимаю Рыцаря Печального Образа и пристраиваю на его место икону. С полки антиквариата, из плотного ряда старинных переплетов вынимаю Библию и держу ее в руках, прижав к груди; ее некуда положить, чтобы она была отдельно от прочих вещей и книг, нужна полочка под иконой, и Тосиными руками я уже не могу ее сделать. Впрочем, я и своими едва ли что-то смогу. На редкость умными руками одного моего приятеля я сооружаю полочку в углу, и Библия на месте. Но не у места оказывается журнальный столик, и я сдвигаю его вплотную к письменному столу, стол оттаскиваю к книжной стенке, снимаю навесные полки и меняю местами; на пол летят картины, репродукции, фотографии, кушетка подперла дверь, телефон у черта на куличках. Я умаян и раздражен. Я выставляю поповскую дочку из комнаты, и все снова на своих местах, и обретается некоторое спокойствие, только некоторое, потому что поповская дочка за дверью, а там ей не место, ее место рядом со мной, и поэтому она снова входит в комнату легкими шагами, обводит комнату взглядом, взгляд ее останавливается на иконе, что рядом с Солженицыным, она протягивает к ней руки... и сейчас все начнется сначала! Я хватаю с рычага телефонную трубку, звоню матери.

— Приехал? — спрашивает она.

— Приезжают из отпуска. Из командировки прибывают. Здравствуй!

— Здравствуй! Здоров?

— Слава Богу!

— Зайдешь?

— Обязательно!
— Что-нибудь случилось?
— Почему?
— Если обязательно зайдешь, значит, случилось.
Мать любит демонстрировать прозорливость.
— Пожалуй, случилось. Женюсь.
— На каком месяце?
— Все не то, мама. Я женюсь не на Ирине.
— Нашел в провинции?
— Нашел.
— Когда зайдешь?
Мать волнуется, я слышу это, и я благодарен ей.
— Она не в Москве. И все будет еще не скоро. Как Люська?

Мать молчит, и я поеживаюсь.
— Что у нее?
— Не то, что ты думаешь... Приходи.
— Вечером. Хорошо?
Мать рада, что я приду сегодня. Что-то с Люской. Но, как я понял, не по диссидентской линии. С Люской обязательно должно что-нибудь случиться. Она живет на нервах.

Я всех держу на расстоянии. Вовремя подпустить холода в отношениях — в этом я вижу высокую мудрость поведения.

Кажется, это даже не мой стиль, а отца. Но если я это делаю сознательно, иногда с насилием над собой, вопреки чувству, то у отца все естественно, самой его натурой предусмотрено.

Вообще отцу я многим обязан. Он был первой моей любовью. Спокойный, серьезный, деловой, уверенный — я боготворил его в детстве! Но именно от него получил первый щелчок по носу. Почувствовав мою неумеренную привязанность, он своей холодной ладонью однажды отстранил меня.

Заерзал ключ в замке, мягко подалась дверь. Пришел отец:

— Гена, ты дома?

Я выхожу ему навстречу с приветственным жестом. Это все, что мы позволяем себе при встречах. Отец, как всегда, причесан, изысканно одет во все серое, этот цвет идет ему. Он красив, в лице холерность, в глазах ум и спокойствие, в движениях сдержанность, в словах точность и предельная экономия.

— Все нормально? — спрашивает он, и это не пустой вопрос, а по существу, потому что не всегда бывает нормально, и тогда я так и отвечаю, и у нас возникает полезный деловой разговор. И сейчас я отвечаю ему по обстановке:

— Нормально. Но поговорить надо.

Он понимающе кивает.

— Уже ел или вместе?..

— Вместе.

— Ставь чай, грей котлеты, я переоденусь.

Я могу, конечно, подражать отцу, но это всегда будет только подражанием.

К примеру, я знаю, какой у нас состоится разговор, — не такой, какого бы мне по-настоящему хотелось. Я включаю плиту, грохочу сковородкой и чайником, звеню посудой, я сижу и жду отца. Ну, вот опять же, разве я когда-нибудь приучу себя, придя домой, так педантично переодеваться, развешивать одежду по шкафам, ставить ботинки в гнезда под вешалкой, хотя бы не стаптывать безобразно домашние тапочки?

Отец появляется в домашнем одеянии, не менее элегантно, заново причесан, на домашних брюках стрелочки. Зачем ему стрелочки на домашних брюках? Но я завидую. Хотя зависть моя бесплодна. Я раскладываю котлеты, наливаю чай. Некоторое время мы молча едим. Потом я спрашиваю:

— У тебя как?

— Без изменений.

И это тоже не отговорка. Значит, у него действительно все без изменений в ту или другую сторону.

— Женюсь, — говорю я.

Он перестает есть, смотрит на меня серьезно.

— Не на Ирине, — упреждаю я его вопрос. — Вообще не на москвичке.

Он смотрит на меня полминуты, и этого достаточно, чтобы он понял ситуацию.

— Тебе нужна квартира.

Есть ли еще у кого-нибудь такой отец?

— Однокомнатный кооператив стоит четыре тысячи. Я могу дать две.

Это значит, он больше действительно дать не может. Но разве я рассчитывал на такое! Только почему мне грустно? Он расстается со мной без сожаления, а мне бы хотелось жить втроем — и с Тосей, и с отцом, и вчетвером мне тоже хотелось бы жить — с отцом Василием. Хорошо бы и впятером — с матерью и даже с Люской, если ее комната от моей подальше. Мне хотелось бы жить большой семьей, кланом. Ведь ужились бы! Тося — с кем она не уживется?

Все эти мысли одного мгновения. Но отец куда дальновидней меня. Дети! Я их хочу. Тося, конечно, тоже. Отцу же никто не нужен. Даже я.

— Кто она? — спрашивает отец.

Отцу врать нельзя. Говорю, как есть:

— Поповская дочка.

Отец удивлен.

— Своёобразно, — отвечает. — И, наверное, хорошо. А могла быть и диссидентка. Во всяком случае, это не банально. Мать знает?

— Звонил. Сегодня поеду к ней. А что с Люской?

Отец не знает, что с Люской. Она умирать будет — не сообщит отцу. Я вижу в этом жестокость, но его это явно не задевает. Наш отец наверняка доживет до ста лет.

— Она, кажется, по-прежнему крутится с диссидентами? — отвечает он вопросом на мой вопрос.

Я пожимаю плечами.

— Кончится тем, что она выйдет замуж за еврея и уедет в Израиль.

Я пытаюсь уловить хоть какой-нибудь оттенок в его голосе, но нет, это спокойное и выверенное предположение. Такое действительно может произойти с Люской. И отец к этому готов.

— Ну, а ты как договоришься со своей женой относительно Бога?

— Постараюсь понять эту идею. — Я пожимаю плечами почти по-отцовски.

— Ваше поколение ищет сложностей. В этом есть резон. — Он не осуждает и не завидует, он констатирует. — Но женой она должна быть хорошей.

И опять он прав. Тося будет хорошей женой. А чем отцу была плоха моя мать? Мне очень хочется спросить его об этом, но он сам отвечает на мой незадачный вопрос:

— Ум женщины не в образовании, а в умении быть женой и матерью, в умении создавать семью, сохранять ее... Кому нужны ее степени и звания?

Эти слова были бы банальны, если бы не предназначались моей матери. В самом деле, кому нужны ее ученые степени, добытые откровенной халтурой. Ученая степень отца — тоже халтура. И она тоже никому не нужна, кроме него самого. Я ему этого не хочу говорить. А, впрочем, почему бы и не сказать?

— Ну, а твой марксизм, папа?

Не первый раз эта тема у нас возникает. Он еще наливает себе чай, я отказываюсь.

— Все зависит от того, как понимать истину. Разве марксизм — это только Маркс и Ленин? Это теория социализма. А социалистическому идеалу столько же лет, сколько человечеству. Какая-то часть челове-

ства жаждала и жаждет социалистического бытия, и разве можно отказать в истине тому, что существует тысячи лет? Существующее разумно. Разумно — следовательно, истинно, то есть оно реальный элемент бытия. Кому-то этот элемент не по вкусу, ну и что? Каждая отдельно высказанная истина марксизма может звучать сомнительно, как, впрочем, и любая другая истина, но в целом марксизм или социализм — реальность, к которой и по сей день стремятся миллионы. И где? Именно там, на Западе, то есть, казалось бы, на противоположном полюсе. Социализм в известном смысле — биологическое влечение человека, против которого бессильны факты и аргументы, и, следовательно, в нем подлинная истина бытия. Национализация, к примеру, хорошо ли это? Но она неизбежна, это то, к чему человечество идет, влекомое инстинктом. Значит, она тоже истина.

— Но ты делаешь карьеру на марксизме в стране, где марксизм себя скомпрометировал.

Брови отца в недоумении подлетают вверх.

Скомпрометировал? Ничуть. Напротив, именно в этой стране социализм победил полностью тем, что переработал душу, не оставив ни единой свободной клетки для альтернативы. Отец улыбается, я знаю эту его улыбку, значит, сейчас он выскажет какую-то большую для меня истину.

— Социализм победил хотя бы уже тем, что выработал безобидную для себя форму оппозиции. Вот ты, к примеру, разве ты опасен социализму? А ведь ты оппозиционер. Ты не опасен, потому что твоя оппозиционность не по существу, а в сущности она глубоко эгоистична.

— Диссидентов ты тоже в счет не ставишь?

— Не ставлю, — отвечает он, — по тем же самым причинам. Их инакомыслие не по существу, а эгоизм их сугубо клановый.

— Ты полагаешь, что в тюрьмы могут идти движимые эгоизмом?

Отец прислушивается к моим интонациям. Если обнаружит, что я захожусь, разговор прекратится.

— Я полагаю другое, — осторожно возражает он, — если народолюбцы были против царизма, они сражались с ним насмерть, то есть обещали смерть своим врагам и готовы были к смерти сами. Диссиденты же из кожи вон лезут, доказывая, что они не антисоветчики, что политикой они не занимаются, они и сами убеждены, что сажать их не за что. Далеко ли ходить за примером — твоя сестра убеждена, что власть должна к каждому ее слову прислушиваться, к слову-то подчас сумбурному, но должна прислушиваться, потому что, видите ли, она, сестричка твоя, этой власти добра желает! И не смешно ли, подумаи сам, — власть, покоящаяся на согласии миллионов, пусть на молчаливом согласии...

Тут он перехватывает мою ухмылку.

— ...знаю, хочешь сказать про штыки. Но штыками подавляют бунт, и нет таких штыков, которые могли бы его предотвратить, если он созрел. Не бунтуют? Так не смешно ли, власть эта должна прислушиваться и видоизменяться каждый раз по требованию взбалмошных девчонок! Хорошо, хорошо пусть не девчонок. Но людей, у которых ни программы, ни даже просто цельного мнения о явлении, с которым они пытаются бороться. Власть — продукт целой эпохи, итог тысячелетнего инстинкта, и десяток интеллигентов, не согласных друг с другом, ей не опасен. Лично я восхищаюсь этой политической системой, она великолепа и грандиозна...

— Лагерями ты тоже восхищаешься? — вставляю я упрямое.

— Не нужно делать из меня монстра, — спокойно говорит отец. — Но как явление, достигшее в своем развитии оптимальной жизнестойкости, социализм не

может не вызывать уважения. Блефы в истории не реализуются, в истории реализуется всегда лишь то, что единственно и необходимо, и всегда по воле и желанию самих людей. Мы получили, что хотели.

— А тебе, лично тебе, нравится то, чему ты служишь?

Знакомое пожатие плечами.

— Мне пятьдесят пять. Хорошо ли это, как думаешь ты, тридцатилетний? Наверное, в этом мало хорошего. Мне грустно. Но в своем возрасте я нахожу известные преимущества. Мой возраст — это такой же непреложный факт, как социализм, которому я служу.

— Ответил, допустим.

Я задаю ему еще только один вопрос.

— Признаешь ли ты моральное право за действиями Люськи и прочих?

Опять пожатие плечами.

— Почему бы нет? А ты, — улыбается отец, — можешь ли утверждать, что у мышки больше морального права выжить, чем у кошки ее съесть?

— Все, что ты говоришь, папа, есть цинизм.

— Нет, — возражает он твердо, — это только реализм мышления. Это реализм без всякой инфантильности. Это серьезно. И если бы Люськины приятели понимали, что имеют дело не с полицейской диктатурой, как они говорят по шаблону прошлого века, а с жестким реализмом бытия, в котором своя правда, правда именно в том, что ОНО есть и существует, если бы они это понимали, они могли быть более серьезными противниками. Но все дело в том, что они совсем не противники, они всего лишь диссиденты, а их существование может быть вполне регламентировано системой.

Отец смотрит на меня своими светлыми марксистскими глазами, и как мне не завидовать его уверенности, я никогда не знал ее за собой, этой надежной прислоненности к чему-то, что прочнее тебя. Я всегда ощущал себя хиленьким деревцом со слабенькими корнями, всегда был занят тем, чтобы занять позу устойчивости, но меня колебало во все стороны, и я изгибался, как мим.

Отец смотрит на меня своими светлыми равнодушными глазами, и я знаю, что у меня такие же глаза, я ведь папин сынок, они у меня только чуть синее, у отца — малость выцвели от пристрастия к марксизму; и вот мы сталкиваемся с ним взглядами, сливаемся своим светлоглазием во что-то единое, родственное хотя бы по плоти, мы смотрим друг на друга, как будто изучаем свое подобие в зеркале, и потом взгляды размыкаются, каждый возвращается в себя, в свой мир, а миры эти чужды, и здесь уже нет родственности, только взаимовыгодная терпимость.

Он уходит в себя, а мне пора подумать о некоторых вещах, требующих немедленных решений. Эти же самые деньги. Нужно доставать еще минимум четыре. Значит, надо срочно искать халтуру. Я перебираю в памяти своих знакомых и останавливаюсь на Евгении Полуэктове, пронирыливом очкарике, уже который год живущем на всякие халтуры литературного характера. Кое-что мне перепало от него, то есть он уступал мне свой заработок, если у него был выбор. На него я вышел через Ирину. Долгое время у меня были подозрения, что Женька уступил мне не только заработок...

Вот еще Ирина. С ней тоже будет непросто...

Еще когда Люська открывала дверь, я понял, что в квартире чужих нет. Но обеспокоило другое — Люськино лицо, и вообще-то узкоскулое и худое, а теперь — кожа да кости. Глаза как в лихорадке. Изпод халата мослы торчат. Губы синие. Растрепана.

Люська открывает дверь и не говорит ни слова. Сует мне под ноги тапочки и уходит на кухню.

— Иди сюда, Гена! — кричит мать из комнаты. И я понимаю, что мать с дочкой только что поругались, и мое появление очень кстати, через меня они помирятся, по отношению ко мне их обязательно что-нибудь объединит.

Мать тоже выглядит неважно, но в форме. Всегда, когда я вижу ее после долгого перерыва, меня посещает одна и та же иллюзия: теперь все будет по-другому, сейчас мы найдем общий язык раз и навсегда, — и чего нам делить? — и я проникаюсь внезапной нежностью к ней. Мне кажется, и она испытывает то же.

— Ты очень хорошо выглядишь, — говорит она.

Она всегда так говорит.

— Ты тоже. — И я всегда это говорю, хотя иной раз и неправду, как сейчас.

— Кофе будешь?

Я соглашаюсь.

— Люся! — кричит мать. — Сделай нам кофейку, пожалуйста!

Это она делает шаг к примирению, которое им обоим нужно позарез. Сестра, не отвечая, громко звенит посудой, что должно означать: она еще сердится, но готова помириться.

— Ты в этот раз был, кажется, где-то очень далеко?

— Очень далеко. В Сибири.

— Это, наверное, интересно... — не очень уверенно говорит мать.

— Для меня интересно.

— Как отец?

И тут появляется Люська с банкой растворимого кофе. Если речь заходит об отце, она не утерпит, ей обязательно нужно присутствовать и участвовать.

— Да, как поживает папочка?

— Ты могла бы сама спросить у него об этом, — отвечаю я Люське, и у нее от злости краснеют щеки и влажнеют глаза.

— Неужели с нашим папочкой никогда ничего не случится? — шипит она, и мать обрывает ее:

— Нельзя же так в конце концов!

Я знаю то, чего не знает мать. Люська ненавидит отца, ненавидит его так же страстно, как любила в детстве, и страдает от своей ненависти. Года три назад она позвонила отцу рано утром и попросила его ждать ее дома. Всю ночь Люська готовила объяснение, в итоге которого они должны были помириться, но, примчавшись на такси, только прокричала: «Папка, я люблю тебя!» и разрыдалась. Отец успокоил ее и выговорил ей за то, что из-за нее опоздал на работу.

— Ну и как, — Люська норовит задеть меня, — наш папа по-прежнему бреется два раза в день?

Я пытаюсь отвечать миролюбиво:

— Шурик твой ни разу не бреется, это же тебя не смущает.

Они обе вдруг затихают.

— Можешь радоваться, — зло говорит Люська, — сейчас он уже бритый.

Я смотрю на мать.

— Посадили месяц назад.

Шурик — фамилию его я, оказывается, и не знаю — многолетняя Люськина любовь. Сначала это была односторонняя любовь: Шурик был женат. В конце концов Люська добила своего, но я не понимал, почему они не женятся. Именно через Шурика мать с Люськой и занялись диссидентством.

Люська поджала губы, глаза полны слез.

— Понимаешь, что получилось... — начинает мать, и Люська взвизгивает:

— Не смей! Он ведь будет только рад!

— Ну почему обязательно рад? — робко возражает мать.

Я пожимаю плечами и по взорвавшемуся Люськиному взгляду понимаю, что мне наконец удалось воспроизвести излюбленный отцовский жест.

— Они ничего не способны понимать! — шипит Люська. «Они» — это мы с отцом. — Они роботы!

— Перестань! — резко говорит мать. — Лучше, если Гена все узнает от других?

Люська дергает плечом и выбегает из комнаты.

— Понимаешь, — говорит мать тихо, — Шурик дает показания. И на Люсю тоже. Это так неожиданно...

Я не нахожу, что сказать. Это так неожиданно...

За несколько лет — первый случай, чтобы такой активный, такой, казалось, убежденный диссидент, и вдруг...

— Люсю вызывали на допрос. Она ничего не говорила, выгораживала Шурика, а ей устроили очную ставку, и он при следователе убеждал Люсю ничего не скрывать, потому что он, как он сказал, там многое понял и осознал и теперь раскаивается...

Да, я знал его, я его слушал и читал его статьи, резкие и аргументированные.

— Что тебе сказать, мама... Может быть, он просто струсил. Я бы, например, наверняка струсил там. Я боюсь тюрьмы... Почему не предположить, что он тоже...

Когда Люська появляется в дверях, я не успеваю заметить.

— Нет, вы послушайте, он с собой сравнивает! — Она уничтожает меня своим горящим взглядом. — Ты!.. Да у тебя когда-нибудь были какие-нибудь убеждения?! Ты во что-нибудь верил?! У тебя вообще бывали какие-нибудь чувства, кроме конформизма?!

Мать спешит вмешаться.

— Люся считает, что его держат на наркотиках. Колют какими-то препаратами... Ведь Бухарин в свое время тоже Бог знает в чем признался, да и другие...

— Может быть, — отвечаю я с сомнением, — но, по-моему... Я, конечно, не борец, как вы... По-моему, бояться тюрьмы — это нормально для любого человека, испугаться тоже может любой...

— Чушь! — орет Люська. — Я не боюсь тюрьмы! Вот я, я не боюсь! Ты это можешь понять, плосколобий!

Мать, не давая мне ответить, говорит мягко и растерянно, она в самом деле не понимает, что произошло:

— Ты прав, тюрьма — это ужасно... Но ведь убеждения... Элементарная порядочность... И наконец, ведь он любил Люсю...

— А может быть, он действительно раскаялся?

— В чем? — вскрикивают они обе.

— Ну, понял, что все это бесполезно...

Люська хватается за виски, мотает головой.

— Я не вынесу этого! Прекратите сейчас же! Немедленно прекратите! Мама! Я прошу тебя!

— Хорошо, хорошо, не будем об этом. Давайте кофе пить.

— Мать, — спрашиваю я, — а выпить у тебя найдется?

Она от растерянности переадресовывает мой вопрос Люське:

— У нас есть что-нибудь?

— Я тоже выпью, — вдруг тихо говорит Люська.

Вот когда она хоть два человеческих слова произнесет после всех гадостей, мне хочется обнять ее и потрепать за уши! Но разве ж у нас это возможно?

Она приносит початую бутылку вермута, мать достает рюмки.

— Есть хочешь?

Я не хочу есть. Я хочу выпить. Мне немного тошно. Мне немного тоскливо. Мне немного жалко всех и себя почему-то.

— Так ты, значит, женишься, — говорит мать. Я жадно заглатываю вино, без спроса наливаю вторую и тоже залпом. Мать смотрит удивленно.

— Это что-то новое! Пить начинаешь?

Я только рукой машу. Люська долго держит рюмку в ладонях, будто согревает вино, потом пьет осторожными глотками, как кипятком, и опять держит рюмку в ладонях.

— Кто она, жена твоя будущая?

— Поповская дочка, — отвечаю уже привычно.

— Шутишь?

— Нет, мама, она действительно поповская дочка, то есть дочь священника.

— И она... верит?... Она верующая?

— И она верующая, то есть она верит в Бога.

У матери на языке масса каверзных вопросов, но она не решается их задавать.

— А с Ириной, значит, все?

— Значит.

— Ты извини, но я хочу понять, это у тебя серьезно или из области оригинального? Я хочу сказать, это как-то не увязывается...

— Ну, как ты не понимаешь, мама, — опять взрывается Люська, — наш Гена просто не отстает от времени. Всякий революционный спад сопровождается религиозным бумом. Религия — это безопасно и оригинально! Сейчас самое время жениться на поповских дочках. Это может даже стать модой среди ренегатов!

— Спасибо за ренегата, — отвечаю я, — но, между прочим, Солженицын у меня до сих пор висит, а у вас что-то пустовато на стенках.

— Еще бы тебе Солженицына снимать! — Люська того и гляди вцепится в лицо. — Он же теперь русский патриот. По тоталитаризму затосковал. Подожди, он еще вернется сюда, твой Солженицын.

— Мой? — Я чуть не падаю от изумления. — Да не ты ли...

— Я! Я! — орет Люська. — Труссы и предатели! Настоящие люди подымают в камерах и лагерях! А вы торопитесь жениться на поповских дочках! Чтоб вы пропали в своей похоти, иуды!

Терпению моему конец, я трахаю ладонью по столу. Мать успевает поймать свою рюмку одной рукой и придержать бутылку другой. Моя рюмка летит на ковер. Люська сжимается в комок, когда я подхожу к ней.

— Ну и сволочь же ты! — говорю я, чувствуя, как меня понесло.

— Геннадий! — кричит мать.

— Ну и сволочь! Твоего Шурика посадили не первым. До него уже полно сидело! А когда ты оставалась у него на ночь, вы с ним что, «ГУЛАГ» конспектировали? А твои аборт — это итог революционного пафоса, да?

— Геннадий, прекрати, — умоляет мать.

Но нет, раз уж я сорвался, я все выскажу этой истеричке.

— Твой герой оказался болтуном и трусом. Да! Но не в этом дело. А в том, что ты, со своей истеричностью, сумела из всех выбрать именно болтуна и труса. Он ведь пока один такой. Ты просто дура. Истеричная дура!

Я нагибаюсь над ней, и она вжимается в стул — не столько от испуга, сколько от изумления.

— А мне противно, понимаешь, противно как раз то, чем ты живешь. Игра в героев! Революционная любовь! Терминология твоя противна! Это все уже было! Это как раз и пошло! Я боюсь тюрьмы и не скрываю этого, но я бы тебя не заложил, как твой Шурик, хотя морду тебе набить — это просто с медицинкой точки зрения полезно.

Мать вскакивает со стула, хватая меня за плечи.

— Геннадий, немедленно уходи! Немедленно! Я не знала, что ты еще и хам.

Я сглатываю слюну и говорю тихо:

— Я не хам, мама. Но я и не отец. Я больше не приду к вам. Вы ненормальные. Что я вам сделал такого, чтобы меня ненавидеть? Но вы всех ненавидите, кто не ваш, кто не по-вашему живет или думает. Я не герой и не борец, но вы тоже ничего не сделаете, потому что задохнетесь в ненависти.

— Геннадий!

— Ухожу. Ухожу.

— Постой, мама! — кричит Люська, поднимается и встает в проходе.

Чего еще она хочет! Пальцы на косяке двери белые, вся трясется, жилы на шее вздулись, некрасивая какая, Господи!

Я стою и жду. Она молчит, только губы дергаются.

— Мама, — говорит она, наконец, — пожалуйста, оставь нас двоих.

— Еще чего! Драки только не хватало. Уходи, Геннадий, я прошу тебя.

Я делаю шаг к двери, но Люська кричит:

— Нет! Он останется. Мама, оставь нас. Слышишь, мама, или мы с тобой поссоримся.

— По-моему, — говорит мать устало, — мы сегодня с тобой только этим и занимаемся.

Она машет рукой и уходит, опустив голову.

Люська делает шаг ко мне. Я на взводе и настороже.

— Генка, помоги мне, — вдруг говорит она, всхлипнув. — Спаси меня. Я погибаю! Я не хочу жить, Генка!

Она делает еще шаг, и я бросаюсь к ней, обнимаю крепко, целую в худые щеки и в лоб, глажу ее востранные волосы.

— Помоги мне, Генка! — шепчет она и плачет.

— Конечно. Конечно. Мы что-нибудь придумаем.

У меня самого уже с глазами не все в порядке.

— Что мне делать, Генка?!

— Я еще не знаю, но я придумаю, честное слово, придумаю.

Я уверен, что есть какой-нибудь путь, не бывает ситуаций, из которых нет выхода. Я уверен в себе. Я успокаиваю ее с чистой совестью. В эти минуты мне кажутся ничтожными наши раздоры, и у меня вновь возникает смутная мечта о большой, дружной семье, и я шепчу Люське:

— Мы должны жить все вместе, все...

Она отстраняется, все еще всхлипывая и дергая плечами.

— О чем ты говоришь! Это невозможно.

Я еле слышу, так тихо она говорит, но я сознаю, что ничего не изменилось, ничего я не придумаю для сестры, и она понимает, что я бессилен... Видно, и ей вражда поперек горла, захотелось на мгновение постоять обнявшись, словно мы всегда были дружны и близки, а сейчас снова начнет кричать и проклинать меня. Но она только шепчет: «Что мне делать?» Шепчет уже не мне, а себе...

— Может быть, уехать... — говорю я.

— Куда?

— Я знаю одно такое место, где ты отдохнешь, там за тобой будут ухаживать, тебе будет спокойно...

— К твоей поповне? — догадывается она и качает головой. — Это не по мне.

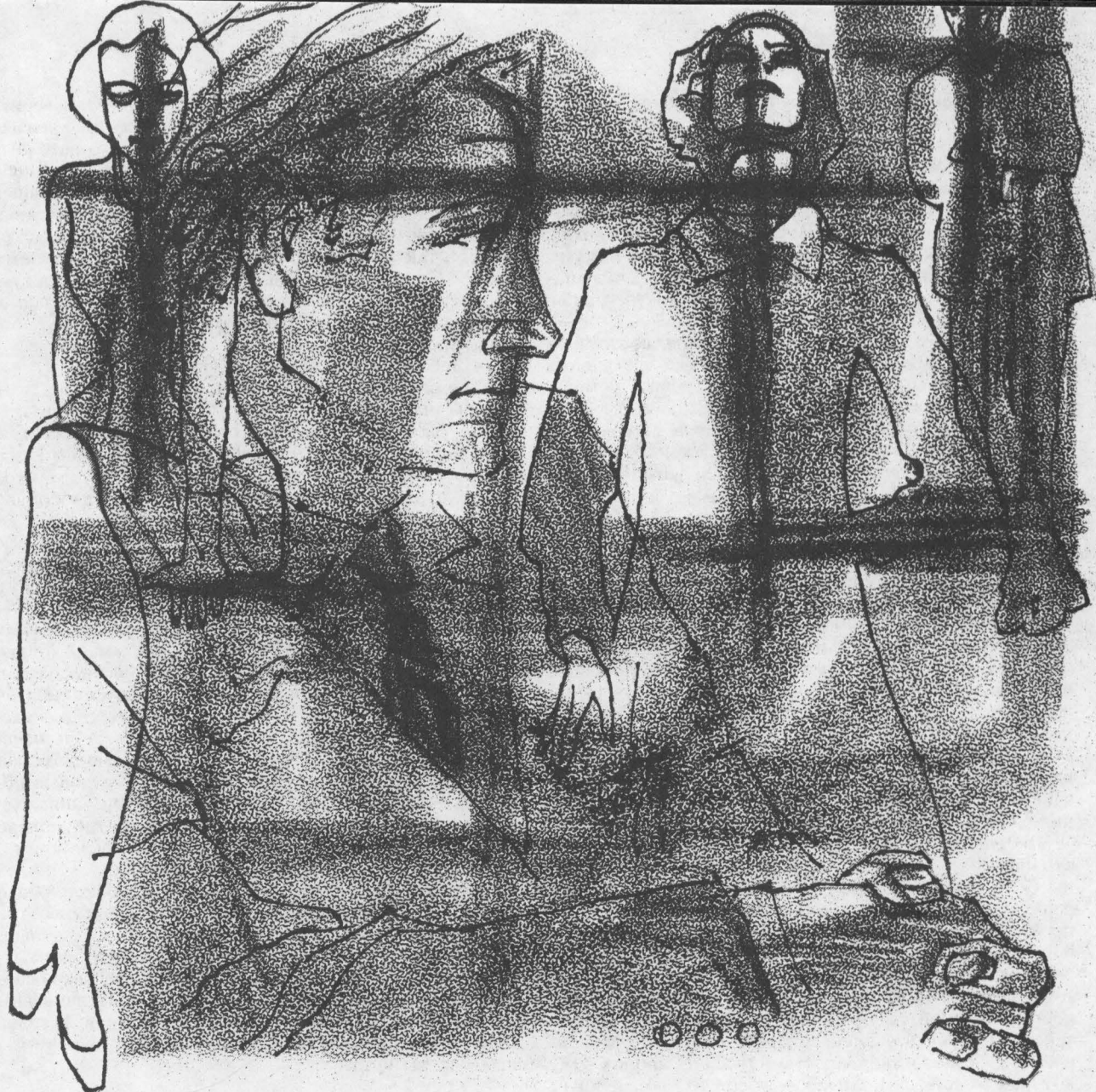
— Ты не представляешь, какие это люди! — пытаюсь я предупредить ее отказ.

— Да и не на что мне ехать...

— Я дам...

— А у тебя откуда? — это уже звучит с подозрением. — Отцовские?

— Ну почему? — мямлю я. — У меня была командировка, премия...



Она не верит, она знает мои возможности.

— Генка, — говорит она, отвернувшись к окну, — ты думаешь, он просто струсил?

Я молчу. В молчании тоже ответ.

— Знаешь, он предчувствовал, ...незадолго еще говорил: давай уедем. Вызов у него был, причем не фиктивный, у него действительно родственники в Израиле. Значит, он боялся, да? Значит, не был уверен в себе?

Я по-прежнему молчу. Но мне теперь все понятно. Ее Шурик готовился драпануть, как запахнет жареным, да просчитался, с досады и раскололся. Не собирался он сидеть и не готовился к этому.

— Когда он убеждал меня ничего не скрывать от следствия, я смотрела ему в глаза. Я уже думала, думала, что, может, действительно все, что мы делаем, ошибка, что я не заметила этой ошибки... Понимаешь, про себя я могу это допустить, но он не ошибался...

Я прерываю ее, мне уже невтерпёж слушать:

— Ты совсем не о том говоришь и думаешь. Все не то. Сейчас важно только одно: любишь ты его или нет. Это для тебя должно быть главным!

Она лишь отмахивается.

— Мне не семнадцать лет, чтобы любить мужчину ни за что. Да и в семнадцать так не бывает.

— Люська, я достану тебе денег, поезжай, поверь мне, ты вернешься другим человеком!

Она нервно смеется.

— Спасибо, братец, но этот рецепт не для меня. Не могу я сейчас уехать, понимаешь ты? Это же бегство. Вот видишь, ты ничем мне помочь не можешь... Мама!

Когда я выхожу от матери, уже половина восьмого. Я опаздываю к Женьке. Останавливаю такси.

Разве это не печально, мне тридцать, а характера ни на грош. С отцом я веду себя по-отцовски, у матери с Люськой я такой же псих и истерик, как они. И в других ситуациях я замечал за собой желание вжиться в обстановку, приспособиться. Надо бы проанализировать, какой стиль для меня естествен, где я сам по себе, а где приспособление.

А Люську мне жаль. Я ничем не могу ей помочь. Главное во всей этой истории — лишь бы ее саму не тронули. Но я почему-то надеюсь, что этого не случится. Представить себе Люську в тюрьме — воображения не хватает. Лично же я патологически боюсь тюрьмы. Из рассказов сталинских зеков, да и теперешних политических, я реально представляю себе всю эту нечеловеческую действительность — и не могу найти такие ценности, ради которых можно добровольно обречь себя на все унижения и ограниче-

ния, что именуются в совокупности неволей. Как ни гнусна наша жизнь, а в ней все-таки остается достаточно того, что есть радость или просто норма. Поэтому, когда я слышу, что кого-то посадили, я содрогаюсь внутренне, я сочувствую ему, кто бы он ни был. И когда говорят по адресу очередного исчезнувшего, что, дескать, доигрался, что сам того хотел, я на таких смотрю с подозрением, они мне кажутся еще большими трусами, чем я, страх в их душах настолько велик, что помутил им рассудок, — можно ли приписывать кому-то желание неволи?

А сколько раз случалось мне слушать воспоминания бывших лагерников, видеть их глаза, светящиеся радостью и, убей меня гром, счастьем! Они вспоминали «минувшие дни» и находили в тех днях светлые мгновения: послушать их, так именно в лагерях они пережили самые великие минуты счастья. Я заболела, когда слышу такое, я вижу в этом какое-то нравственное извращение, я не понимаю их, не хочу понимать, я даже уважать их не могу, — все во мне кричит против, все содрогается, и я это считаю естественным и нормальным. Представить себе, что в неволе могут быть счастливые или просто радостные минуты, я не могу. Впрочем, на животном уровне, до которого может быть доведен человек в неволе, на этом уровне, наверное, можно быть счастливым от лишней пайки, но чтобы это собачье счастье и на воле вспоминалось как счастье! — увольте. И не верю я, что в неволе согревают высокие идеи или нравственное очищение. Может быть, я слишком земной, но если меня лишают возможности видеть лицо любимой женщины, никакие идеи не облегчат моего страдания, вся моя жизнь будет одним сплошным страданием без просветов и рассветов.

Что еще отталкивает меня от Люськиного мира — это пошлость повторений! Тысячи, если не миллионы, когда-то разменивали жизнь на нежизнь только ради того, чтобы кто-то получил удовольствие от проезда в такси! И вот уже следующие тысячи разменивают свои жизни ради будущего глобального преодоления страданий и не видят бессмысленности своего намерения. А она кричит о себе, эта бессмысленность, с каждой страницы истории и из каждого житейского переулочка, в ее вопле всеобщая неустроенность и неудовлетворенность и все те прочие НЕ, которые и есть суть жизни, — убери их, ликвидируй, и что останется?

Иногда мне удается взглянуть на жизнь как на нечто целое, и тогда я нахожу законное место Люське и ее друзьям в этом целом, их функцию я понимаю тогда как одно из слагаемых, оно даже не кажется равным среди прочих, это лишь приправа к жизни... Но я стараюсь не додумывать эту мысль до конца, потому что от слова «приправа» до слова «соль» один логический шаг. Посчитать Люськину же суету за соль жизни я никак не могу. Я вообще предпочитаю оставлять подобные мысли недодуманными, тогда они кажутся значительнее и сам себе я вижу тихим мудрецом с роденовским напряжением на челе, мудрецом, пролетающим в такси над пестрой суетой жизни.

Мне надо себя оправдать, потому что я люблю себя, а эта любовь, единственно она, оставляет мне возможность любить ближних. Презирай я себя за все, что я о себе знаю, ближние — разве иные, лучше меня? Но я себя люблю таким, каков есть, значит, обязан и ближних любить из справедливости, и если это не всегда удается, так только потому, что бывает трудненько не презирать самого себя.

И потому я стараюсь понять всех, не принять, а именно понять, и, наверное, только такой подход к людям предупреждает ненависть к ним и отвращение. Одно лишь смущает: чем больше понимаешь людей, тем меньше они тебе нравятся, тем неотвра-

тимее одиночество, и потому не полезнее ли верить тому, что человек сам о себе думает? Ведь еще неизвестно, что более подлинно в человеке — его реальные действия или нереализованные намерения. Если обо мне судить по намерениям, то какой же я славный человек, и если признаться честно, то себя-то и люблю именно за те намерения, которые снисходят на меня, а так ли уж виноват я, что жизнь складывается иначе? Существует человек в чистом виде — как сумма его намерений, и человек в жизни, то есть взаимодействующий со всем, что вокруг. У подлинно дурного и намерения дурные...

— Здесь? — спрашивает шофер.

Я не случайно люблю такси. Если бы в день хоть по два часа проводить в этом движущемся нутре, я стал бы Иммануилом Кантом, создал бы самостоятельную философию, что-нибудь вроде «Нового Гуманона». Но мои маршруты слишком коротки, чтобы дойти до солидных обобщений, много ли наобобщаешь за трояк!

Я поднимаюсь в лифте на шестнадцатый этаж, где под самым козырьком башни живет мой кормилец Женька Полуэктов по кличке «Полуэтот». У каждого из нас квартира означает разное: у моего отца она — кабинет, у матери — проходной двор, у меня — берлога. У Женьки квартира — афиша, реклама. Сколько денег угрохано на все эти спецобои, спецпаркет, спецкафель — уму непостижимо. Посетитель должен понимать, что хозяин — человек прочного положения, с неограниченными связями. Все имеет назначение ошарашить гостя интеллектуальностью хозяина. Иконы восемнадцатого века и полутораметровые полотна гениев нереалистической живописи, книжные полки с антиквариатом и разбросанные где попало современные книжки с дарственными надписями авторов, импортная пишущая машинка, кипы хорошей бумаги, и всюду рукописи — такой очаровательный творческий беспорядок, в котором, однако, все на месте, — и сам хозяин, представительный, статный, при бороде и усах, в роскошном халате до пят, с «Мальборо» или «Кэмелом» в зубах, разговаривающий мягким баритоном, чуть усталым, чуть ленивым, не способным выражать удивление. Таков Женька Полуэктов. Правда, передо мной он не играет, мы знакомы тьму лет.

— Кофе?

— Давай.

— Жратву не предлагаю, нечего. Что отмочила наша Ирина, уже в курсе?

— Ирина? Я ее еще не видел.

— Не видел?

Мы полулежим в глубоких креслах у низенького столика.

Меня немного коробит его панибратский тон по отношению к Ирине, у нас даже крупное объяснение было по этому поводу. Сейчас у меня, правда, нет причин для ревности, но все же отчего-то покалывает. Увы, такова наша натура...

— Так ты ее еще не видел? — снова спрашивает он, и мне не нравится его вопрос.

— Нет, а что?

Женька уклоняется от ответа.

— А как твои поживают?

— Люськиного хахалю посадили, — говорю и тут же жалею о сказанном.

Женькина реакция мне известна заранее.

— И правильно! — зло говорит Женька. — Сажать их надо, дураков! Пусть не мутят воду. Вода и без того слишком мутная, чтобы умный человек мог спокойно рыбку ловить.

Я даю себе слово не спорить и тем не менее подключаюсь.

— Чем они тебе мешают?

— Мне они не могут мешать, — снисходительно говорит Женька, — щенки они все, даже самые почтенные. Попросту — глупцы. Отвечу, отвечу, не скрипи зубами. Я считаю, что наше государство для творческого интеллекта. Но именно для интеллекта. Не будем апеллировать к широким народным массам, поймеем в виду меня. Я, старик, живу полностью в свое удовольствие. У меня хватает энергии и ума, чтобы добиваться всего, что пожелает моя прихотливая душа. Наша система не погрязла в экономике, как Запад, и потому экономическое положение личности не является определяющим в ее оценке. Между нами, что такое есть — я? Я авантюрист. Существует мнение, что место авантюриста — на Западе. Чепуха! Что найдет деловой человек на истоптанных тропках! Наше же государство, старик, достаточно идейное, чтобы под треск идей разрешить деловую инициативу. Государство слишком много энергии тратит на идейном фронте и достаточно ценит идейную консолидацию с ним, оно готово смотреть сквозь пальцы на некоторые экономические шалости единомышленников. В этом государстве только дурак и лодырь не могут реализоваться. Если б меня прельщала партийная карьера, я бы уже был в ЦК. Игру надо любить и уметь в нее играть. Кто выступает против нашей системы? Те, у кого не хватило способностей проиграть какой-нибудь вариант самореализации. Они трещат о правах. А кому, кроме них, нужны эти права? Мне — не нужны, сохрани Бог! Вместе с этими правами к власти пришли бы трепачи — и залихорадили бы так прекрасно настроенную машину. Может быть, народные массы нуждаются в правах? Да это еще счастье правократов, что их суды судят, а не широкие сознательные народные массы. Или, скажем, тебе они нужны, эти права? Ну, честно, тебе они нужны для счастливой жизни?

Я лишь пожал плечами.

— То-то, старик, счастье — иллюзия, а коли так, так кой хрен нужны какие-то права! Все эти борцы — они же сплошные комплексоиды...

— И ученые тоже?

— А почему нет? И потом, насколько я знаю, их не так много, их можно посчитать за флуктуацию, говоря научным языком, а простым — за исключение. И степень учености вообще не характеризует личность. А насчет государства я тебе даже больше скажу. Мне интересно в нем. Интересно пробиваться сквозь его запреты и оговорки, даже надувать его, вон ведь какое оно мочуе, а ты песчиночка, дрожжи на ветру, а звенишь как хочешь! В этом — интерес, это здоровое соперничество структуры и элемента. Признаться, жалею, что не жил в сталинские времена. В то время выжить — вот где нужно было крутиться, работать мозгами, бдеть каждую минуту! Сейчас-то что! Расслабляешься иногда, даже противно становится.

Я немного обалдеваю от его речей.

— Ты что-то порешь такое... Сам, поди, не веришь в то, что говоришь.

— Извини! — Женька разворачивается в кресле, нависает над столиком, тень от его бороды удлиняется и уродливо расплывается от одного угла столика до другого.

— Извини, это мое кредо. Я считаю себя настоящей личностью, потому что я один на один с этим государством, и я не хнычу, что оно меня обижает, бедненького, слабенького. Я с ним на равных. Где-то оно меня прижмет, где-то я ему наставлю рога, но в целом у меня с ним — деловое сотрудничество. Оно претендует на идею, и я обеими руками голосую за Советскую власть, за каждую марксистскую аксиому, с меня не убудет, я искренне заинтересован в процветании этого государства, именно идеологиче-

ского, марксистского, потому что в нем мне все понятно. И государство ценит эту мою уступчивость, оно же понимает, что это уступка, что интеллектуальный человек не может всерьез принимать всю его идейную чепуху, рассчитанную на мозговую вакуум, и оно молчаливо благодарит меня, а дальше от меня зависит, сумею ли я воспользоваться его благодарностью.

— Я считал моего отца циником, но что он в сравнении с тобой! Ты — апостол цинизма.

Женька снисходительно усмехается.

— Ты слишком долго якшался с провокаторами, от них у тебя привычка вешать ярлыки. Но я не возражаю, я только скажу тебе, что если ты не выживешь, поломаешься, государство будет ни при чем. Если ты слаб, то тебе и должно сломаться, святое дело государства — поломать тебя, если в тебе нет собственной силы. Трагедию наших интеллигентов я так понимаю: честолюбия — навалом, а силы для его реализации — крохи. Диспропорция. Вот ты...

— Женька, — перебиваю я. — Принципиально с тобой не спорю. Я по делу пришел.

Лицо его изображает изумление.

— А я только что подумал, чего это ты меня за бороду не хватаешь? А, кстати, как ты находишь мою бороду? Некоторые говорят, что я похож на Владимира Соловьева. Еще кофе?

— Остыл уже...

Женька хватается обеими руками кофеварку.

— Сойдет. Так чего тебе, старче, надобно?

— Халтура нужна. Срочно.

— В каком диапазоне?

— До четырех тысяч.

— Ого! — уважительно произносит Женька. — Думаем, соображаем, догадываемся. Затеваешь квартирное дело? Угадал? А раз квартирное, значит, женишься.

— Женюсь, — отвечаю я неохотно.

— Рыбалку любишь? — спрашивает он неожиданно.

— Не выношу.

— Придется полюбить, и не когда-нибудь, а с завтрашнего дня. Сиди, я сейчас.

По стуку передвигаемых стульев и хлопанью дверей понимаю — полез на антресоли. Не очень-то соображаю, при чем здесь рыбалка, но если Женька говорит, значит, по делу. Он появляется со складным удильцем и туго набитым мешочком.

— Пойдешь завтра вместо меня. На готовенькое идешь, цени! Даже мотыль свежий в наличии. Значит, так: место явки — пруд в Царицынском парке с противоположной стороны от входа. Внешние признаки резидента — однорукий, возможно, в нетрезвом состоянии. Открой мешок.

Я расстегиваю резинку и вижу бутылку водки.

— Это пароль, — говорит Женька. — Далее действовать по обстановке. Все.

— Нельзя ли подробнее?

Женька плюхается в кресло, так что ноги взлетают вверх.

— Темный ты человек, Гена. Знаешь ли ты, какое у нас преддверие нынче на дворе?

Я терпеливо молчу.

— Не знаешь. А зря. Потому что у нас на дворе всегда какое-нибудь преддверие. В прошлом году было преддверие очередного партийного съезда. Нынче же, темнота, мы живем в преддверии круглой годовщины со Дня Победы над бешеным фашистским зверем. Следовательно, что? — Он поднимает вверх указательный палец. — Следовательно, в текущем году военной теме особо зеленая улица. Калым, что из любезности уступаю тебе, за пределами твоих жал-

ких четырех тысяч. Будешь умником — возьмешь десять. Проводку гарантирую. Уже обговорил с редактором.

Я поражен Женькиной щедростью. Спрашиваю не без подозрения:

— А тебе что, эти десять — лишние?

— Увы! — вздыхает он. — Лишними деньги не бывают, но сейчас у меня по горло престижной работы, можно и надорваться.

В принципе мне уже все ясно.

— А почему тебя зовут «Полуэтот»? — вдруг спрашиваю я.

Женька прищуривается.

— От кого слышал?

— От Ирины.

— И как она относится?

— Тоже не знает почему.

— Объясню. Все просто. Я полукровка, или, как сейчас говорят, полтинник. Полуеврей, значит.

Я впервые слышу об этом.

— Так наши антисемитики выражаются... Но я не обижаясь.

Я чувствую себя неловко, надо бы что-то сказать...

— Я лично, — продолжает Женька, — признаю за антисемитизмом право на существование. Так же как и за собой оставляю право натягивать антисемитам носы. Люблю борьбу за существование! А еврей, я тебе скажу, тоже не мед. И когда я оставляю с носом какого-нибудь еврея-пройдоху, я тоже испытываю удовлетворение. В своем «полу» я нахожу великое преимущество — свободу от каких-либо обязательств перед обеими составными моей крови. Будущее человечество, если только у него есть будущее, принадлежит таким, как я. Хладнокровие и объективность — вот что принесут человечеству гибриды. Я не оскорбляю твоего цельнорасового чувства?

Я пожимаю плечами. Какой же это прекрасный жест, как выручает он в затруднительных положениях.

Все сказано, и мне пора уходить. Я поднимаюсь, и Женька не возражает. Мы одинаково быстро надоедаем друг другу. Женька для меня слишком сложен, я для него слишком прост.

На улице заскакиваю в первую же телефонную будку и звоню Ирине. Она рада мне, хотя голос деланно вялый и равнодушный.

— Бери такси, я заплачу, — говорит Ирина. Раньше, не будь у меня денег, я так бы и поступил. Сейчас это вдруг задевает мою гордость. У меня еще около пяти рублей в кармане, и я холодно отвечаю, что вполне кредитоспособен, но не поздно ли, и чувствую, как она настораживается.

— Пожалуй, — отвечает Ирина, и мне становится жаль ее. И все-таки лучше все сделать сегодня.

— Минут через сорок буду, — говорю я по возможности деловито, хотя сердце у меня сжимается... Чем я могу успокоить себя, подготовиться к трудному разговору?

Кажется, мы за эти годы срослись во что-то одно, и больно будет обоим. Рвать придется по живому. А еще больше мне не хочется, чтобы она чувствовала себя оставленной. Бывает же, когда двое расстаются по взаимному решению или даже ненависти друг друга. У меня же все не как у людей, непременно сложность, обязательно испытание...

(Продолжение следует.)



ПОСЛЕ НАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ

В 4-м номере нашего журнала был напечатан материал о политзаключенном Леониде Лубмане, вызвавший шквал читательских писем. Спасибо за участие! Мы рады сообщить нашим читателям, что усилиями общественности, как нашей, так и зарубежной прессы — в том числе и нашего журнала, — по личному Указу Президента СССР Л. Я. Лубман освобожден.

Леонид Лубман: «Это, конечно, высокая честь, но, с другой стороны, я был помилован. Помилование дается тем, кто признал свою вину и раскаялся. Я же вины не признал и по-прежнему считаю дело сфабрикованным. Я посылал прошения, но не о помиловании, а о пересмотре дела. Они были направлены в Верховный Совет СССР и, видно, по адресу не дошли — раз понадобился личный Указ Горбачева».

Вот как прокомментировал событие правозащитник Алексей Смирнов: «Мы не должны особенно радоваться этому шагу правительства. Когда вместо десяти тебя бьют палкой девять раз — это еще не демократия. А Леонид отсидел почти весь свой срок. Но лучше поздно, чем никогда».

Здоровье у Лубмана как у всех, кто вернулся оттуда: болят глаза, зубы. Сейчас он живет в Ленинграде, ему быстро дали прописку. Однако вскоре Леонид Яковлевич уезжает из страны. Насовсем...

И еще. Продолжают незаслуженно отбывать срок политзаключенные Михаил Казачков (мы писали об этом человеке в шестом номере «Юности» за этот год), Валерий Смирнов и некоторые другие... Неужели на каждого должен быть издан личный Указ Президента? Неужели у нас нет ни прокуров, ни судей? Нет закона?

Справедливость должна быть восстановлена по отношению ко всем, кто был осужден по политическим мотивам.

Владимир
ВОЙНОВИЧ

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Книга вторая

ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ



Рисунки Геннадия Новожилова

Следует отметить, что Ермолкин и Нюра попали к подполковнику Лужину в самое неподходящее, а может, наоборот, в самое подходящее время — Лужину было в общем-то не до них. Только что из Центра поступила депеша, смысла которой Лужин не мог понять даже после расшифровки.

«Рамзай¹, — говорилось в депеше, — ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса² по кличке Курт, прежде законсервированный³. Судя по косвенным показателям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, тов. Лаврентьев⁴ приказал принять все необходимые меры и в семидневный срок выявить и обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение приказа возложена на вас лично».

Лужин был ошарашен.

На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватай любого, назови его Куртом — и в кутузку. А если он настоящий... Вот с настоящими работать было труднее. Опыта не хватало.

Лужин много раз перечитывал шифровку, вдумывался в каждое слово, но ничего понять не мог. Кто такой этот Рамзай⁵, и почему он сообщает из Токио? Как можно отдавать такие приказы, не имея хотя бы приблизительных данных, что это за Курт? Ну ладно, допустим, неизвестны фамилия, место жительства или работы, но должны же быть хоть какие приметы. Рост, возраст, цвет волос или глаз, к каким именно секретам имеет доступ.

Как всякий человек на своем месте, как подчиненные его самого, Лужин ругал высшее начальство, считая, что там сидят дураки, бюрократы, самодуры, которые отдают приказы, совершенно не считаясь с их практической выполнимостью. Однако по виду Лужина трудно было догадаться, что он чем-нибудь озабочен. Нюру, во всяком случае, он встретил так же приветливо, как и Ермолкина. Он усадил ее в мягкое кресло, а сам, болтая ногами, забрался в другое. Сел, сложил руки на груди и улыбнулся:

— Готов слушать вас с чудовищным интересом.

Нюра, не ожидавшая такого ласкового приема, растерялась и сказала:

— Я беременная.

— Что вы говорите? — Лужин хлопнул в ладоши. — Надо же! — Скатившись с кресла, он подбежал к Нюре и стал трясти ее руку. — Поздравляю. От

¹ Рамзай — Здесь и далее примечания автора. Кличка известного советского разведчика Рихарда Зорге.

² Канарис — шеф абвера (немецкой военной разведки).

³ Законсервированный — очевидно, специальный термин. Трудно предположить, чтобы личный агент адмирала Канариса был законсервирован в буквальном смысле, то есть запечатан в жестяную банку. Впрочем, некоторые агенты, я слышал, бывают весьма непритворливы.

⁴ Тов. Лаврентьев — кличка тов. Берия, агента международного империализма.

⁵ Имя Рихарда Зорге в то время было известно весьма узкому кругу лиц, в число которых Лужин, видимо, не входил.

души. Всей. Как говорится.— Вернулся в кресло.— И куда же вы хотите его определить?

— Кого? — не поняла Нюра.

— Его.— Лужин показал на ее живот.— Ребенка надо устроить. А отдайте его нам, а? Мы из него сделаем. Человека. Настоящего. А впрочем, это я так,— Лужин защелкал зубами,— шучу. Да.

Нюра смущенно потупилась и улыbnулась.

Помолчали. Лужин спросил Нюру, может ли он ей чем-нибудь помочь. Она заплакала и стала объяснять, что у нее мужика посадили, она за него хлопот, ей везде отказывают, как посторонней, а она не посторонняя, потому что она с ним жила.

Лужин слушал внимательно. Иногда спрыгивал с кресла и начинал в волнении бегать по кабинету, потом опять возвращался на место и опять слушал. А когда Нюра кончила рассказывать, он подошел к ней, погладил ее по голове и с чувством сказал:

— Бедная женщина!

Нюра посмотрела на Лужина, подалась вперед, уткнулась головой ему в плечо и разревелась. Много ей за последнее время приходилось плакать, но так она еще не рыдала. Она пыталась остановиться, но не могла.

Лужин гладил ее по голове и бормотал:

— Бедная! Сколько пришлось пережить! Ну ничего. Ничего. Ничего. Ну.

Тут он забормотал какие-то слова, из которых Нюра поняла, что он, Лужин, приложит все усилия и что если не удастся вернуть Чонкина:

— Мы. Вам. Подберем. Кого-то. Другого. Еще лучше. Мы. Вам. Поможем. Но и вы. Нам. Помогите. Прошу. Очень! — Лужин закрыл глаза и приложил руку к груди.

Нюра не поняла, как и кого могут ей подобрать вместо Чонкина, она хотела сказать, что никого лучше ей не надо, что Чонкина ей вполне достаточно. Но Лужин своей просьбой о помощи сбил ее с толку, и она сказала, что, конечно, что если она может...

— Можете,— перебил Лужин.— Вы в Красном живете?

— В Красном,— кивнула Нюра.

— Ну как там? Как народ? Какие настроения преобладают?

Нюра посмотрела на него вопросительно.

— Не поняли? — улыbnулся Лужин.— Я по-моему. Говорю. Ясно вполне. Я спрашиваю: в вашей деревне у людей какое настроение? Грустное?

Нюре вопрос не понравился. Она стала выгораживать своих односельчан, уверяя, что настроение у всех, напротив, весьма хорошее.

— Хорошее? — обрадовался Лужин и отпрыгнул от Нюры.

— Хорошее,— подтвердила Нюра.

— Чудовищно любопытно. Война идет. Люди гибнут. А у них хорошее. Отчего же? Может, ждут? Немцев? — Он подмигнул Нюре и улыbnулся.

— Нет! — Нюра испугалась, что сказала что-то не то.— Немцев не ждут.

— А кого ждут?

— Никого не ждут.

— А откуда же настроение такое хорошее?

Нюра решила тут же исправить ошибку и сказала, что она не совсем правильно выразилась и что настроение у людей иногда бывает хорошее, но чаще совсем плохое.

— Плохое? — переспросил Лужин.— Подавленное? Не верят в победу нашу?

— Верят! Верят! — сказала Нюра поспешно.

— Но настроение плохое?

— Оно не плохое,— сказала Нюра и поняла, что запуталась.

— А какое же? — спросил Лужин.

— Не знаю,— сказала Нюра.

— Ну вот,— помрачнел Лужин.— Видите. Я к вам всей душой. Хотел помочь. Я откровенно. А вы не откровенно. То хорошее. То плохое. То не знаете. Значит, помочь нам не хотите?

— Почему же? — сказала Нюра, насупясь.

— Почему, я не знаю. Я вижу, что не хотите. Нам, конечно, и так известно все, но мне от вас услышать хотелось. Чем люди живут? Что говорят? Некоторые неправильно думают. Хотелось бы их вовремя выявить, поправить и удержать. Они потом. Сами. Спасибо скажут. Между прочим, что говорит ваш председатель?

— Наш председатель? — переспросила Нюра.— Об чем?

— Ну, вообще.

— Матюкается,— сказала Нюра.

— Матюкается? — оживился Лужин.— И как именно. Нет, я не к тому, чтобы вы повторяли, я спрашиваю: матюкается с акцентом политическим или так просто?

— Просто так,— сказала Нюра.

— Хм! — Ответами ее Лужин явно был недоволен. Казалось, он не только не верил, но и не хотел верить, что в деревне Красное все обстоит столь благополучно.

— Ну что же.— Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету.— Вы все-таки. Откровенно со мной не хотите. Ну что ж. Мил насильно. Не будешь. Как говориться. Мы вам помочь. А вы нам не хотите. Да. А между прочим, Курта случайно не знаете, а?

— Кур-то? — удивилась Нюра.

— Ну да, Курта.

— Да кто ж кур-то не знает? — Нюра пожалла плечами.— Да как же это можно в деревне без кур-то?

— Нельзя? — быстро переспросил Лужин.— Да. Конечно. В деревне без Курта. Никак. Нельзя. Невозможно.— Он придвинул к себе настольный календарь и взял ручку.— Как фамилия?

— Беляшова,— сообщила Нюра охотно.

— Беля... Нет. Не эта. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта. Что? — насупился Лужин.— И это не хотите сказать?

Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, на глазах опять появились слезы.

— Не понимаю,— сказала она медленно.— Какие же могут быть у кур фамилии?

— У кур? — переспросил Лужин.— Что? У кур? А? — Он вдруг все понял и, спрыгнув на пол, затопал ногами.— Вон! Вон отсюда!

Нюра тоже поднялась и отступала, оглядываясь.

— Вон! — кричал Лужин, толкая ее в спину.— Вон, мерзавка!

— Так, а насчет Чонкина как же? — спросила она, упираясь.

— Вон! — пыхтел Лужин, толкая.— Вон! Я тебе покажу Чонкина! Хочешь быть женой, будешь! Это мы можем. Это мы устроим. Всенепременно.

Вытолкнув Нюру, он вернулся к столу, промокнул платочком пот и отдышался. Нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Вот что,— сказал он ей,— дело этого Чонкина меня смущает чудовищно. Почему этот дезертир оказал сопротивление такое упорное? Тут что-то не так. И еще какой-то Курт. Запросите Филиппова, не связан ли этот Чонкин с каким-нибудь Куртом. Пошлите шифровку по месту прежнего жительства Чонкина. Пусть соберут данные. Кто такой? Чем занимался до армии? Все. Кто там еще ко мне? Зовите!

*

Ермолкин еще писал свои показания, когда из кабинета Лужина выскочила Нюра, вся красная и в слезах.

Ермолкин подумал, что сейчас позовут и его, и заторопился. Но раздался звонок, секретарша, расправив гимнастерку, вошла к Лужину. Вернувшись, сказала одному из военных:

— Роман Гаврилович ждет.

Военные вскочили, подняли штатского, и все трое скрылись за дверью кабинета.

Пробыли они там минуты две-три, вдруг из-за двери донесся нечеловеческий вопль, и тут же дверь распахнулась, и те же военные повели своего штатского через приемную, но был он совсем не похож на того самоуверенного человека, который совсем недавно пересек порог лужинского кабинета. Он был уже без пиджака, в нижней, разорванной на спине рубашке, он шел, низко наклонив голову и вяло перебирая полусогнутыми ногами, а военные держали его с двух сторон, чтобы не упал.

Затем появился Лужин. Без улыбки, но возбужденный, следом за посетителями выскочил он в коридор, и оттуда Ермолкин услышал его громкий голос:

— Ведите его вниз и там поговорите. Постарайтесь его убедить!

Лужин вернулся, побежал к своему кабинету, но у порога обернулся, увидев Ермолкина:

— Ну как у вас? Все готово?

— Почти,— сказал Ермолкин переживая разнообразные чувства.— Я сейчас. Еще немного.

— Чудовищно сожалею,— улыбнулся Лужин.— Но времени нет. Совершенно. Давайте что есть.

Он побежал впереди Ермолкина по кабинету. Изящным движением ноги зашвырнул валявшийся на полу темно-синий пиджак, сел за свой стол, и голова его во все зубы улыбнулась Ермолкину.

— Прошу.— И маленькая ручка перекинулась через стол.

Дрожа от страха, Ермолкин протянул написанное.

— Так,— сказал Роман Гаврилович, поднеся бумагу к глазам.— «С большим трудовым подъемом встретили...» Это статья?

— Нет,— потупился Ермолкин.— Это мои признания.

— Оригинально,— поощрил Лужин.— Очень даже. Но как-то... Все же. Издалека.

— Я ведь все-таки журналист,— скромно улыбнулся Ермолкин.

— А-а, ну да. Понятно. Свой стиль. Очень неповторимый. Вообще-то говоря, другие у нас пишут проще. Некоторые прямо начинают: я, такой и сякой, сделал то-то и то-то. Но обычно. Это. Не журналисты. Впрочем. Попадают и... Ну что ж,— сказал он, выдвигая ящик стола и кладя в него сочинение Ермолкина.— Почитаем. С удовольствием. Превеликим. Чудовищное наслаждение заранее предвкушаю.

Он задвинул ящик и улыбнулся Ермолкину.

— А скажите, пожалуйста,— волнуясь, спросил Ермолкин,— что мне за это будет?

— За что? — переспросил Лужин. Он понятия не имел, за что «за это». — Ну, вообще меру наказания определяем не мы, а суд. Однако. Если. Иметь в виду. Законы времени военного...

— Но я прошу учесть, что я с повинной,— поспешно перебил Ермолкин.

— Ах да,— спохватился Лужин.— Чуть было не упустил. Значит, так. Если учесть, что, с одной стороны. Действуют законы военного. А с другой стороны, тот факт, что вы явились сами, а не то, что мы вас разыскивали, то... учтите, я за суд решать не берусь... это мое частное мнение... но я думаю. Так лет. Может быть, десять.

— Десять лет! — в ужасе закричал Ермолкин.— Но я же это сделал не нарочно!

— Именно это вас и спасает,— объяснил Лужин,—

если бы вы сделали это нарочно, мы бы вас расстреляли.

У Ермолкина голова пошла кругом. Он обмяк. Он закрыл лицо руками. И так сидел очень долго. Отнял руки от лица и опять увидел перед собой доброжелательное лицо Лужина.

— У вас еще есть вопросы? — спросил Лужин любезно.

— Нет, нет, у меня все.

— Так, а чего же вы, собственно, ждете?

— Да я жду... ну, когда меня... это самое... уведут,— нашел нужное слово Ермолкин.

— А-а,— кивнул Лужин,— понятно. Чудовищно огорчен. Но пока. Не можем. Никак. Так что езжайте к себе. Работайте. Пишите про трудовой подъем. И ждите. За нами не пропадет. Как только понадобится, так я за вами сразу кого-нибудь подошлю. А пока всего хорошего. Впрочем, одну минутку. Вас случайно Куртом? Не звали никогда? Нет?

— Меня? Куртом? — Ермолкин пожевал губами.— Ваш этот... назвал меня мерином. А Куртом...

— Нет? — спросил Лужин.

— Нет.

— Очень жаль,— улыбнулся Лужин.— Позвольте ваш пропуск. Я подпишу.

Говорят, потом в компании своих друзей Лужин рассказывал о несчастном редакторе и ужасно смеялся. Говорят, что он собирался как-нибудь на досуге почитать написанное Ермолкиным, но то забывал, то руки не доходили, а потом при отступлении наших войск часть архива была уничтожена, а вместе с ней и рукопись Ермолкина. Чудовищно жаль.

*

Лейтенанту Филиппову.

Весьма срочно!

Совершенно секретно со спецкурьером!

Рамзай, ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса по кличке Курт, прежде законсервированный. Судя по косвенным показаниям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, приказываю принять все необходимые меры и в пятидневный срок выявить, обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение возлагаю на вас лично.

Выражаю крайнее удивление, что дело Чонкина до сих пор не закончено.

Лужин

*

Мальчик, присланный из конторы, нашел Гладышева на лавочке перед домом, где Кузьма Матвеевич в погожие дни проводил все свободное время «после того несчастья», как он сам выражался. Все замечали, что после урона, нанесенного ему прожорливой Красавкой, Гладышев сильно переменялся. Он стал угрюм, необщителен, не вел с односельчанами бесед на научные темы, и даже на огороде его, кажется, с тех самых пор никто ни разу не видел. Больше того, когда Афродита, воспользовавшись случаем, решила вынести из дому горшки с удобрениями, он никак ее действиям не препятствовал.

Сейчас он сидел на лавочке, смотрел в пустое пространство за речкой Тепой, когда перед ним возник мальчик без головы, голова была скрыта от Гладышева его же собственной шляпой. Гладышев приподнял шляпу и узнал в мальчике старшего сына счетовода Волкова Гриньку.

— Дядя Кузя, тебе телефонограмма, — сказал Гринька и протянул селекционеру полоску желтой бумаги.

Гладышев удивился, ему прежде телефонограмм не носили. Телефонограммы носили членам бюро райкома, депутатам местных Советов, иногда членам правления и активистам. Сердце Гладышева честолюбиво дрогнуло. Но текст прочесть он не смог, буквы были написаны коряво и мелко. Он разобрал только свою фамилию и цифру «10».

— Погоди, — сказал он мальчику и пошел в дом, помахивая принесенной бумагой.

Афродита на столе раскатывала зеленой бутылкой тесто для лапши. Геракл сидел на полу посреди комнаты и держал во рту большой палец правой ноги. Помахивая бумагой, Гладышев обогнул Геракла и прошел мимо жены, надеясь, что она спросит, откуда бумага. Афродита посмотрела на него, бумагу увидела, но ничего не спросила. Гладышев нашел сахарницу, вынул кусок рафинада, подумал, отколол половину и вынес во двор мальчику. Затем вернулся в дом за очками. В доме была та же картина, только Геракл сосал левую ногу. Гладышев знал, что очки должны быть на горке, но искать их стал на окне, желая привлечь к себе побольше внимания.

— Куда-то очки подевались, — сказал он в нарочитой досаде, шаря руками по подоконнику. — Телефонограмму прочесть надо, а очков нет.

Афродита скатала тесто в рулон и стала резать его на узкие полосы.

— Телефонограмму, говорю, слышь, прислали, — повторил Гладышев громче, переходя от наигранной досады к истинной. — Только что нарочный прискакал. — Ему самому при этом представился не мальчик Гринька, а лихой всадник на взмыленном скакуне.

Афродита, упрямая женщина, опять ничего не сказала, никак не выразила своего восторга по поводу столь незаурядного события. И Гладышеву ничего не осталось, как найти очки на своем месте. Он сел к окну, напялил очки на нос, прочел телефонограмму и похолодел. Его вызывали не на бюро райкома, не на сессию райсовета, не на совещание передовиков производства, а совсем в другое место.

— А-я-я-я-й! — завопил Гладышев и схватился за голову.

Геракл так удивился, что вынул изо рта ногу.

Наконец дошло и до Афродиты, что случилось что-то неладное. Она перестала резать тесто и посмотрела на мужа вопросительно. Он продолжал вопить.

— Ты чего? — спросила она.

— И не говори, Афродита, — мотал головой Гладышев. — Пропал я, совсем пропал.

— Да чего ты орешь? — сказала Афродита скандальным, визгливым голосом. — Ты скажи толком.

Гладышев перестал вопить, снял очки и сказал тихо:

— Вызывают меня, Афродита.

— Куда? — не могла взять в толк Афродита.

— Куда, куда, — рассердился Гладышев. — Сама знаешь куда. Я про мерина написал в газету. Видать, за это.

Афродита бросила нож на стол и тоже завопила. Сперва она вопила что-то нечленораздельное, потом в ее крике стали различаться отдельные слова, потом Гладышев понял, что она причитает по нему, как по покойнику. Напуганный происходящим, заплакал и Геракл. Афродита подхватила его на руки и завывала громче прежнего.

— Да на кого же ты нас спокинешь, дите малое, неразумное, сиротиночку-кровиночку и вдову горемычную! Кормилец ты наш и поилец, куды ж ты от нас уходишь! По миру пойдем побираться, Христа

ради будем просить! А кто нам поможет, кому мы нужны? Ай-я-я-й...

Гладышев был растроган до слез. Раньше Кузьма Матвеевич думал, что он для Афродиты ничего, ноль без палочки, а тут, ви-ишь, как убивается. Любит, стало быть, во как! И стало ему на душе так-то сладко, что принял он лицом своим выражение, будто и вправду покойник, и вслушался в причитания Афродиты, как в хорошую, хотя и печальную музыку. А Афродита вела причитания дальше, рисуя перед своим слушателем картину безрадостного будущего своего и ребенка:

— Удвоим, без мужеской помочи, будем перебиваться с хлеба на воду, будем с голоду помирать, в чистом поле будем мокнуть и мерзнуть, не имея крыши над головой...

— Вай-вай-вай! — завопил Гладышев. — Да что ж ты такое орешь? Я же тебе избу оставляю ладную, теплую, прошлым летом перекрытую. И что ты мене допреж время хоронишь? Я ж ни у чем не виноватый, авось еще разберутся, увидят, что я свой человек, почти что из бедняков, в колхоз вступил одним из первых. Разберутся, слышь, Афродита, верно говорю тебе, разберутся, отпустят.

— А-ай! — безнадежно убивалась Афродита. — Оттеда не отпускают!

Закипела в печи пшенная каша, выбежала, залила углы. Из печи повалил пар вперемежку с дымом.

— Ты бы чем мужа хоронить вживе, за чугунок последила! — закричал Гладышев и, схватив ухват, сунулся в печку.

Афродита продолжала реветь, причитая, детским басом вторил ей голый Геракл.

На крик шаром вкатился Нинка Курзова.

— Чего это у вас? — спросила она, зыря по избе заплывшими глазками. — Ой, батюшки, Матвейч, живой. А я-то думаю, чего это Афросинья твоя голосит, уж не ты ли преставился. Ты же давеча жалился, что ноги на погоду крутит, и с лица бледный был. Меня еще Тайка пытается, чего, мол, Фроська у себя голосит, а я говорю, не иначе как Матвейч преставился.

— Уйди отсюда! — закричал Гладышев и двинулся к Нинке с ухватом. — Мы ишо поглядим, кто из нас преставился! — И поднял ухват над головой.

— Фулюган! — взвизгнула Нинка и, руками оберегая живот, задом вышибла дверь.

А там на гладышевский забор вся деревня опять навалилась в любопытном молчании.

— Ну чего там? — подступились к Курзовой бабы.

— Ой, бабы, и не пытайте! — замахала Нинка руками. — Наш огородник Фродиту свою учит ухватом, и мне чуть не попало, бьет прямо наотмашь.

— Эка невидаль, — сказала Тайка Горшкова. — Я-то думала и взаправду помер, а то ухватом.

— Чай его жена, так и поучить можно, — подтвердила и баба Дуня.

— Вестимо дело, жену кто ж не учит, — отозвалась продавщица Таисия.

Народ расходился разочарованно.

Но на другой день еще одна новость всколыхнула деревню: пропал Гладышев. Выписали полевой бригаде крупу и капусту, Шикалов приехал на склад полчать, а кладовщика нет. «Спит небось», — решил Шикалов и повернул лошадь к Гладышеву. А там Афродита в слезах. Ночью, говорит, Кузьма Матвейч ушел, скрылся в неизвестном никому направлении и записку оставил. Записку Афродита предьявила Шикалову. «Так сложились обстоятельства», — сообщал в записке ушедший, — что ухожу навсегда не от тебя, а из своей неудачной жизни. Лихом не поминай, а сына воспитай так, чтобы стал он преданным большевиком партии Ленина — Сталина наподобие Павла Корчагина, Сер-

гея Лазо и других равноценных героев. А если пойдет по научной части, то и мое дело, может быть, завершит, чего я не докончил. Засим остаюсь преданный вам с приветом, ваш покойный законный супруг Глазьев Кузьма».

Всей деревней обшарили соседний лесок, думали, может, где на суку удавился,— не нашли. Шикалов на лошади мотался к водяной мельнице (двенадцать километров вниз по течению Тепы), надеясь, что тело к запруде прибило, и то без толку. Вызвали из района уполномоченного, тот приехал не сразу и с большой неохотой. Составил акт и ругался, что, мол, в военное время, когда люди десятками тысяч гибнут за Родину, приходится еще всякими самоубийцами заниматься. Прошло еще несколько дней, и новые события заслонили собою такой незначительный факт, как смерть одного из рядовых колхозников.

*

Между тем в то же самое время, когда лейтенант Филиппов мучился, не зная, как быть, запрос Романа Гавриловича Лужина относительно личности Чонкина достиг той самой местности, где проживал наш герой до призыва на военную службу.

Работник тамошних органов, симпатичный молодой человек, похожий на лейтенанта Филиппова, завел казенный мотоциклет и поехал в ту самую деревню, где родился и вырос Чонкин. (К слову сказать, деревня называлась Чонкино и в ней был Чонкинский сельсовет.)

Председатель сельсовета, увидя предъявленную ему красную книжечку, был словоохотлив и без колебаний выразил готовность оказать необходимое содействие приезжему. Трудность этого дела состояла, однако, в том, что, как выразился председатель:

— У нас этих Чонкиных, как собак. Вся деревня сплошь, вы не поверите, все сплошь Чонкины. Между прочим, и я сам тоже Чонкин,— сказал председатель и протянул приезжему свое депутатское удостоверение.

— Да,— сказал приезжий, не поглядев,— но того Иваном зовут.

— У нас и Иванов полно. Меня, к примеру, тоже Иваном кличут,— сказал председатель и улыбнулся смущенно.

— Но я думаю,— настаивал на своем симпатичный молодой человек,— что Иванов Васильевич не так уж много.

— Да я бы не сказал, что и мало,— отвечал председателю сельсовета, все больше смущаясь.— Я вот как раз и Иван, и, извиняюсь, Васильевич.

Молодой человек думал уже вернуться к своему мотоциклету (он не собирался из-за какого-то неизвестного ему и неизвестно кому нужного Чонкина надрываться на работе), когда появилась секретарь сельсовета Ксения, тоже, к слову сказать, Чонкина.

Председатель велел ей поискать по бумагам нужного Чонкина.

— А чего там искать? — сказала Ксения.— Иван Васильевич? Красноармеец? Дак это же Ванька. Ну тот, который на лошади говны возил. Не помнишь? Да князь же.

— Точно, князь! — обрадовался председатель открытию.— Он самый и есть. И как же мне сразу в башку не влетело, что он самый, князь, и есть.

— Князь? — поднял брови приезжий.

— Ну, дразнили его так,— беспечно сказал председатель.— У нас, знаешь, в деревне языки без костей, кому чего на ум взбредет, то и болтают.

— А чего болтают,— возразила Ксения.— Хотя и деревня, а тоже народ живет не дурее других. Болтать зря не будут. Я-то Марьянку хорошо знала, мы с ней шабрами были и по людям сызмальства

работали, я помню, как этот князь, Голицын ему фамилие, был у нее на постое. Молоденький такой, волос кучерявый, темный, как сажа, а лицо белое.

— Молоденький, кучерявый,— передразнил председатель,— ты со свечкой не стояла и не знаешь, жил с ней молоденький кучерявый ай нет.

— Жил,— уверенно сказала Ксения, не приведя, впрочем, никаких доказательств. Просто эта версия на фоне обыденной скучной жизни казалась ей более заманчивой, чем другие. Ей хотелось доказать приезжему, что хотя деревня их с виду самая неприметная, не лучше других, а и в ней случались истории необыкновенные.

Версия эта вполне устроила и приезжего. Как-никак не зря трудился, тратил время и казенный бензин. Он не думал потом, как отразятся добытые им сведения на чьей-то судьбе. Он не знал, ни кто такой Чонкин, ни что он сделал, ни в чем его обвиняют, он не желал Чонкину ни зла, ни добра, но версия, предложенная секретарем сельсовета, казалась ему интересней возможных других, и, вернувшись в свою контору, он с удовольствием отбил шифровку: «Произведенной по Вашему запросу проверкой установлено, что Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, уроженец деревни Чонкино, происходит из князей Голицыных».

*

Подполковник Лужин не относился к числу людей, не умеющих владеть собой, но когда ему на стол положили это сообщение в расшифрованном виде, он сказал: «Ого!» — и заерзал в кресле. Потом он бегал по кабинету, потирал руки, щелкал зубами, бормотал: «Чудовищная удача!» — и опять бегал по кабинету, испытывая удивление, радость, восторг, то есть чувства, которые мог бы испытать рыбак, закинувший удочку на пескаря, а поймавший по крайней мере акулу.

— Чудовищная удача! — повторял он.— Чудовищная удача! И найти такое на ровном месте!

Впрочем, на ровном ли? Нет, он работал, он думал, он мог и не посылать никакого запроса, а вот послал же, значит, он почувствовал, что в деле Чонкина не хватает какого-то звена, может быть, важного. Значит, интуиция что-то ему подсказала, если он стал делать то, что мог сделать тот, кто ведет это дело, то есть Филиппов. И не только мог, но и должен был сделать Филиппов. А почему же не сделал? Молодость? Неопытность? Но ведь тут же никакой особенной премудрости нет, это же азы следственного дела, что, выясняя личность преступника, в любом случае надо послать запрос по прежнему месту жительства. Нет, что ни говори, сказал себе Лужин, странно ведет себя этот Филиппов, чудовищно странно. Сначала позволяет одному человеку захватить в плен целую группу, затем руководит следствием из рук вон плохо и непрофессионально, не проводя элементарных следственных действий, что позволяет преступнику выдавать себя за простого дезертира, хотя на самом деле он если и дезертир, то не такой уж простой.

И опять интуиция что-то подсказала Лужину, и он вдумался в ее неясное бормотание, когда принесли и положили ему на стол новую депешу:

«Весьма срочно, совершенно секретно.

Подполковнику Лужину.

Вчера ночью в районе Долгова службой радиоперехвата зафиксирован выход в эфир неопознанного передатчика, работающего на частоте 4750 килогерц. Начало передачи пропущено, остальное удалось записать и дешифровать, привожу полный текст, полученный в результате дешифровки: «...Русские через какого-то японца из Токио напали на мой след, но их сведения обо мне пока что слишком расплывчаты.

Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет, здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают намного эффективнее. Тем не менее постараюсь действовать с предельной осмотрительностью.

Курт».

Лужин смотрел на депешу, перечитывал текст и сам не мог поверить своему счастью. Бывает, конечно, человеку везет. Но чтобы удачи одна за другой, и такие...

«Чудовищный дурак,— думал Лужин о Курте.— Русские проявляют «крайнюю беспомощность и некомпетентность»... Сам ты некомпетентный, идиотина! Ну кто же так раскрывается с первого раза? Ведь о сообщении японца из Токио знал в Долгове только один человек, и вычислить его несложно даже для такого некомпетентного человека, как я».

Вызвав к себе начальника следственного отдела, Лужин приказал установить за предполагаемым Куртом круглосуточное наблюдение.

Затем отправил в Москву шифрограмму: «Указанный Рамзаем агент обнаружен и будет арестован в ближайшее время».

И в ответ получил телеграмму открытым текстом: «Молодец».

*

Покуда собирался народ, первый секретарь райкома Андрей Еремеевич Ревкин, не обращая внимания на общий галдеж, готовился к предстоящему заседанию. Иногда он нажимал кнопку звонка, и тут же бесшумно появлялась Анна Мартыновна. Ревкин только протягивал в сторону руку, как в ней оказывалась та самая нужная бумага, которую он и хотел.

Уже, кажется, все собрались, а заседание не началось. Ждали кого-то еще. Уже поговорили о болезнях, о погоде, о вреде табака, о пользе витаминов, о многом, что никого из присутствующих совершенно не волновало, но ничего не говорили о том, что их действительно беспокоило: о положении на фронте, о слухах относительно возможной отмены брони для некоторых должностей, о карточках и о том, чем вообще живут люди. Вдруг на пороге появилась Анна Мартыновна.

— Андрей Еремеевич! — сказала она взволнованно.

Андрей Еремеевич опрометью кинулся к двери, а остальные приникли к окнам. И все увидели, как к парадному входу райкома мягко подкатил, сверкая лаком, роскошный ЗИС-101. Это выглядело так, как если бы у причала мелкой речушки отшвартовался океанский лайнер. Подскочивший вовремя Ревкин распахнул переднюю дверцу, и навстречу ему, приветливо улыбаясь, вылез дородный мужчина в сером габардиновом плаще и в мягкой шляпе со слегка загнутыми вверх полями. Они трижды и почему-то взасос расцеловались, и при этом приехавший похлопал Ревкина по спине, а Ревкин, хотя и считался близким другом приехавшего, его по спине не похлопал, но сделал приглашающий жест рукой, после чего приезжий неторопливо поднялся на крыльцо. Члены бюро моментально отпрянули от окон и заняли свои места, и на лицах их возникли улыбки, обращенные к двери, как будто они ожидали, что сейчас войдет знаменитая киноактриса или просто очень красивая женщина. Но вошла не женщина, вошел тот человек, который приехал на ЗИС-101. Это был секретарь обкома товарищ Худобченко Петр Терентьевич. Улыбки собравшихся были обращены именно к нему, но не потому, что он пользовался уважением благода-

ря своим заслугам (о заслугах его мало кто чего знал), уважением пользовалась должность, которую он занимал. И если бы эту должность занимал какой-нибудь индюк или крокодил, то и ему улыбались бы точно так же, как улыбались Худобченко.

Как только Худобченко появился в дверях, все тут же с грохотом встали. Но Петр Терентьевич предупредительно поднял руку.

— Сидайте, товарищи,— сказал он на своем родном полуукраинском языке.

Тут же он снял с себя габардиновый плащ и шляпу и передал Ревкину, который повесил и то, и другое на свою личную вешалку. Худобченко остался в полувоенном костюме и в хромовых сапогах. Верхняя пуговица френча с накладными карманами была расстегнута, из-под нее выглядывал ворот украинской рубашки.

— Ну шо,— сказал он, приглаживая свои редкие волосы,— кажется, я немного опоздал?

— Начальство не опаздывает, а задерживается,— пошутил Ревкин.

Вопрос был задан в расчете на этот шутливый ответ и встречен, как всегда, благосклонной улыбкой Худобченко и одобрительным смехом в зале. Это повторялось каждый раз, когда Худобченко опаздывал, а опаздывал он всегда.

Он опаздывал не потому, что слишком много было дел (хотя их у него было немало), и не потому, что был неорганизован и не успевал, он опаздывал намеренно, полагая, что чем дольше подчиненные ждут, тем больше уважают.

— Петр Терентьевич, прошу,— пригласил его Ревкин на свое место за столом.

— Нет-нет,— поднял руку Худобченко,— ты здесь главный, ты и сиди. А я гость, я уж тут, в уголочку.

И он сел «в уголочку» у окна в мягкое кожаное кресло, которое там специально для него и стояло.

*

— Ну что ж, товарищи,— оглядев присутствующих, сказал Ревкин.— Начнем, пожалуй.

Закрыли двери, отключили все телефоны, и началось закрытое, то есть тайное от других, или, говоря иными словами, подпольное, заседание. Почему же закрытое, почему же подпольное, точно сказать не берусь, должно быть, такая сформировалась традиция. Как до революции партия заседала подпольно, так стала заседать и после.

Первым пунктом повестки дня был доклад Борисова «О ходе уборки зерновых».

И хотя все знали, что ввиду дождя никакого хода уборки несколько дней не было вовсе, Борисов прочел свой доклад с самым серьезным видом, и все с самым серьезным видом слушали.

Затем опять поднялся Ревкин и объявил, что слово для сообщения имеет товарищ Филиппов.

Товарищ Филиппов встал, одернул гимнастерку. Он слегка волновался. Первый раз в жизни выступал он перед такой ответственной аудиторией. Он слышал, что опытные ораторы, чтобы речь их была гладкой и убедительной, из массы слушателей выбирают какое-нибудь одно лицо и обращаются именно к нему одному. Филиппов так и сделал. Из всех сидевших перед ним он выбрал одного, которого раньше где-то встречал, и говорил теперь, обращаясь как бы только к нему.

Среди наиболее отсталой части населения, сказал Филиппов, ходят самые нелепые слухи, возможно, возбуждаемые и распространяемые скрытыми враждебными элементами.

К таковым относятся и слухи о так называемой банде Чонкина.

Лейтенант подтвердил, что такая банда действительно существовала, но она полностью разоблачена

и обезврежена, а сам Чонкин в ожидании справедливого и сурового суда сидит в тюрьме.

— Дело не в Чонкине,— объяснил лейтенант.— Я думаю, что здесь все коммунисты и все умеют держать язык за зубами. И я вам скажу по секрету: в нашем районе действует враг пострашнее Чонкина. Это некий Курт, личный агент немецкого обер-шпиона адмирала Канариса.

При слове «Курт» Ермолкин съехался. Он сразу вспомнил, что об этом Курте совсем недавно его спрашивал подполковник Лужин. Честными глазами Ермолкин устался на Филиппова, всем своим видом показывая, что к упомянутому Курту никакого отношения не имеет. Но лейтенант Филиппов, в свою очередь, пристально смотрел на Ермолкина. Ермолкин не выдержал и, выдавая себя с головой, отвел глаза и посмотрел на военкома Курдюмова. Курдюмов, решив, что Ермолкин подозревает его, посмотрел на лектора Неужелева, цепная реакция страха распространилась среди присутствующих, каждый из которых в реальности существования Курта не верил, но не имел никаких доказательств, что он и Курт не одно и то же лицо.

Впрочем, лейтенант Филиппов, кажется, никого конкретно все-таки не подозревал. Он только объяснил, что один шпион может нанести нашему государству урон больший, чем полк или даже дивизия, и попросил присутствующих проявлять максимальную бдительность, не разглашать государственных и военных тайн, присматриваться к окружающим и, если возникнут хоть малейшие сомнения или подозрения, немедленно обращаться с ними Куда Надо.

*

Среди людей, собравшихся в приемной, находился и председатель Голубев. Он сидел под дверью Ревкина на одном из сбитых в ряд стульев и, положив ученическую тетрадь на полевую сумку, составлял тезисы своих будущих ответов на всевозможные обвинения.

Поэту, который возьмется всесторонне воспеть нашу действительность, никак нельзя пройти мимо темы ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО.

Персональное дело — это такое дело, когда большой коллектив людей собирается в кучу, чтоб в порядке внутривидовой борьбы удушить одного из себе подобных сдуру, по злобе или же просто так.

Персональное дело — это как каменная лавина: если уж она на вас валится, вы можете объяснять ей все, что хотите, она пришибет.

Тут же рядом с Голубевым сидел пожилой учитель местной школы Шевчук, маленький человек с красными склеротическими прожилками на щеках. Он был в очках, в стеганых ватных бурках с галошами и в залатанной телогрейке, подпоясанный узким ремнем. На коленях он держал старый буденновский шлем, одно ухо которого было оторвано. Голубев Шевчука знал случайно, как-то познакомились в чайной.

— За что вас? — спросил Голубев.

— За язык,— сказал Шевчук и показал на него пальцем. Голубев думал, учитель расскажет, что именно случилось с его языком, но тот замолчал, уставясь в одну точку.

Тут же были еще два персональщика. Один, парт-орг из колхоза имени XVII партсъезда Коняев, и другой, Голубеву неизвестный. Первый обвинялся в том, что растратил партийную кассу, а второй кого-то изнасиловал. Эти оба сидели с отрешенными и напряженными лицами, ни с кем в разговор не вступая.

Первым вызвали Коняева. Он там пробыл недолго и вышел в приемную, крестясь как бы понарошке.

— Что тебе? — спросил Голубев.

— Выговор,— сказал Коняев.

— А разговаривали строго? — спросил Шевчук.

Коняев смерил его взглядом и ответил сквозь зубы:

— А я врагам народа не отвечаю.

Шевчук от растерянности съехался и замолчал. Вторым вышел тот, который насиловал. Он был по-разговорчивее.

— Не бойся,— сказал он Шевчуку, пряча партбилет в карман гимнастерки.— Там тоже люди сидят, не звери.

Выглянула секретарша:

— Шевчук, зайдите.

— Ой, батюшки! — восторженно Шевчук.

Он вскочил на ноги и уронил очки. Нагнулся, чтобы поднять, но потерял равновесие и наступил на них. Вконец растерявшись, он стал подбирать осколки.

— Товарищ Шевчук,— сказала секретарша,— оставьте, это и без вас уберут. И вы, товарищ Голубев, тоже можете зайти.

— Итак, товарищи,— сказал Ревкин,— нам осталось выслушать два персональных дела — товарищей Шевчука и Голубева. Товарищ Шевчук здесь?

— Здесь! — Шевчук вскочил.

— По этому делу докладчик у нас... товарищ Бабцова?

— Да,— сказала Бабцова, полная женщина в темно-синем жакете. Она была секретарем парторганизации в школе, где работал Шевчук.

Она вышла вперед к столу Ревкина и, стоя рядом с ним, зачитала историю преступления Шевчука.

22 июня, гуляя на свадьбе своей дочери и узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, Шевчук допустил политически незрелое высказывание. Коллеги на очередном партийном собрании просили Шевчука осознать свою ошибку и признать, что, хотя его высказывание, может быть, и не носило намеренно провокационного характера, объективно оно летит в воду на мельницу наших врагов. Надо сказать, что под давлением товарищей Шевчук несколько смягчил занятую им позицию. Но в основном продолжал упорствовать в своих заблуждениях, считая, что он все-таки ничего особенного, как он выразился, не сказал. Собрание вынесло решение об исключении т. Шевчука из рядов ВКП(б) и просит райком утвердить это решение.

— Все? — спросил Ревкин.

— Все,— сказала докладчица, складывая очки.

Помолчали. Было слышно, как скрипит перо секретарши, которая вела протокол. Ревкин подождал, пока она кончит писать, и повернулся к обвиняемому.

— Шевчук, вы хотели что-нибудь объяснить, дополнить?

— Да,— сказал Шевчук, еле двигая деревянными губами,— я... собственно говоря... полностью признавая допущенную ошибку, хочу тем не менее обратить внимание товарищей, что мое высказывание никакого враждебного умысла не содержало.

— Как это не содержало? — вскинулся Борисов.

— А что он сказал? — раздался голос с места.

— А ну-ка повтори, что ты сказал!

— Я, товарищи, когда услышал о нападении Германии...

— Фашистской Германии,— поправили его с места.

— Да-да, разумеется. Именно фашистской. Услышав об этом, я сказал: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И все.

— Ничего себе все,— покачал головой лектор Неужелев.

— Да уж,— согласился с ним сидевший рядом военком Курдюмов.

— Значит, ты считаешь, мало сказал? — спросил Борисов.— Побольше б надо было, а? — Он хитро подмигнул Шевчуку.

— Да что вы! — Шевчук прижал руку к груди. — Я не в этом смысле.

— Ну, не в этом, — не поверил Борисов. — Ты что же думаешь, дети тут собрались из детского сада? Нет, брат, тут все стреляные воробы, и нас на мякине не проведешь. И каждому из нас отлично понятно, что именно ты хотел сказать этими своими словами. Ты хотел сказать, что страна наша вступила в войну неподготовленной, ты хотел бросить тень на мудрую политику нашей партии и умалить личные заслуги товарища Сталина. А теперь будешь нам сказки рассказывать, он, мол, не в этом смысле.

— Между прочим, — подал реплику военком, — если не ошибаюсь, поговорка насчет Юрьева дня родилась во время введения полного крепостного права.

— Именно так, — подтвердил лектор Неужелев.

— Так вот ты еще на что намекнул, на то, что у нас, мол, еще крепостное право к тому же!

— Да нет... да я же...

— Товарищ Борисов, — вмешался Ревкин, — то,

что вы сказали, можно считать вашим выступлением?

— Да-да, — сказал Борисов.

— Товарищи, попрошу по порядку. Какие еще будут мнения?

— Разрешите мне, — поднялся прокурор Евпраксин. Устремив взгляд куда-то вдаль, он начал не торопясь: — Товарищи, всем известно, что наш строй самый гуманный строй в мире. Но наш гуманизм носит боевой, наступательный характер. И проявляется он не в слюнтяйстве и всепрощении, а в непримиримой борьбе со всеми проявлениями враждебных нам взглядов. Вот перед нами стоит сейчас жалкий человек, который что-то лепечет, и было бы естественным человеческим движением души пожалеть его, посочувствовать. Но ведь он нас не пожалел. Он Родину свою не пожалел. — Прокурор помолчал, подумал и продолжал с грустью: — Ну что ж, товарищи, не первый раз приходится отражать нам наскоки наших врагов. Мы победили белую армию, мы стояли в неравной схватке с Антантой, мы ликвидировали кулачество, разгромили банду троцкистов, мы



полны решимости выиграть битву с фашизмом, так неужели же мы не справимся еще и с Шевчуком?

В дальнем углу, с грохотом отодвинув стул, поднялся Вениамин Петрович Парнищев, директор элеватора. Это был огромного роста мужчина, широкоплечий, с вьющимися волосами, падавшими на лоб.

— Тут некоторые, я вижу, слишком торопятся, порют горячку. А речь, между прочим, идет не о чем-нибудь, а о судьбе человека. Че-ло-ве-ка! — по складам повторил Парнищев и потряс над головой указательным пальцем. — И решить эту судьбу, не разобравшись во всем, как положено, мы не имеем права. Вот я, товарищи, с этим человеком... как тебя?

— Шевчук, — напомнил учитель с готовностью.

— Так вот, с этим Шевчуком я лично вообще не знаком. Но тут я послушал все это дело, и вот чего я понять не могу. Ведь ты же, — обратился он к Шевчуку, — советский человек?

— Советский, — поспешно согласился Шевчук.

— Коммунист?

— Коммунист, — подтвердил Шевчук.

— Так как же ты мог это сделать? — громовым голосом спросил Парнищев.

— Что сделать? — робко спросил Шевчук. Он был явно растерян. Ему казалось, что Парнищев каким-то хитроумным способом стремится его защитить, и Шевчук хотел подыграть Парнищеву, но не знал как.

— Вот что, Шевчук, — продолжал Парнищев. — Ты совершил грязный и нехороший поступок. Так имей же мужество его признать, и я первый обниму тебя, как брата. — Расставив широко руки, Парнищев даже сделал шаг к Шевчуку, но тут же вернулся и сел на место. — У меня все, товарищи, — тихо сказал он.

Все молчали и смотрели на Шевчука. Шевчук, переступая с ноги на ногу, мял в руках выдавшую виды буденовку с одним ухом.

— Ну что ж, товарищи, — сказал Ревкин, — мы Шевчуку дали высказаться. Вы сами слышали, что он тут сказал. Он не хочет признать ошибочность своих высказываний...

— Хочу! Хочу! — чуть ли не рыдая, закричал Шевчук.



— Ах так! — удивился Ревкин. — Ну что ж, товарищи, послушаем.

Шевчук встал, подошел к столу и вцепился пальцами в сукно.

— Ну! — подбодрил его Ревкин.

— Товарищи! — неожиданно четко начал Шевчук. — Я совершил позорный для коммуниста поступок. В первый день войны, услышав поразившее меня сообщение, я смалодушничал, и у меня вырвались слова известной русской поговорки: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Это было ошибочным, политически незрелым выступлением. Я понимаю, что в конкретной обстановке некоторым товарищам мое выступление могло показаться враждебным...

— Что значит могло показаться? — перебил военком.

— То есть я хотел сказать, что объективно мое высказывание, может, и выглядит... но я не хотел...

— Он не хотел, — недоверчиво покачал головой Неужелев.

— Да уж, — сказал Курдюмов.

— Так вот что, Шевчук, — сказал Борисов как будто благожелательно. — Если уж стал признаваться, то не вилый. Здесь все свои, здесь слышали многое, и давай вали все как есть. А то хотел, не хотел. Мало ли кто чего хотел. Я, может, сейчас хотел бы с бабой на перине кувырнуться, а приходится вот с тобой тут возиться. А то еще хотел, не хотел. У нас вон за тобой еще какая очередь, а ты нам мозги мутишь. Начал говорить, так говори до конца: выступление мое было политически незрелым, клеветническим и объективно направлено против политики партии. Так?

— Так, — еле слышно подтвердил Шевчук.

— Ну вот, — повернулся Борисов к другим членам бюро, — вот видите, товарищи, Шевчук во всем признался. А тут еще некоторые сердобольные и добренькие находились, которые хотели ограничиться выговором. Какой тут выговор, товарищи, когда дело пахнет вражеской вылазкой, политической провокацией. И не мы должны Шевчуку заниматься, а, я прямо скажу, вон товарищ Филиппов.

Борисов сел. Шевчук продолжал стоять бледный как полотно. Он оглянулся на Парнищева, но тот обнимать его, как брата, не спешил.

— Ну ладно, — переглянувшись с Худобченко, тихо сказал Ревкин. — Вопрос насчет того, кого передавать товарищу Филиппову, мы с вами пока решать не будем, а Шевчука накажем нашей властью. Я думаю, что после всего сказанного правильно будет подтвердить решение собрания коммунистов школы об исключении Шевчука из партии. Другие мнения есть? Нет? Голосуем. Голосуют только члены бюро. Кто «за»? Кто «против»? Воздержавшихся нет? Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой?

— Шевчук, я вам говорю! — повысил голос Ревкин. — Положите билет на стол.

Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пельницами и чернильными приборами.

— Товарищ Шевчук! — закричал Ревкин. — Вы что делаете? Остановитесь!

Но на лице Шевчука появилось отрешенное и злобное выражение. Он продолжал пятиться, одновременно все более клонясь назад, а на губах его розоватыми пузырями вскипела пена. Кто-то вскочил на ноги. Кто-то, сидевший на другой стороне стола, ухватился за скатерть, пытаясь ее удержать. Скатерть треснула. Упал графин. Зазвенело стекло. И вдруг Шевчук с клоком сукна в руках, не подгибая колен, ровно, как столб, опрокинулся навзничь. Громко хрустнул затылок.

Члены бюро повскакали на ноги и, вытянув шеи, смотрели на распростертое жалкое тело. Шевчук лежал, держа перед собою двумя руками клочок сукна и буденовку, словно торговал ими.

— Кто-нибудь из медиков есть среди нас? — растерянно спросил Ревкин. — Раиса Семеновна!

Раиса Семеновна наклонилась над телом, и стоявшим сзади стали видны ее толстые ляжки, туго обтянутые резинками голубых трикотажных рейтуз.

— Пульса нет, — сказала Раиса Семеновна, с трудом разгибаясь.

*

Вечерело. Возвращаясь домой с работы, лейтенант Филиппов шел усталой походкой человека, обремененного государственными заботами.

После недавних дождей было тепло и влажно. Окна многих домов были распахнуты настежь, из-за них выносились на улицу звуки человеческой жизни.

За двумя окнами было особенно шумно — патефон во все горло распевал «Кукарачу», там танцевали. Перед этими окнами лейтенант Филиппов невольно задержался. Мелькали нарядные платья местных девиц и военная форма командиров временно расквартированной в городе артиллерийской части. «Что ж, — отечески подумал Филиппов, — пусть люди повеселятся». Облокотившись на острые верхушки штакетника, он смотрел в эти открытые окна, и вдруг пронзила его внезапная зависть к этой чужой мимолетной жизни, которая была ему недоступна.

В такт музыке раскачивались пары. В папиросном дыму они медленно плыли, словно рыбы в аквариуме. На офицерах сверкали ремни новеньких портупей. И лейтенанту вдруг ужасно захотелось быть таким же, как эти парни, прямым и открытым, не наводить ужас на других и самому не бояться, танцевать с потной упругой девкой, целоваться где-нибудь в темных сенях, натываясь на коромысла и ведра, а потом с искусанными губами уйти и пусть даже погибнуть за Родину, за Сталина, за эту девку или совсем ни за что. «Что это я? — спохватился он мысленно. — Откуда у меня такие настроения? Да, нас не любят. Да, нас боятся. Но ведь кому-то же надо все это делать», — уговаривал он сам себя, в глубине души подозревая, что как раз именно этого не надо бы делать никогда никому.

Неохотно оторвался он от чужого забора, от чужого хмельного веселья и пошел дальше.

*

Печаль перешла в тревогу. Лейтенанту вдруг показалось... нет, не вдруг, а как-то постепенно проникало в него и усиливалось ощущение, что за ним кто-то следит.

«Это просто какая-то чушь, — сказал он себе, испытывая непреодолимое желание оглянуться, но не поддаваясь ему. — Никто не посмеет за мной следить. Со мною что-то творится, — подумал он. — Похоже, что я заболел».

Да, это не впервые ему казалось, что за ним следят. То есть бывало по-разному. Иногда, наоборот, казалось, что все его очень любят. Особенно после того, как стал лейтенант начальником Тех, Кому Надо, на каждом углу встречался он с проявлением народной любви.

В общем, дела у лейтенанта шли как будто неплохо. И начальником он стал, и на бюро райкома его хвалили, и все его любят...

Все, да не все. Роман Гаврилович Лужин явно к нему придирался. То с делом Чонкина, то Курта какого-то выдумал. «Приказываю... в пятидневный срок...» Приказывать-то легче всего. А где его искать, этого Курта, и по каким приметам?

Может, из-за этих мелких неприятностей и развилось у него что-то вроде мании преследования. Где бы он ни был — на работе, на улице, дома, — все ему казалось: кто-то неотрывно за ним наблюдает.

Дома доходило иногда до невозможного. Даже его родная тетка Пелагея Васильевна, или попросту тетя Поля, замечала, что с ним творится неладное. Бывало, за ужином он вдруг вздрагивал, поднимал голову, смотрел на дверь и неуверенно говорил тетке:

— Кажется, кто-то стучал.

— Да ты что? — удивлялась тетка. — Тебе померещилось.

Он ей не верил. Он подходил на цыпочках к двери, прислушивался, а потом рывком распахивал ее. Никого там, конечно, не было. Тетя Поля все замечала.

— И кого ты боишься? — спрашивала она. — Ведь во всем районе никого нет страшнее тебя.

Ах, эта тетя Поля! Она вырастила его и воспитала. Она любила его. Но с тех пор, как он стал служить Там, Где Надо, она изменила к нему отношение и, несмотря на свое пролетарское происхождение, превратилась в ужасную контру. Она говорила, что жизнь при царе была гораздо дешевле, и подсчитывала, сколько стоили тогда фунт масла или голова сахара, но из всех цен почему-то запомнил только, что ситец стоил восемь копеек аршин.

— Вы, тетя, — укорял он ее, — все назад смотрите, а надо смотреть вперед.

— Да ты, я вижу, догляделся, — усмехалась тетка, — что и под лавку зыркаешь — никто ль не сидит.

Иной раз она вдруг спрашивала с невинным видом: — Ну что? Сколько замордовали народу за текущий отчетный период?

— Да тише вы! — шипел он на нее и оглядывался. А потом, вздыхая, сокрушенно качал головой. — Не наши у вас взгляды, тетя.

— Да уж не ваши! — соглашалась она охотно.

Почему допускал он в собственном доме подобные разговоры? Почему иногда начинал даже оправдываться?

— Вы же знаете, тетя, что я туда попал случайно, — говорил он, но тетка не верила.

— Случайно туда, знаешь, как попадают: вот так! — И тетка красноречиво делала «руки назад».

*

Дома взволнованная тетя Поля сказала лейтенанту, что его ищут. Прибегал посыльный, передал, что приехал подполковник Лужин с каким-то майором, они ждут Филиппова у него в кабинете.

Лужина он застал за своим столом. При свете настольной лампы голова Романа Гавриловича выглядела более уродливой, чем обычно.

Незнакомый майор, сцепив на колене руки, сидел у стены. Оба внимательно смотрели на вошедшего. Потом Лужин встал и медленными шагами приблизился.

— Ну здравствуй, Курт, — сказал он и, подпрыгнув, залепил Филиппову такую оплеуху, от которой тот рухнул на пол.

Уже к вечеру следующего дня бывший лейтенант Филиппов, похудевший и обросший бородой (известно, что у покойников и арестантов борода растет очень быстро), давал нужные показания...

Часть вторая

*

Чонкин спал на полу у дверей, привалившись щекою к параше, когда его растолкали, поставили на ноги. Он потряс головой, пришел в себя и удивился. В камере одновременно толклись человек шесть вер-

тухаев, и во главе их сам начальник тюрьмы старший лейтенант Курятников, маленький, коренастый, с бабым рябым лицом. Все они, в том числе и Курятников, были чем-то как будто взволнованы, смотрели на Чонкина с любопытством, но в то же время и с робостью.

На нарах народ заворочался, кто-то спросил, что происходит.

— Чонкина уводят, — сказал Штык с некоторым удивлением.

— А для чего столько народу?

— А кто его знает?

Тут послышался голос Манюня:

— Раз за одним столько народу прислали, значит, на расстрел.

— Как же на расстрел? — сказал Штык. — Ведь суда-то не было.

— А никакого суда и не нужно, — рассуждал Манюня. — Закон военного времени.

Чонкина от этих слов передернуло, хотя он и не мог представить себе, что вот сейчас прямо его выведут и расстреляют. Да и вертухаи во главе с начальником тюрьмы выглядели совсем обыденно. Начальник тюрьмы лично поднял шинель, отряхнул и, развернув, подал Чонкину, как подают швейцары.

— А сколько время? — спросил Чонкин, тыча и не полаядая рукою в рукав.

Ему не ответили. Курятников, отступив назад, смотрел Чонкина придиричивым оком.

— Конечно, побрить его надо бы, — сказал он озабоченно, — да ладно.

— Слыхал, Манюня! — крикнул Штык. — Побрить, говорит, надо. А ты — на расстрел.

— А как же, — отозвался Манюня. — Как же небритого-то расстреливать? Не положено. Если больной, вылетат, если небритый, побреют.

— Молчать! — взвизгнул Курятников. — Еще одно слово услышу и...

Тут из-за параша поднялся профессор Цинубель и, подойдя к Чонкину, протянул руку.

— Прощайте, Чонкин, — сказал он сердечно. — Не робейте. Учитесь выдержке у Ильича. Помните...

Что именно помнить, Чонкин выслушать не успел, его вывели из камеры.

Тесной толпой прошли по коридору, затем через двор, к проходной. Возле тумбочки с наганом на боку стоял дежурный.

— Машина не пришла? — спросил начальник тюрьмы.

— Сломалась, — ответил дежурный.

— Ладно, пойдем так.

Начальник расписался в какой-то лежавшей на тумбочке книге, после чего Чонкина вывели за ворота и повели через площадь. Было темно, холодно, шел мелкий дождь.

— Сколько время? — опять спросил Чонкин, и ему опять не ответили.

Подошли к какой-то глухой двери, позвонили, она распахнулась, и стоявший за нею человек прижался к стенке, пропуская пришедших.

Вскоре очутились в знакомой Чонкину приемной лейтенанта Филиппова.

— Подождите, — сказал Курятников и, робко постучавшись, сунул голову в дверь. — Разрешите ввести?

— Введите, — донесся ответ.

*

В комнате, которую Чонкин знал как кабинет лейтенанта Филиппова, горела яркая лампочка. Но за столом был не Филиппов, а незнакомый майор в новенькой гимнастерке, переkreщенной сверкающими ремнями. Другой незнакомец, с большой бритой головой

и в очках с толстыми стеклами сидел на стуле у стены. Шинель с меховым воротником (таких шинелей Чонкин прежде не видывал) была расстегнута, руки сцеплены на животе, ноги болтались, не доставая до пола. На соседнем стуле лежала фуражка с высокой тульей и брошенные поверх нее белые перчатки.

Курятников строевым шагом приблизился к бритоголовому, поднес руку к виску и визгливо закричал:

— Товарищ полковник, подследственный Чонкин по вашему приказанию доставлен.

«Ишь ты! — подумал Чонкин. — Полковник!»

— Выйдите и подождите за дверью, — не меняя позы, приказал полковник.

Курятников и конвойные вышли.

Полковник и майор каждый со своего места внимательно разглядывали Чонкина, а он стоял посреди комнаты, не зная, куда деть руки.

Вдруг полковник спрыгнул со стула и стал быстро бегать вокруг Чонкина, наклоняясь при этом, как мотоцикл.

— Вы, — мелькая перед глазами, бормотал полковник, — ожидали увидеть не нас, а Курта. Но его нет. Увы. Он чудовищно занят. Он дает показания. Весьма ценные между тем. И вам я тоже. Настоятельно рекомендую. Тем более, что нам. Все, все известно.

Он прекратил кружение так же неожиданно, как начал, вернулся к своему стулу, сел и принял прежнюю позу.

Заговорил майор. Он говорил медленно и бесстрастно:

— Ну вот что, милейший. Как вы только что слышали, Курт арестован, дает показания, и нам уже многое известно. Но необходимо кое-что уточнить. Своих противников мы умеем уважать. Вы долго и ловко водили нас за нос, играя роль Иванушки-дурачка. Ну что ж, играли великолепно, ничего не скажешь, но теперь как умный человек вы должны признать, что игра окончена.

— Точно сказано, — одобрил полковник и снова спрыгнул со стула. — Ваша карта бита, князь! — сказал он как в театре и откинул в сторону руку.

Чонкин вздрогнул. Он не думал, что его давнишняя кличка может быть известна этим людям.

— Я же говорю, — переглянувшись с полковником, усмехнулся майор, — нам все известно. Так что уж лучше сразу начистоту.

— Да, сразу начистоту, — приблизился полковник. — Для вашего же блага прошу вас очень. Итак, кто послал вас в деревню Красное?

— В деревню Красное? — переспросил Чонкин.

— Да, да. — Полковник нетерпеливо защелкал зубами. — В деревню Красное кто вас послал?

— Меня? — уточнил Чонкин и ткнул пальцем в грудь.

— Да, вас. Именно вас. В деревню Красное кто?

— Так ведь этот, — сказал Чонкин, надеясь, что полковнику действительно все известно. — Ну, старшина, ну, Песков.

— Песков? — недоверчиво повторил полковник. — Старшина? А Антон Иванович что говорил?

— Антон? — переспросил Чонкин. — Иванович?

— Я имею в виду Деникина, — подсказал полковник.

— Дикина? — Чонкин напряг память. — Может, Жикина? Это который на колесиках ездит?

— На чем? На колесиках? — переспросил полковник. — Ах, на колесиках?

Он сделал короткий выпад и ткнул Чонкина кулаком в живот. Чонкин открыл рот, пытаясь втянуть в себя воздух, и даже произнес какой-то звук вроде «а-а», но воздух не втягивался. С выпученными глазами Чонкин рухнул на колени, и только после этого воздух толчками стал пробиваться в легкие.

— Крепкий орешек, — потирая ушибленную руку, задумчиво сказал полковник.

— Да, — согласился майор, — с этим придется потрудиться.

✱

В тот дождливый месяц у Ревкина было много неприятностей. Полторы недели в районе работала специальная комиссия, которая затем составила секретный доклад «О некоторых недостатках в работе партийной организации Долговского района».

Комиссия пришла к выводу, что положение сложилось крайне нездоровое, мириться с этим нельзя, и предлагала немедленно покончить с благодушием, головотяпством и ротозейством, повысить бдительность, усилить политико-массовую и воспитательную работу и произвести кадровые изменения в руководстве районом.

Кадровые изменения в первую очередь были произведены Там, Где Надо. Лейтенант Филиппов, как известно, был арестован. Правда, уже через несколько дней за подписью Курта была перехвачена новая радиограмма, в которой сообщалось об аресте Филиппова. Эта радиограмма была совсем ни к чему. Она путала всю картину. Блестяще проведенная операция по выявлению, разоблачению и обезвреживанию Курта была отмечена благодарностями и орденами, присвоением новых званий. (При этом подполковник Лужин стал полковником.) Признать, что вместо Курта арестован кто-то другой, — значит отменить все эти награды и новые звания... Нет, это было никак невозможно. Поэтому на перехваченной шифровке наложена была резолюция:

«Это радиоигра. Противник надеется ввести нас в заблуждение. Приказываю: радиogramмы за подписью «Курт» игнорировать, а слежение за эфиром на данном участке прекратить».

На место лейтенанта Филиппова прибыл опытный специалист в данной области майор Федот Федотович Фигурин, который с первого дня повел себя весьма странно.

Приступая к исполнению своих обязанностей, Федот Федотович даже и не подумал представиться первому секретарю райкома. Это было что-то невероятное. Обычно таких начальников привозили областной начальник и секретарь обкома, если не первый, то хотя бы второй, и представляли районному партийному руководителю. Более того, новый начальник начал изучать положение на месте именно с беседы с секретарем райкома. Этот же не только не был кем-то представлен, но и сам не выражал никакого стремления встретиться. Ревкину такое поведение нового начальника показалось до чрезвычайности странным. Но не набиваться же самому на встречу! Ведь не Фигурин, а он, Ревкин, пока что главный человек в районе.

Вот именно что пока...

Однажды утром, просматривая за чаем местную газету, Ревкин нашел в ней на третьей странице подвал, крупно озаглавленный «Подвиг капитана Миляги». В очерке смутно рассказывалось о том, что, как известно, некоторое время тому назад на территории района орудовала банда (чья банда, не указывалось). На ликвидацию банды был брошен оперативный отряд под командованием капитана Миляги. Миляга был коварно захвачен в плен. Его пытали, на его спине вырезали звезду, глотку его заливали расплавленным свинцом, но враги так и не услышали от героя того, чего хотели. «Да здравствует Сталин!» — были последние слова героического капитана. Автор очерка даже и не потрудился объяснить, как можно кричать что-то с глоткой, залитой свинцом.

Ревкин не поверил своим глазам. Он позвал Аглаю.

— Это ж полная ложь! — сказал он ей.

— И к тому же вредная ложь, — согласилась Аглая.

Ревкин позвонил Ермолкину, но того не оказалось ни дома, ни на работе. В тот же день Ревкин собрал бюро райкома. Нашли и привели пытавшегося скрыться Ермолкина, у которого даже щеки тряслись от страха. На бюро Ревкин подверг очерк резкой критике. Он сказал, что такой очерк печатать было никак нельзя, потому что всем известно, как на самом деле погиб капитан Миляга.

— Конечно, — сказал Ревкин, — наша партийная печать должна излагать события в нужном нам свете. Но тебе, Ермолкин, следовало подумать, стоит ли изображать героем изменника Родины. Своим очерком ты только дискредитируешь нашу газету и всю нашу печать в целом. Это ж спроси на улице любого колхозника, и каждый скажет тебе, как погиб капитан Миляга. Для чего же ты печатаешь такую ложь? Сам ты это придумал или тебе кто поручил?

Ермолкин стоял, вытянув руки по швам, и мелко дрожал. Слышно было, как стучат его зубы. Видя его растерянность, Ревкин решил наступать дальше.

— Я тебя спрашиваю, Ермолкин, — сказал он уже более определенно. — Кто тебе дал задание дискредитировать нашу печать?

— Да, я... собственно... — залепетал Ермолкин едва слышно, — Федот Федотович мне сказал... — Тут он прикусил язык и оглянулся на Борисова.

Ревкин понял, что Ермолкину и тем, кто стоит за его спиной, пора показать характер.

— Так вот что, любезный, — сказал он, четко выговаривая каждое слово, — и никаких Федотов Федотовичей я лично пока не знаю. И газета наша «Большевикские темпы» — орган не Федота Федотовича, а райкома партии, и прошу это крепко зарубить себе на носу. А пока что я отстраняю вас от работы и возбуждаю против вас персональное дело. — Называя Ермолкина на «вы», он как бы переводил его за ту черту, за которой с человеком говорят уже не как с товарищем, а как с врагом.

— Ну и ну! — сказал вдруг Борисов.

— Товарищ Борисов, вы что-то хотели сказать?

— Да, скажу. — Борисов поднялся и заговорил не спеша: — Я тут, Андрей Еремеевич, кое-что недопонял. Я как-то думал, что бюро у нас коллективный орган, а вы товарища Ермолкина вроде как сами отстраняете от работы и сами возбуждаете персональное дело. Так вот мне не очень понятно, зачем мы-то сюда собрались? Это — первое. А второе, чего я недопонял, так это вот вашего отношения к погибшему капитану Миляге. Вы помните, здесь орудовала прямо, можно сказать, у нас на глазах банда Чонкина. И в этих условиях, когда нашим партийным, можно сказать, долгом является противопоставить подобным бандам наши органы, в этих условиях я не могу понять, для чего первому секретарю райкома партии нужно, чтобы работники органов в глазах населения выглядели предателями и изменниками.

Ревкин хорошо знал Борисова и понимал, что тот никогда не решился бы идти против мнения своего начальства. Если сейчас он это делает, то не иначе, как с чьего-то одобрения. Ревкин прекратил прения и в расстроенных чувствах уехал домой. Аглая, не ожидавшая увидеть его в столь раннее время, удивилась:

— Ты что, заболел?

— Нет, — сказал Ревкин и, уйдя к себе в комнату, заперся изнутри.

Приникнув к замочной скважине, Аглая видела, как ее муж, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходит из угла в угол по комнате. Время от времени он освобождал руки, чтобы погрозить кулаком кому-то.

— Ничего, — провозглашал он, размахивая кулаком. — Вы не на того напали! Я тоже кусаться умею! Я вам еще покажу!

Петр Терентьевич Худобченко жил недалеко от обкома, в старинном особняке, обнесенном каменным забором и охраняемом специальным нарядом милиции. Оставив машину возле зеленых ворот, Ревкин прошел через проходную. Его здесь знали и пропустили. Не спросил документов и швейцар, дежуривший у парадного входа.

— Они обедают, — сказал швейцар и улыбнулся Ревкину, как своему.

— Андрюшка! — услышал Ревкин радостный голос.

Он поднял глаза и увидел жену Худобченко, смазливую и упитанную дамочку, которую официально звали Парасковья Никитовна, а в узком кругу своих просто Параска. Она стояла на верхней ступени мраморной лестницы.

— Заходи, заходи, — сказала она. — А мы як раз обидать собирались. Скидай свий макинтош и поний у столовку, там твий дружок сидит, ковыряе у носи.

Подождав, пока Ревкин поднимется, она провела его в помещение, которое называла столовкой. Это был большой зал с узорным паркетом, дорогими люстрами и гардинами. У окон стояли в кадках фикусы и пальмы, на стенах висели охотничьи пейзажи и среди них портреты Ленина и Сталина. Хозяин дома сидел за огромным столом, предназначенным, очевидно, для больших приемов, и потому сам казался маленьким.

— О, кого я вижу! — обрадовался он. — Ну, Параска, теперь никуда не денешься, ставь горилку.

Выпили и закусили, и только после этого Ревкин решил поделиться своими неприятностями.

— Понимаю. — Худобченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. — История, шо и говорить, неприятная. Ну а для чего ж ты это делал?

— Что делал? — не понял Ревкин.

— Ну это вот... дискредитировал?

— Петр Терентьевич, — сказал Ревкин, — мне сейчас не до шуток.

— Та я ж разве шуткую. Я тебя серьезно спрашиваю, зачем ты это делал?

Ревкин попробовал зайти с другой стороны:

— Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь?

— Ну, знаю, — согласился Худобченко, но, как показалось Ревкину, не очень уверенно. — Водку пили, на рыбалку издыли.

— Но ведь ты же меня знаешь с двадцать пятого года.

— Ну хорошо, признаю, знаю с двадцать пятого года. Но поверхностно.

— Поверхностно? — переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза.

— А рекомендацию в партию не ты мне давал?

— Ну, это шантаж! — вырвалось у Парасковьи Никитовны.

— А ты помолчи! — цыкнул на нее Худобченко. — Тут мужеский разговор. Насчет шантажа не знаю, а шо до рекомендации, ну давал. Ну и шо? Я ж тоже человек, могу и ошибиться. Може, Ленин Троцкому давал рекомендацию, откуда я знаю.

— Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь?

— Та не, это я к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый...

— Почему был? — закричал Ревкин почти в ужасе. — Я еще, кажется, не умер.

— Та ну тебя, — махнул рукой Худобченко. — Ты, я вижу, еще и демагог хороший. Был, не был, я же тебе не про то, а про то, шо если органы в тебе

сомневаются, так, может, они тебя лучше знают, у них, может, есть основания.

Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться.

— Так,— сказал он горько,— вот ты, оказывается, какой. А я еще считал тебя другом. Ну что ж, я вижу, мне здесь делать нечего.

Худобченко ничего не ответил. Он сидел напыжвшись, не глядя на Ревкина, и лицо его было красным. Параска стояла в дверях, скрестив руки на своей пышной груди.

— Ну, я пойду,— сказал Ревкин со смутной надеждой, что его остановят.

Худобченко промолчал, а Параска отступила, освобождая дорогу.

— Я пошел,— еще раз сказал Ревкин.

И опять ему никто не ответил. Он спустился вниз, выхватил из рук швейцара плащ и выскочил наружу.

*

Худобченко все еще сидел, подперев голову руками. Потом схватил графин, налил себе полный стакан и выпил залпом.

— Ты шо! — сказала Параска с упреком. — Тебе ж нельзя столько.

— А! — махнул рукой Худобченко. — Такого друга потерял,— сказал он и заплакал.

Параска подошла к нему сзади, обвила его жилистую шею своими пухлыми руками.

— Петро,— взволнованно сказала она,— ну шо ж робыты. На войне ж тоже люди гибнут.

— Да,— кивнул он, утирая слезы,— на войне тоже. Эх, Параска! — Он привлек ее к себе и усадил на колени. — Давай-ка заспиваем нашу любимую.

Параска подняла голову и, глядя куда-то в угол под потолок, звонким своим голосом затянула:

**Ихав козак на ви́нно-о́ньку,
Казав: «Прощай, дивчи́но-о́ньку!»**

И разомлевший Петро Терентьевич, постукивая в лад рукой по столу, стал подтягивать ей вполголоса:

**Прощай, дивчи́но, черна бровы́на,
Ийду в чу́жу стороно́ньку.**

Чем дальше, тем больше вздувались жилы на шее Параски, и тем больше краснело ее лицо, и на более высокой и пронзительной ноте брала она следующий куплет песни, и казалось, сейчас сорвется и даст петуха, но не срывалась. А он меланхолично вторил ей своим тихим, задумчивым басом. И тому, кто слушал бы их со стороны, могло показаться, что в их песне вопреки словам и мелодии есть что-то подпольное, что-то незаконное и что им, закрывшимся в своей скорлупе, враждебен весь мир и они всему миру враждебны.

**Дай мне, дивчи́но, хусты́ну,
Я десь у поли загы́-ыну...
Темною ночно́ю закры́ють очи,
Тай похва́ють в моги́ли...**

*

После того, как выяснилось высокое происхождение Чонкина, дело его вышло из разряда обыкновенных текущих дел, то есть таких, по которым можно принять любое решение. Оно стало делом особой важности или, уж если говорить с наибольшей точностью, делом особой государственной важности и было направлено «наверх», потому что хотя внизу все понимали или по крайней мере догадывались, что надо с этим Чонкиным делать, однако, чтобы не рисковать, ожидали официальных указаний. До получения указаний нижнее начальство проявляло некоторую нерешительность, что нашло отражение в следственных

документах и других материалах, связанных с этим делом, где Чонкин именуется и просто Чонкин и «так называемый Чонкин», а в некоторых случаях даже Белочонкин. Впрочем, уже и в этих документах мелькают иногда двойные фамилии Чонкин-Голицын и Голицын-Чонкин.

Так вот, дело Чонкина было отправлено «наверх» и шло по инстанциям, а тем временем майор Фигурин, пользуясь возникшей паузой, решил немедленно восстановить репутацию органов, пошатнувшуюся в результате неосмотрительной (скажем так) гибели капитана Миляги. С этой целью майор не только добился помещения в газете очерка о подвиге покойного капитана, но решил провести и другое важнейшее политическое мероприятие — захоронить останки героя публично и с подобающими почестями.

Однако при осуществлении этой операции возникло несколько необычное затруднение.

Похороны от других торжественных церемоний отличаются тем, что в них участвует хотя бы один покойник. А тут вся загвоздка состояла в том, что как раз покойника-то и не было. Было известно только, что капитан погиб под деревней Красное, но где в точности и вообще зарыл ли он в землю или валяется просто так, никто толком не знал.

Для обнаружения останков героя майор направил поисковую группу из шести человек во главе с сержантом Свинцовым, которому было приказано провести операцию в глубокой тайне, не привлекая к ней внимание местного населения.

*

Дело было к вечеру. Плечевой возвращался из Долгова, куда ходил по каким-то своим делам, когда увидел странную картину. Какие-то люди бродили по полю, словно чего-то искали. Они то расходились в разные стороны, то сходились в кучу и что-то обсуждали, и опять расходились. Движимый любопытством, Плечевой направился к ним. Люди, бродившие по полю, заметив Плечевого, повели себя еще более странно — построились в колонну по одному и стали отступать к лесу. Плечевой нагнал их возле самой опушки.

— Здорово, мужики,— сказал Плечевой громко.

Те продолжали идти не отвечая.

— Эй! — Плечевой тронул крайнего за рукав. — Прикурить не найдется?

— Нет,— буркнул тот и повернул к Плечевому злое лицо.

— Ого! — удивился Плечевой, узнав Свинцова. — А я думаю, кто бы это мог быть. Ловите, что ль, кого?

Свинцов не ответил, но остановился. Остановилась и вся компания. Рассредоточились и стали обступать Плечевого.

— Вы чего это, ребята, чего? — испугался Плечевой, пятясь назад. — Я ж так просто, я ж ничего,— бормотал он, внимательно следя за Свинцовым, который, отвернув полу плаща, сунул руку в карман и теперь медленно тащил ее обратно.

Свинцов резко дернул рукой. Плечевой вздрогнул.

— На, прикуривай,— сказал Свинцов, протягивая спички.

— Ух, напужал! — признался Плечевой. — Да у меня-то ведь и табачку тоже нет.

Свинцов переглянулся со своими, усмехнулся, достал мятую пачку «Звездочки», вытащил корявыми пальцами две папиросы, одну протянул Плечевому.

— Кури.

Задымили. Свинцов, прикрывая ладонью папиросу, пыхтел, поглядывая на Плечевого, как бы колеблясь, спросить или не спросить. Наконец решился.

— Ты это вот что... — сказал он вроде просто из

любопытства.— Упокойника тут какого не встречал часом?

— Упокойника? — не очень удивившись, переспросил Плечевой.— Да не, вроде как не встречал. А что — убер?

— Кто?

— Ну этот же, упокойник.

Свинцов посмотрел на него прищурясь.

— Ты что дурочку городишь? Как же упокойник может убежать?

— Ну я и сам думаю своей головой, что не может. Наших-то упокойников мы обыкновенно в землю кладем, они не бегают. А этот... ты ж сам говоришь, не встречал ли?

Свинцов задумался.

— Ты это вот что... — начал он неуверенно с той же фразы.— У меня к тебе одно дело есть. Но если кому проболтаешься... — Он поднес к носу Плечевого кулак.

— Да ты что! — решительно возразил Плечевой, отстраняя кулак.— Чтоб я кому сказал! Могила!

— Ну гляди.— Приблизив лицо к Плечевому, Свинцов понизил голос.— Помнишь, у нас капитан был?

— Ну?

— Его ищем.

— Воскрес? — просто спросил Плечевой, опять-таки не удивляясь.

— При чем тут воскрес? — поморщился Свинцов.— Тело его ищем. Где-то он здесь захоронен. Не видал?

— Тела не видал,— сказал Плечевой.— А кости попадались. За тем бугром возле деревни пашня. За пашней канава, и там, в канаве, кости.

— Человечки? — оживился Свинцов.

— Какие, врать не буду, не знаю, но есть. Там, значит, как на бугор подымешься, да, там пашня. Правда, там сейчас, пожалуй, размокло. Да, однако, обратно же, не потопнешь. Вспахано-то неглыбоко, я сам под зябь пахал, да. В прежние-то времена, конечно, пахали поглыбже, поскольку земля своя. Теперича все колхозное. Теперича хочь так паши, хочь эдак, плата одна — вот.— Плечевой скрутил и показал Свинцову огромную дулю с далеко продвинутым большим пальцем.

— Что, колхозная система не ндравится? — бдително спохватился Свинцов.

— Политики касаться не будем,— уклонился от прямого ответа Плечевой.— А что до костей, так они как раз у той канаве и лежат; чистые, гладкие, воронами обклеванные, прямо хоть щас в музей. Вам небось для музея?

— Чего для музея?

— Да кости же.

— Да они нам вовсе и не нужны.— Вспомнив о секретности полученного задания, Свинцов решил напустить туману.

— А для чего ж спрашивал? — удивился Плечевой.

— А так просто, из интереса. А ежели ты кому скажешь, что костями интересовались, башку снесем, понял?

— Чего ж тут не понять, дело простое,— подтвердил Плечевой.

Плечевого отпустили, но брать кости сразу не решились — были слишком близко к деревне. Решили дождаться в лесу темноты.

✱

— Капитолина, я вас прошу сегодня задержать,— сказал майор Фигурин своей секретарше.— Очень много дел. Нужно подготовиться к завтрашнему дню. Я сейчас ненадолго уйду, а вы побудьте. Если

позвонят из области, я — в клубе. Когда вернется Свинцов, пусть меня подождет.

— Хорошо,— сказала Капа.

В Доме культуры железнодорожников шли последние приготовления к торжественной церемонии. На сцене плотник Кузьма обивал красной материей гроб, стоявший на двух табуретках. Его работой руководили секретарь райкома Борисов, предрайисполкома Самодуров и редактор Ермолкин.

В глубине сцены расхаживал какой-то человек с блокнотом. Он размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и потом что-то записывал огрызком карандаша.

В углу сцены художник Геннадий Шутейников, наколов на фанеру лист ватмана, заканчивал портрет Афанасия Миляги, который по клеточкам срисовывал с маленькой паспортной фотокарточки. Карточка тоже была наколота на фанеру рядом с ватманом.

— Ну-ка, ну-ка.— Фигурин вгляделся в карточку, затем отошел подальше, чтобы сравнить с ней портрет.— Вы считаете, похож? — спросил он художника, в почтительной позе стоявшего рядом со своим творением.— У меня такое ощущение, что этот портрет напоминает мне кого-то другого.

— Вполне возможно,— сказал художник.— Карточка очень маленькая. А я обычно к праздникам рисую товарища Сталина. И знаете ли, рука сама...

— Что значит сама? — нахмурился Фигурин.— Рукой вот что должно руководить.— И он постучал себя пальцем по лбу.— Так что вы уж немного облик его, пожалуйста, измените.

— Да, но я боюсь, тогда он совсем не будет на себя похож.

— Это не важно,— сказал Фигурин.— Важно, чтобы он не был похож на того, на кого он сейчас похож. Вы меня поняли?

— Да-да.

— И вообще, вы знаете, я лично не был знаком с капитаном. Но я слышал, он был жизнерадостен, любил улыбаться, вот и сделайте ему улыбку.

— Неудобно как-то,— робко возразил художник.— Все-таки мертвый.

— Да, мертвый. Но в памяти нашей он должен оставаться живым. Вы меня понимаете, живым,— повторил Фигурин и улыбнулся печально.

Он отошел от портрета, и тут путь ему преградил человек с блокнотом. Фигурин посмотрел на него вопросительно.

— Серафим Бутылко,— представился человек.— Стихи пишу, печатаюсь в местной газете, вон у Бориса Евоневича.— Поэт показал на Ермолкина, суетившегося вокруг гроба.

— Очень приятно,— сказал Фигурин.— И что же?

— Я тык-скыть хотел бы вас познакомить... кое-что создал к завтрашней тык-скыть церемонии.

— Что значит тык-скыть? — поинтересовался Фигурин.

— Ну это я тык-скыть... то есть в мысле «так сказать» говорю,— объяснил Бутылко, несколько смутившись.

— А, понятно. Если я вас правильно понял, вы сочинили стихи, которые хотели бы прочесть завтра.

— Да, над телом тык-скыть усопшего.

— Ну, насчет тела я не знаю. Над гробом, точнее. А сейчас хотите прочесть мне?

— Точно,— согласился Бутылко.— Хотелось бы тык-скыть узнать мнение.

— Ну что ж,— согласился Фигурин.— Если не очень длинно...

— Совсем коротко,— заверил Бутылко.

Он отступил на два шага и стал в позу.

— Романтик, чекист, коммунист,— объявил он, и все суетившиеся вокруг гроба обернулись. Только

художник Шутейников продолжал заниматься своим делом.

Держа в левой руке блокнот и размахивая кулаком правой, Бутылко завыл:

Стелится туман над оврагом,
Был воздух прозрачен и чист.
Шел в бой Афанасий Миляга,
Романтик, чекист, коммунист.

Сражаться ты шел за свободу,
Покинув родимый свой кров,
Как сын трудового народа,
Ты бил беспощадно врагов.

Был взгляд твой орлиный хрустален...
Вдруг пуля чужая — ба-бах!
И возглас «Да здравствует Сталин!»
Застыл на холодных губах.

Ты стал недопетою песней
И ярким примером другим.
Ты слышишь, сам Феликс железный
Склонился над гробом твоим.

Читая последние строки, Серафим заплакал.

— Ну что ж,— сказал Фигурин,— по-моему, ничего антисоветского нет. И вообще,— он сделал неопределенные движения руками,— кажется, неплохо. Но мне лично концовка, кажется, не совсем. Железный Феликс — это хорошо, образно, но желательно как-нибудь... ну, я бы сказал, пооптимистичнее.

— Побольше тык-скыть мажора? — спросил Бутылко.— Можно тык-скыть как-нибудь вот в таком духе:

Погиб Афанасий Миляга
Но та-та в каком-то бою
Я тоже когда-нибудь лягу
За Родину тык-скыть свою.

Так?

— Вот-вот,— замахал руками Фигурин.— Как-нибудь в этом духе, но не лягу,— у вас в стихотворении уже один лежит, хватит, а как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам.

— Принимаю к сведению,— сказал Бутылко.

— Очень ценное замечание,— вставил Борисов.

— Ну ладно.— Фигурин посмотрел на часы.— Мне пора. Напоминаю всем: завтра в двенадцать часов.

Нужно, чтобы все было спокойно и организованно. Побольше людей с предприятий. И обязательно слушать, кто что говорит. Если услышите такие разговоры, что Миляга был не герой, а совсем наоборот, таких людей, пожалуйста, это просьба ко всем, берите на заметку и фамилии сообщите кому-нибудь из наших людей или еще лучше лично мне.

✱

Когда стемнело, Свинцов собрал свою группу на опушке.

— Ну пошли,— вполголоса приказал он и сам двинулся первым.

Он шел, пристально глядя себе под ноги, но не видел ничего, кроме смутно желтевшей стерни. Свинцов забеспокоился, что уже прошли то место, на которое днем указал Плечевой, и думал, не развернуть ли свою команду и не прочесать ли все поле шеренгой, когда под ногой что-то хрустнуло.

— Стой! — сказал Свинцов и нагнулся.

Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением:

— Кажись, оно.— И обернулся к своим спутникам.— Все сюда! Собирайте кости и кладите у мешок.

Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым.

— Слышь, сяржант,— тихо и с удивлением сказал Худяков,— кости-то быдто ужасно здоровые.

Свинцов и сам это заметил.

— Не твое дело,— пробормотал он сердито.— Бери какие поменьше.

Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета.

— Вы это вот что,— сказал Свинцов,— какие крупные, те об колено.

Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп.

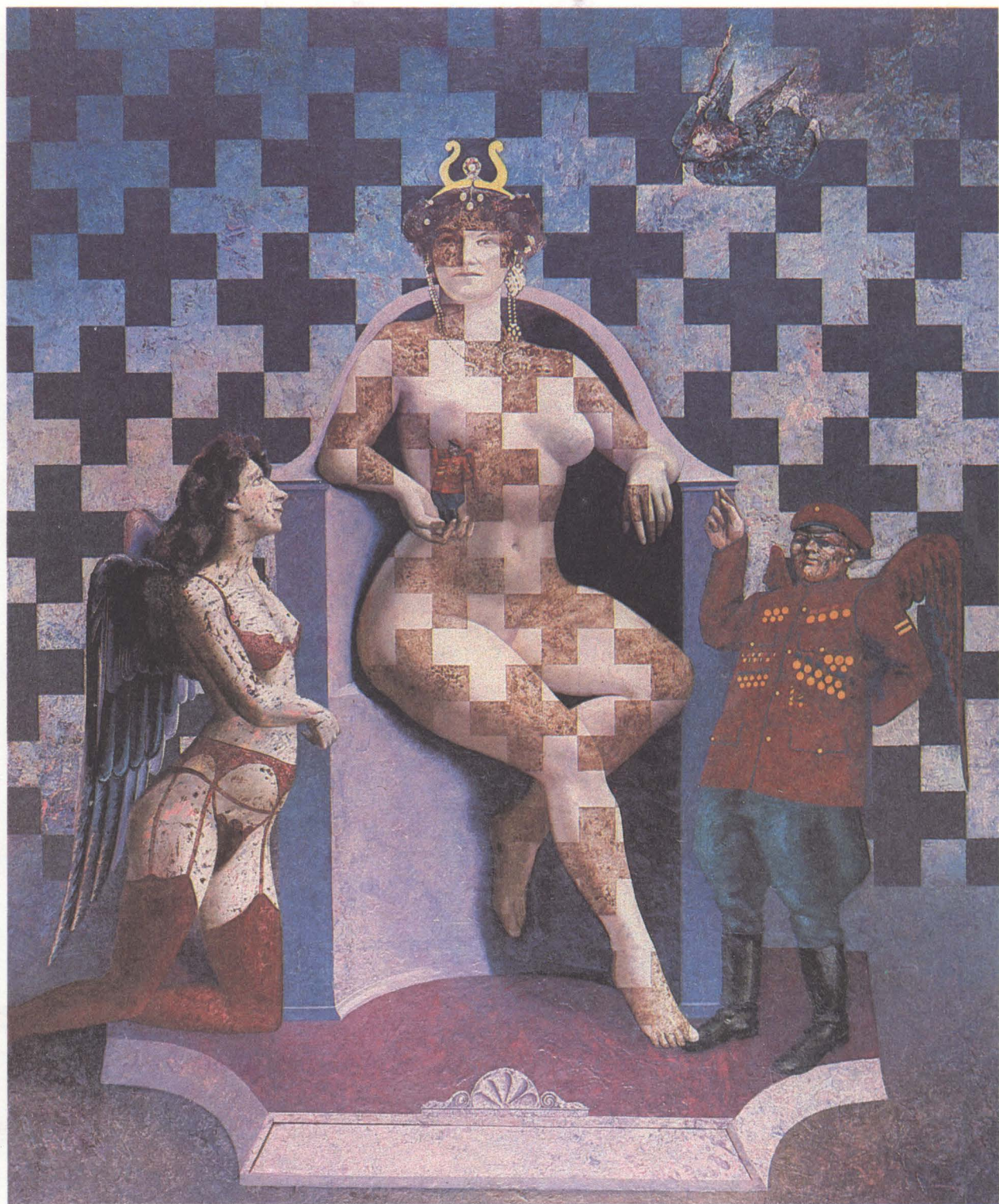
(Окончание следует.)

ИГРА по ПЕРЕПИСКЕ — ПРЕКРАСНАЯ ШКОЛА ШАХМАТ!

Шахматный кооперативный клуб «Каисса» проводит квалифицированные турниры для тех, кто не имеет разряда, и для I, II, III, IV разрядов, а также тематические турниры: «Королевский гамбит», «Испанская», «Сицилианская», «Французская», «Каро-Канн», «Староиндийская», «Защита Грюнфельда», «Английское начало». Участник получает справку о выполнении разряда, анализы своих партий, рекомендации по усилению игры. Турнирный взнос 15 р. (с анализом) или 6 р. (без анализа) высылайте почтовым переводом по адресу: 390046, Рязань, счет № 200461133 в облуправлении Жилсоцбанка МФО, а квитанцию об оплате и заявление — 390012, Рязань, а/я 242. Клуб «Каисса».

Помните ли Вы увлекательные путешествия сказочного Синдбада-морехода из «Тысячи и одной ночи»? Наша фирма «Синдбад» поможет Вам совершить путешествие в Италию и окажет содействие в поиске спутника жизни. Послание в наш адрес — 129010, Москва, а/я 28 — должно содержать сведения о желающих стать нашими абонентами: имя, фамилию, образование, основные черты характера, рост, наличие детей, домашний адрес, телефон, две фотографии (одна в полный рост) и квитанцию о почтовом переводе 50 рублей на расчетный счет № 3461249 3-С в Тушинском отделении Жилсоцбанка г. Москвы, МФО 201586. Почтовый индекс 123364. Телефон для справок: 412-49-21

Информационно-рекламное агентство «ИНРЕК»,
129010, Москва, а/я 28, телефон 135-45-22



РЫЖАЯ ДЬЯВОЛИЦА. Холст, масло, 1990 г.

Дмитрий КАНТОРОВ
г. Москва



МАКАРЕНКО И ДЕТИ. Холст, масло, 1990 г.

«Предлагаемые работы — мой ретроспективный взгляд на русский «серебряный век» с точки зрения его конца (века).

Общее название серии — «Ржавое серебро».

Современная жизнь сопротивляется существованию искусства. Настоящее искусство — удел «безумцев праздных», людей психологически изолированных от повседневности.

Традиционная живопись минералов — это прообраз стихий (земли, огня, воды).

Земельный пигмент может быть чьим-то прахом. А работа с ним — магией.

Есть рычаг, которым всегда разрушается человеческая история.

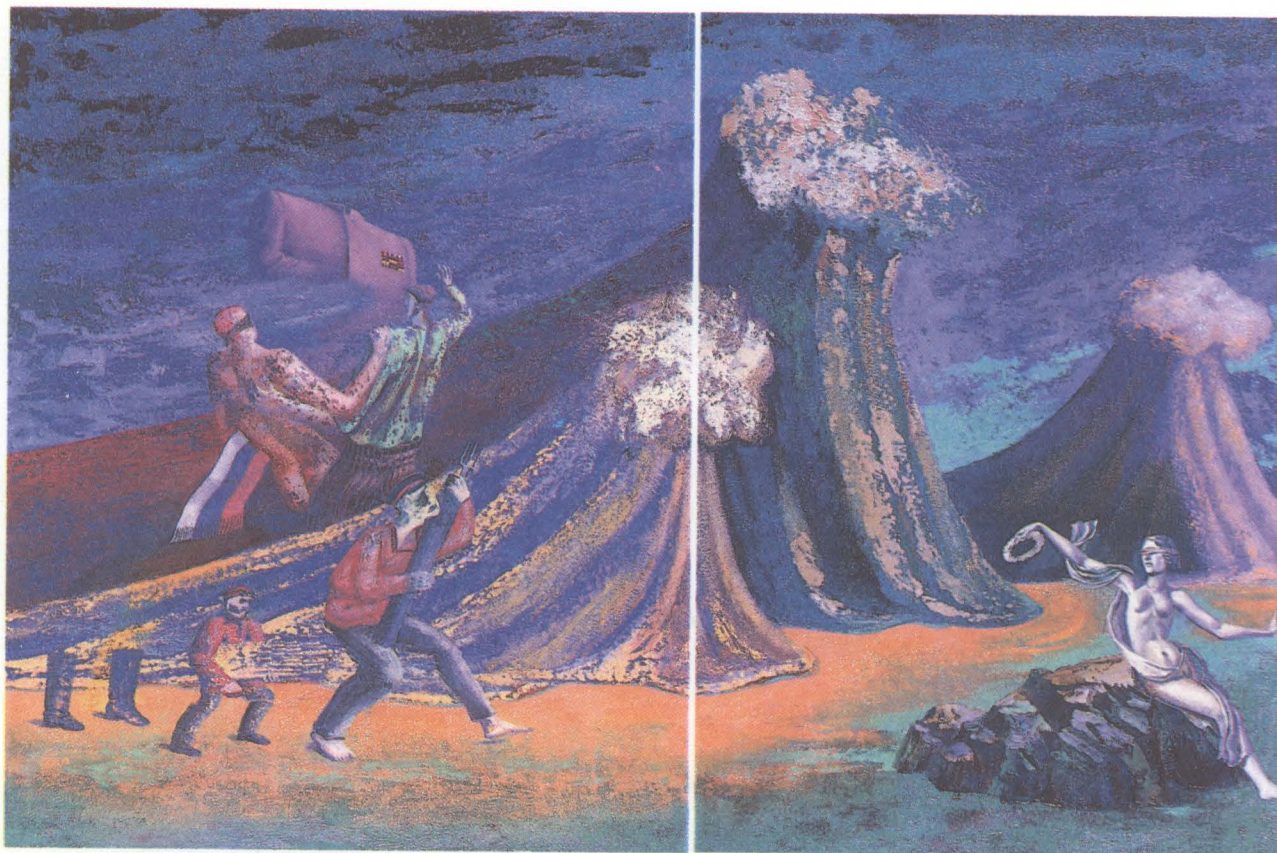
После нашествия Аллариха в Риме не осталось камня на камне. Вернее, так казалось тогда.

Дотатарская Русь, как и античный Рим, возвращается к нам во фрагментах.

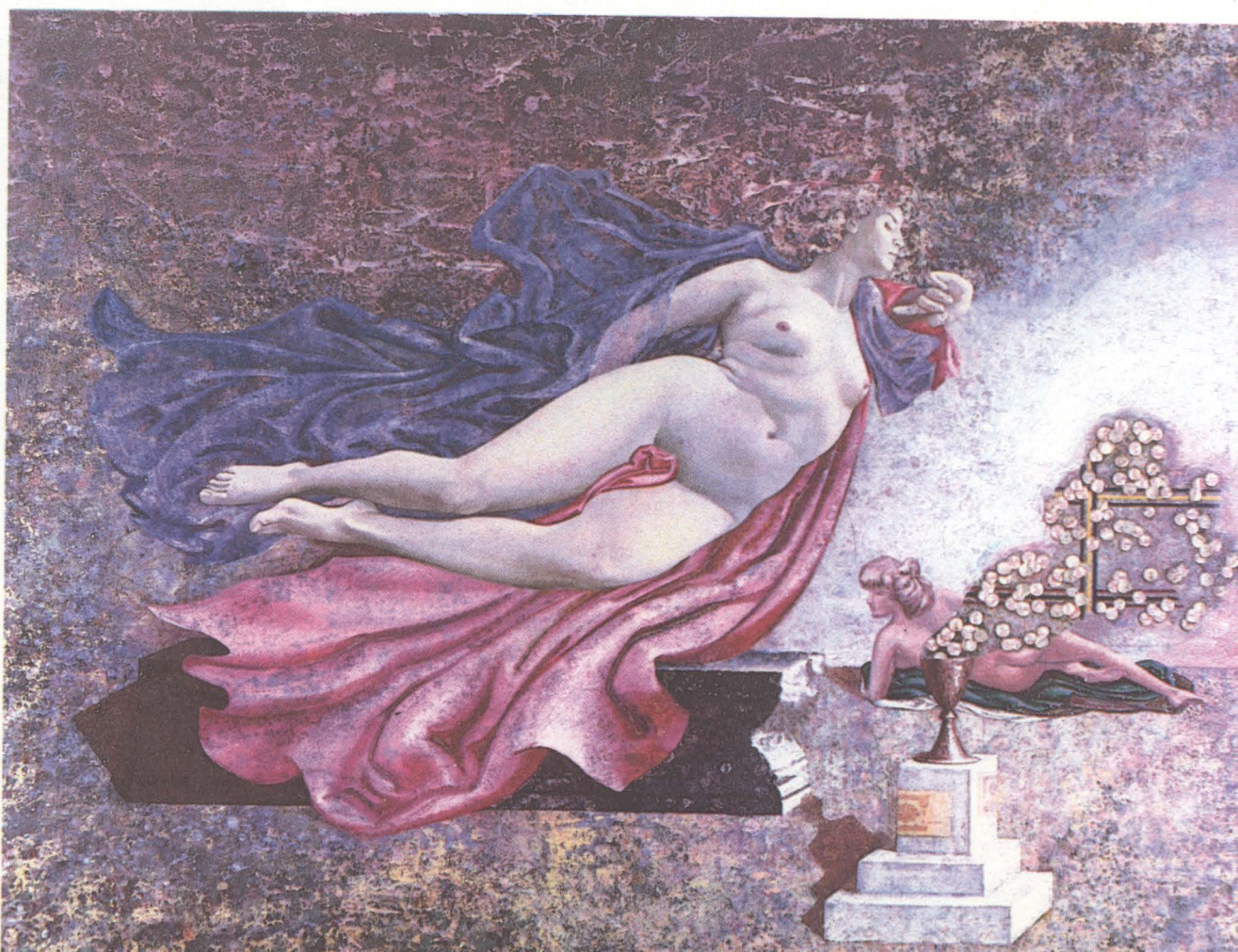
Что явит нам уже начавшийся отлив языческого сознания?»

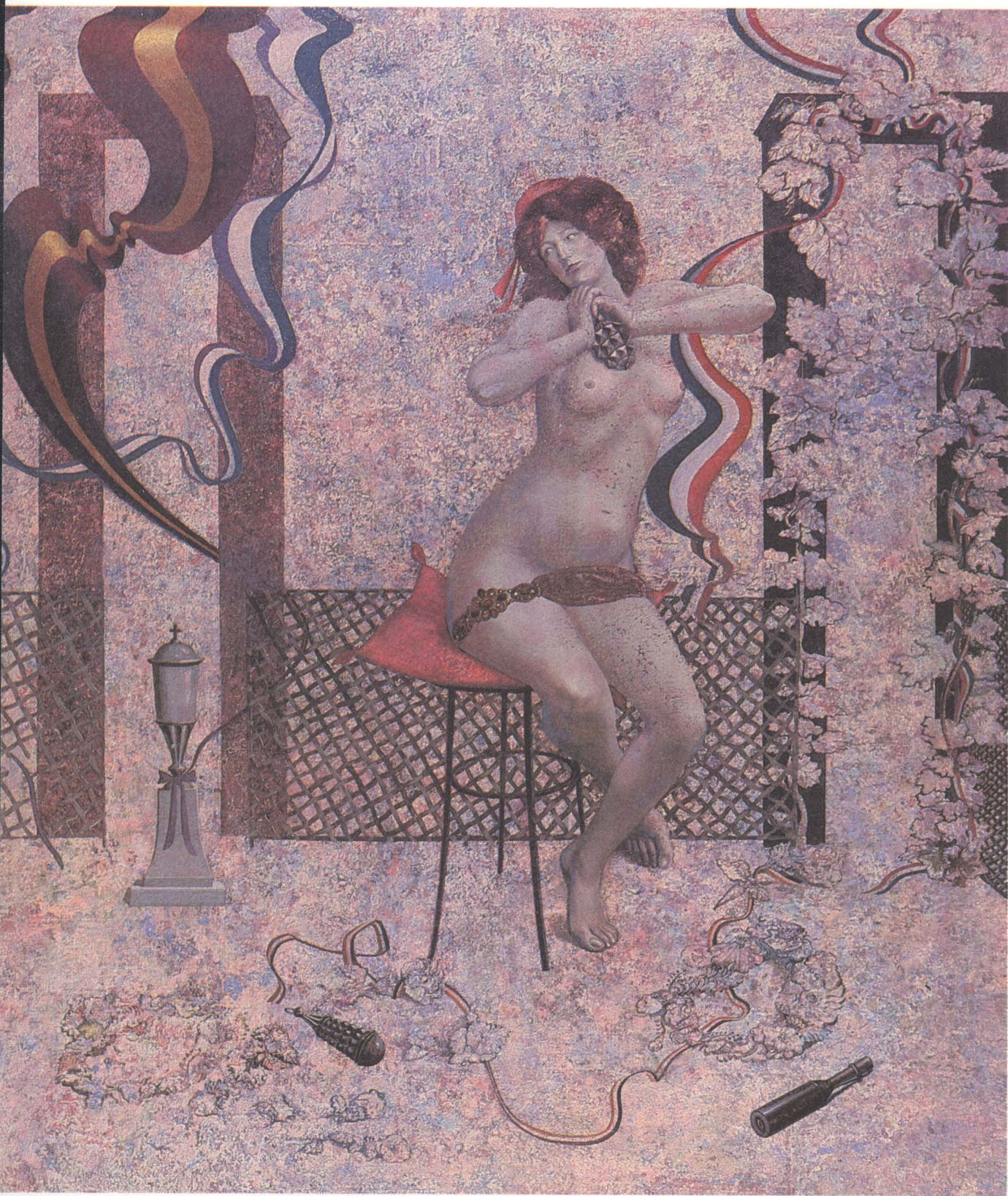
Дмитрий КАНТОРОВ

МИРАЖ ПОБЕДЫ. Диптих. Холст, масло, 1989 г.



ДЫМ УДАЧИ. Холст, масло, 1990 г.





РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ. Холст, масло, 1990 г.

Виктор
ЛИПАТОВ

КАМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ

Дмитрий Канторов — быстродвижущийся и философствующий. По пустым и холодным комнатам большого старого дома, построенного в красивом и отстраняющем стиле «модерн», он ходит нетерпеливо и уравновешенно. Когда-то этот покинутый дом самовольно заселили разноплеменные молодые художники и образовали вольное интернационально-московское товарищество Фурманного переулка. Сейчас их выселяют, и где быть им — бог весть...

Канторов чувствует себя пульсирующей точкой, притягивающей силы культур далеких времен Рима, Византии, Древней Руси. Ярый приверженец нетрадиционного искусства, художник знает и чтит традиции и каноны старых мастеров, потому что живет в мире больших категорий. Правда, всю мировую историю он втискивает в жесткую логическую схему: тезис, антитезис, синтез. Язычество, христианство, мусульманство, буддизм (мессианство)... И — кризис, эпоха революции, потеря и возврат культуры.

Канторову можно позавидовать. Размышляя о «магии греческого сознания», он с легкостью представляет себе состояние духа и средоточие прежней жизни, воссоздает этот сияющий сгусток нематериальной материи, погружается в него, дышит им. Обладает удивительным свойством — и там, далеко, и здесь, близко, ощущать себя своим. Потому как он пока еще счастливый человек, который осознает неподвижность времени, его непреходящее состояние. Время не уходит и не приходит, оно просто существует вокруг, как огромный океан.

Нынешние наряды времени, его обнаженность и горячность Канторову нравятся. Что не мешает ему именовать протекающие годы эпохой минимализма в государстве с тоталитарными замашками. «Все изголодалось по миру, полностью, как чаша, которая подавалась на пирах в картинах Тьеполо и у маньеристов — пусть явление это и абсолютно не соответствовало реальной жизни». Он полагает, что сегодняшние художественные устремления все еще симуляция, теневое повторение прошлого, когда голодным детям показывали Чарли Чаплина. Сохраняется голод; время, когда можно не бояться людей, еще не наступило. Превалирует стремление к жизни, наполненной праздниками. Осознавая это, Канторов весь в заботах — деятельных («получаю шиш-

ки») и творческих — сегодняшнего дня. Он догадывается, что делает «черную» работу, ибо искусство не обязано разрешать социальные проблемы. Но очень уж ему хочется изменить общественную ситуацию и «со своей кочки». «Если в России будет плохо жить кухарке и премьеру, значит, плохо будет жить и моей семье». Канторова обнадеживает, что появилась, будто внезапно, небывалая доселе порода людей смелых, прогрессивных, тревожащихся о судьбах Отечества. Конечно, он понимает, сколь многое им противостоит, как консервативны, например, культурные институты, но зато как радуют его объединения молодых художников, стремящихся «большой толпой проводить какие-то идеи». Во имя интересов круга профессиональных единомышленников жертвует он прежними дружескими связями с поэтами, музыкантами, прочими знакомцами. Притом нет у него желания пристроить свою живопись к тому или иному художественному течению: «не концептуалист», «меньше интересуюсь абстракционизмом». Отметая множество направлений, Канторов обозначает «два альтернативных вектора»:

а) концептуализм как всемирное течение и

б) соц-арт, выходящий из эстетической традиции (ирония, цинизм, лирика, мистика, богоборчество, прапамять, использование рационального на исковерканной почве) и имеющий место быть только в нашей стране.

Канторов воспитывался в те, сейчас невероятно далекие времена, когда идеология требовала от искусства доступного языка и приводила все к знаменателю эстетизации унылого и забубенного. Еще в Училище имени 1905 года ему пришлось столкнуться с системой досье, допросов-допросов, практикуемых администрацией, и быть свидетелем разгрома подпольных выставок в квартире Никиты Алексеева... Но воочию он увидел Призрак жизни, когда вместе с отцом, художником-керамистом, участвовал в оформлении особняка Л. И. Брежнева на Средней Волге. Это был призрак коммунизма, некогда бродивший по Европе и наконец-то осуществившийся здесь, на Жигулевских горах в доме вычурной архитектуры с интерьерами в стилистике XVIII века. Огромная усадьба прихватила в личное пользование первого лица в партии грот Шалапина и утес Стеньки Разина. Роскошно-эклектичный дом разительно контрастировал с малооплачиваемой услугой (восемьдесят рублей в месяц), закабаленной предоставляемым жильем, возможностью раз в неделю отовариться в магазине и жестокой дисциплиной. Человек платил свободой за угол и паек. Нарушавший условия немедленно изгонялся. Люди, строившие коммунизм, не имели права присесть на мебель в особняке. Женщина, писавшая на листке, положенном на стол уральского малахита, была сурово покарана... Призрак, ставший ощутимой жизнью, взглянул художнику в глаза своими бездонными глазницами. И серия картин «Номенклатурная здравница» стала рассказом об этом взгляде. Все явственнее наблюдал художник в окружающей жизни ее обледенелую призрачность, спокойствие каменной могильности. Внешняя благопристойность облезала клочьями, под видом людей шествовали по жизни человекоподобные монстры и манекены.

Сатира вела рукой Канторова. В «Дыме удачи» кубок исторгал денежные знаки. В «Скованной Ионике» ваза была вместилищем стабилизаторов бомб. В «Разбитом сердце» салонная красotka прижимала к сердцу гранату и выдирала чеку в «а ля Ренуар гиперсреде». «Портреты неизвестных лиц» являлись помесью доски почета и житийной иконы, представляя пирамиду власти, где соединялись перекошенные лица вельмож над строгими пиджаками, чиновники и прочие «поганцы». Зловещий оттенок гротеска и в «Литературных панках», где оквадраченные фигуры околелитературных деятелей — одна под шаржированного Есенина: круглолицые под челочкой; вторая — в полувоенном мундире и сапогах, в короткой стрижке — под Керенского.

Канторов всегда опасался плакатности, обыкновенности живописной брани. Когда-то хотелось ему написать портрет Берии с пулей в черепе, но он быстро отказался от этого замысла, понимая: схема, система, кристаллизация, обнажение абсурда, ставшего образом жизни, — вот главное.

Монстры и манекены, подвластные определенному заданному ритму. Они движутся как заведенные. И ему привиделся танец, как порыв из статики мысли и чувства каменного изобилия. Танго, как знак эпохи и форма сумасшествия. Люди из мертвого дома не умеют нормально уходить и разговаривать, они всецело преданы ритмике священнодействия. На черном фоне, прикрытом позолоченными и посеребренными решетками, совершается танец сытых невольников. У них слепые лица, массивные формы и официально-типажная одежда тех времен. Человек в военной форме, держащий в руках револьвер, и женщина с традиционным синим платочком. Гипсовые фигуры вечно трубящих пионеров и знаменитой девушки с веслом знаменуют каменную застылость безликой силы. Атрибутика призрачно смешивает времена, показывая неизбежность штампов истории. Древнеримские ликторские пучки великолепно уживаются с вечными половичками и штaketником. Танцы откровенно грубы — иногда в сумерках фона возникает то ли башня, то ли сторожевая вышка... «Танго»: самозабвенно-судорожные, резко вызывающие движения мужчины в майке и брюках и женщины в бюстгальтере и трусах старого покроя. Склепу темного раструба летней веранды вторит глухо горластый раструб граммофона. Танго рождается из темноты. Монохромная палитра позволяет художнику выпятить скульптурность и героев, и времени. Уродливое обозначается уродливо. Возникает «обрубочный стиль». Естественное желание исковеркать ложно созданное, продемонстрировать его инвалидность. «Большой танец инвалида» на протезе и «Танго инвалида»: полуживой-полумуляж, без руки и ноги, он пляшет с женщиной-статуй, у которой отбитые руки.

Танцует и волна — одна из главных сил в серии «Гражданская война». Волна набегающая, вздымающаяся, утихающая. Канторов хотел достичь в ней совместимости покоя и девятого вала. Каноническая волна Айвазовского и волна, нарушающая господство линий, лестниц, маршей. «Гражданская война» соединила в себе танец, монстров и пейзаж. Художник размышлял так: официальное искусство устанавливало правило — художник обязан проповедовать любовь к жизни, не доступным языком. Сталевар, доярка, шофер, короче, человек труда «пристегивался» к пейзажу в манере XIX века. Связь с природой рассматривалась во всей своей непосредственности. Если утро, то солнечное, если сенокос, то рубашки, от пота прилипшие к телу... Пейзажно-определятельные названия картин серии «Гражданская война»: «Обутрело», «Утихло», «Накатило», «Прикатило» — имеют определенный соединительный смысл защелки, скрепляющей стили и особенности века нынешнего и минувшего. Происходит не только демонстрация типажей, но и демонстрация стилей: салона, декаданта, декаданта социалистического реализма... В «Гражданской войне» танец волны (символ стихии — движения масс, жизнь, война) сопровождается игрой с мундиром — знаком войны и профессионально-чиновного вояки. Мундир эклектичный, мимикрирующий, огромно-фундаментальный и незбылемый. Темно-синий с орденскими планками — он на фоне вздымающейся зелено-желтой волны. Бронзовая женщина в накидке трубит в рог, из которого вихрится пламя и вытекает красный поток (кровь?). Почти мифологическая женская фигура постоянно возникает в картинах художника, как атака, победа, Фемида. Цвет играет подчиненную роль, ему разрешается лишь прорываться и украшать. Цвет охотно сопровождает конструкцию. Фигуры расставлены, напряжение определено. Темная волна обнимает мундир с культай, украшенный медалями в виде медных денежек: одна, три, пять копеек... В темно-сером пиджаке с колодками на лацкане прячется женский торс. Волна-стихия готова выплеснуться в любой момент. Стихия первична, мундир вторичен. Потому стихия скорбна и первозданна, а мундир выполняет функции межведомственного столба.

В «Status Quo» фигура в мундире с черной черточкой — поперечной на глазах, как в телевизионных программах для неузнавания подозреваемых, потенциальных преступников.

На руках фигуры перчатки рокера, усыпанные металлическими бляхами.

Еще фигуры и — мальчик, которому преподается жестокий урок беспощадной жизни... Притчеобразность — характерная особенность нового авангарда. И в том не только протест против безыскусности, простоты намеренно реалистического повествования. Отыскивая в латинском шрифте иероглифическую суть, художник заставляет зрителя гадать о шифре. Ход его размышлений примерно ясен: опрощение искусства — упрощение мысли. Спасение в обузданной или необузданной фантазии, смысловой феерии. В «Глории» (это образ славы, или это Юдифь, или Саломея) явное обозначение нашего времени: у подножия пиков вздымающейся стихии женщина с серпом и мужчина с молотом. Глория протягивает им венки. Но как насторожен темно-синий мундир... Благословение венком, увенчание несообразности, уродства — знак странной закономерности времени. Обнаженная с завязанными глазами (одуроченная Фемида?) протягивает венок уже явно сатирическим фигурам: огромному человеку в форменной фуражке с вилкой в руке и следующему за ним (к пирогу?). Хищно расцветают на пиках волны шапки пены. А мундир в восхищении даже парит. И вот уже женская фигура, точно Фемида. Глаза завязаны, в руке изогнутый темно-розовый меч, в другой весы (в эпитафии XIX века сказано о богине правосудия: «положит мало кто, того я поражу»). Красная волна стихии взрезает зеленый, вихрящийся фон. А мундир, бордовый фантом, воздвигается горестным монументом: один рукав на перевязи, второй — культя.

Собственно, сражение Канторов изображает всего один раз. В «Битве с орлом (Новый Егорий)» — огромный двуглавый орел в чешуе перьев, грузная тупоголовая птица, стоит на одной лапе, а второй вынужден хватать бело-красную пику, которой человек в бордовых штанах, сапогах, подпоясанный курткой и фуражке с красным околышем целит птице в глаз.

Канторов — художник гротесковый. «Дегуманизованная среда — оболочка без насыщения». Он создает «натюрморты», где люди являются предметами мертвой природы... Приземисто-мужеподобная женщина в бюстгальтере и трусах монументально восседает на лавочке у каменной вазы изобилия («Vita Nova»). Две тени спутников отпечатались рядом... Женщина и ваза — два лика одного лица. Сначала художник создает образ каменной бабы — огромной, черной, нависающей над малюсеньким человечком, утаскивающим контрабас. Затем происходит превращение в огромную вазу с лепниной. И апофеоз: ваза на клумбе становится лагерной вышкой. Круг замыкается.

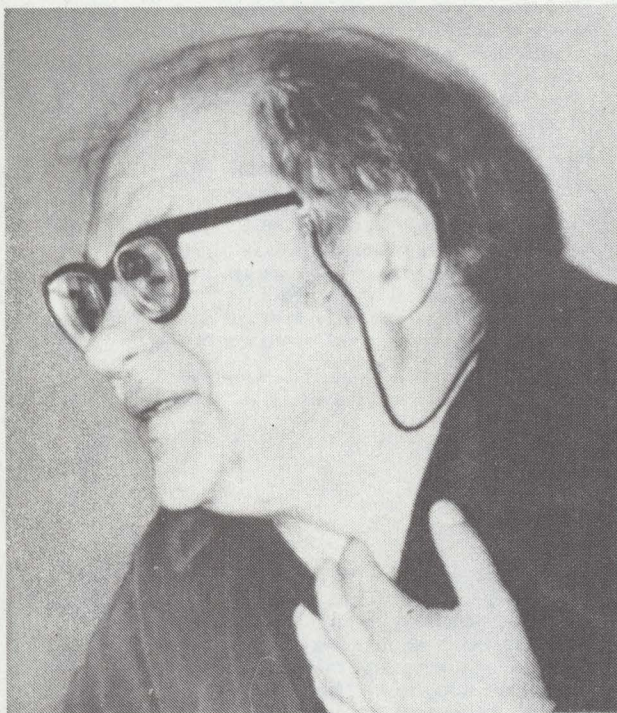
...Владимира Пантелеймоновича Муравьева, русского сюрреалиста, Канторов всегда упоминает как своего учителя. Этот закаленный человек в годы Отечественной войны видел Днепр красным от человеческой крови. Еще тогда, на войне, понял он беспощадную соизмеримость человеческих смертей: в окопе, где всякая единичная смерть — трагедия (тезис), и в штабе (после ранения он отмечал передвижения войск и потери), где тысячи смертей — всего лишь статистика воинской стратегии (антитезис).

А синтез?

Художник всегда живет в своем времени, как в окопе: всякая боль и неожиданная радость обжигают его. И потому он противник статистики.

Последние работы Канторов — поиски надежды для отдаленно взятого человека. Молитвенно сложенные руки — девиз венчания — прилепиться друг к другу. Серия картин называется «Русские идеи». Тема православного согласия, русской воляницы, греко-византийские мотивы...

«Я ПРОСТО РУССКИМ БЫЛ ПОЭТОМ...»



Молодым читателям «Юности» имя Наума Коржавина вряд ли знакомо. Немудрено: уже больше пятнадцати лет он живет вдали от Родины, в Соединенных Штатах Америки. «Я каждый день встаю в чужой стране...» — с болью написал он в одном из тамошних своих стихотворений.

Вряд ли сегодня надо объяснять, как и почему он стал эмигрантом. «Галича», — писала некоторое время тому назад «Правда», — изгнали из нашей страны именно те, о ком он пел в своих «крамольных» по тем временам песнях». С не меньшим основанием это может быть сказано и о Коржавине.

Сейчас нередко приходится слышать, что лишь один из русских писателей, оказавшихся в годы застоя за рубежом, был выдворен из страны насильно: Солженицын. А все остальные якобы уехали добровольно. Это, конечно, чепуха. Какой русский писатель добровольно покинет Родину! Да, только Солженицына публично объявили «изменником родины». Да, только его одного под конвоем посадили в самолет. Но давление оказывали на всех уехавших, выпихивали из страны их всех.

«Вы знаете, на каждого гражданина давит столб воздуха силою в двести четырнадцать кило!.. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! Двести четырнадцать кило! Давят круглые сутки...» — грустно острит Остап Бендер. А ведь он не был поэтом. Поэты же, как известно, отличаются особой восприимчивостью, болезненной чувствительностью к малейшим изменениям социального атмосферного давления. У поэта — другой «болевого порог».

Мы привыкли называть поэтом каждого, умеющего писать стихи. Иногда мы уточняем: разумеется, хорошие, настоящие стихи. Мы совсем забыли, что поэт — это прежде всего

совершенно особенный человек. Не такой, как все. Иначе думающий. Иначе чувствующий. Иначе воспринимающий жизнь.

Не высокий профессионализм, не изобретение новых формальных приемов и даже не словесная одаренность в первую очередь создают поэта, а прежде всего неодолимая, почти маниакальная потребность выражать в слове свои, ему одному свойственные мысли, чувства, ощущения, не считаясь ни с какими препятствиями, нимало не заботясь о том, какие это повлечет за собой последствия.

Всей жизнью своей Н. Коржавин доказал, что он поэт по самому складу души.

Прежде всего это означает, что он умудрился остаться свободным, внутренне независимым человеком в царстве такой ледяной несвободы, какого еще не знал мир.

Ему было 19 лет, когда он написал:

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь...

Мы не будем увенчаны.
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Неспособность к открытому бунту против созданного Сталиным режима осознавалась в этих стихах как ущербность, нравственная и социальная неполноценность, вызывающая сожаление и острую зависть к тем, кто сто с лишним лет назад нашел в себе силы выйти на Сенатскую площадь. А на дворе был 1948 год...

Понять, что это значит, может только тот, кто не понаслышке, а собственными своими легкими испытал, каково было дышать в социальной атмосфере, которую Сталин лицемерно назвал морально-политическим единством советского народа.

Я помню, мне было лет десять, когда родители впервые привели меня на избирательный пункт: шли выборы в Верховный Совет СССР. Это были первые выборы, проводившиеся в строгом соответствии со статьями новой, так называемой Сталинской Конституции. Больше всего мое детское воображение поразила кабина, куда избиратель, согласно гарантированных ему Конституцией прав, мог зайти, чтобы, уединившись там, в полной тайне осуществить свою миссию свободного гражданина Страны Советов. Я решительно не помню, сказал ли я тогда что-нибудь по этому поводу. Но я отчетливо помню, о чем я тогда подумал. Я подумал, что эти кабины сделаны с единственной целью: выявить всех скрытых врагов нашего советского строя. Радостное, злорадное чувство шевельнулось в моей душе. И сопутствующая ему глубокая детская убежденность, что, конечно же, каждого, кому только в голову придет кощунственная мысль воспользоваться услугами этой кабины, обязательно надо арестовать. А как же иначе? Настоящему советскому человеку не от кого таиться. Он просто возьмет бюллетень и открыто, смело, не таясь, на виду у всех опустит его в избирательную урну.

Сам факт существования этой кабины был нелепостью. Потому что он как бы предполагал, что в нашей стране могут оказаться люди, желающие проголосовать против.

Повторяю, мне было тогда десять лет. Кроме того, я не исключаю, что был на редкость глупым и даже недоразвитым ребенком.

Но вот слова, сказанные в ту же пору взрослым человеком. Причем человеком, сознательная жизнь которого проходила не в совсем обычной для среднего советского человека среде.

Жена Б. Л. Пастернака сказала кому-то из своих близких: — Мои дети больше всего любят Сталина, а уж потом — Борю и меня.

Я так же далек от того, чтобы сомневаться в искренности этих невероятных слов, как и от того, чтобы усомниться в искренности той давней своей детской реакции на факт существования избирательной кабины. Но парадокс состоит в том, что и взрослая интеллигентная женщина, произнесшая эти слова, и десятилетний мальчик, убежденный, что каждого, кто войдет в кабину, надо немедленно арестовать, — оба они были искренни и неискренни в одно и то же время. И та и другая реакция, при всей своей непосредственности, была не чем иным, как сублимацией страха. Того тотального,

всепоглощающего, в каждую нервную клетку нашего существа вросшего страха, о котором сказал в своих полудетских стихах Н. Коржавин:

...в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.

И дети, и взрослые — все мы подсознательно знали не только, что нам полагается говорить, но и что нам полагается думать, и как нам полагается чувствовать. И были при этом искренни. Изю всех сил старались быть предельно искренними, чтобы, упаси бог, не дать повод даже самим себе заподозрить себя в какой-либо двойственности. (На тогдашнем политическом языке это называлось двурушничеством.)

Вот какой была та социальная атмосфера, в которой девятнадцатилетний юноша написал:

Казалось, что лавина злая
Сметет Москву и мир затем.
И за граница, замирая,
Молилась на Московский Кремль.
Там, но открытый всем однако,
Встал, воплотивший трезвый век,
Суровый, жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Может показаться, что я говорю не о поэзии, а о чем-то ином. О гражданских добродетелях. О честности.

Но сам Коржавин объяснял это иначе:

Я не был никогда аскетом
И не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшие мне.

Принято думать, что самое опасное, самое трудное в мире несвободы — это сказать вслух правду. В действительности же самое трудное состоит в том, чтобы эту правду узнать. Понять, почувствовать, ощутить сердцем.

В те годы мы все повторяли ставшие хрестоматийными строки Пастернака:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Вакансия поэта в нашей стране была опасна тогда не только потому, что поэтов убивали. Она была опасна еще и потому, что к поэзии надо было продираться сквозь такие препоны, каких прежний мир не знал. Никогда еще зло так нагло и так изощренно не притворялось добром. Никогда еще так успешно не узурпировало, не присваивало себе все prerogative добра. Остаться поэтом в этих условиях было нелегко. Ценность и художественная сила лучших стихов Н. Коржавина прежде всего в том, что в них видно, чего стоило поэту в этом перевернутом мире, где были сдвинуты все координаты, оставаться самим собой. Надо было каждый день продираться к истине, к поэзии (а это, в сущности, одно и то же), сквозь все новые и новые ряды колючей проволоки:

Мороз был — как жара, и свет — как мгла.
Все очертанья тень заволочла.
Предмет неотличим был от теней.
И стал огромным в полутьме — пигмей.
И должен был твой разум каждый день
Вновь открывать, что значит свет и тень.
Что значит ночь и день, и топь, и гать...
Простые вещи снова открывать.

Больше всего стихи Н. Коржавина, — а мы представляем сегодня стихи, многие строки которых были знакомы ценителям поэзии 60-х, но, к сожалению, неизвестны нынешним читателям «Юности» — поражают не тем, что поэт нашел в себе мужество «пойти против течения». (Как говорил Маяковский, «поклонениям и толпам поперек».)

Отличие его стихов от множества других стихотворных сочинений того времени не в том, что все было радостно «за», а вот он один — «против». Главное их отличие в том, что поэт честно пытался «вытащить из себя» свои, лишь только им одним владеющие мысли и чувства, какими бы нелепыми и даже дикийными ни казались они всем его соотечественникам и современникам. И делал он это не потому, что сознательно запланировал себе такую причудливую, смертельно опасную стезю, а просто потому, что не мог иначе.

Бенедикт САФНОВ

Наум КОРЖАВИН

Трубачи

Я с детства мечтал, что трубач затрубит,
И город проснется под цокот копыт,
И все прояснится открытой борьбой:
Враги — пред тобой, а друзья — за тобой.

И вот самолеты взрвали в ночи,
И вот протрубили опять трубачи,
Тачанки и пушки прошли через грязь,
Проснулось героismo, и кровь пролилась.
Но в громе и славе решительных лет
Мне все ж не хватало заметных примет.
Я думал, что вижу, не видя ни зги,
А между друзьями сновали враги.
И были они среди наших колонн,
Подчас знаменосцами наших знамен.

Жизнь бьет меня часто. Сплеча. Сгоряча.
Но все же я жду своего трубача.
Ведь правда не меркнет, и совесть не спит.
Но годы уходят, а он не трубит.
И старость подходит. И хватит ли сил
До смерти мечтать, чтоб трубач затрубит?

А может, самим надрываться во мгле?
Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.

1955

☆☆☆

И с миром утвердилась связь...
А. Блок

Все будет, а меня не будет,—
Через неделю, через год...
Меня не берегите, люди,
Как вас никто не бережет.
Как вы, и я не выше глени.
Я не давать тепла не мог.
Как то сожженное полено.
Угля сожженного комков.
И счеты мы сведем едва ли.
Я добывал из жизни свет,
Но эту жизнь мне вы давали,
А ничего дороже нет.

И пусть меня вы задушили
За счастье быть живым всегда,
Но вы и сами ведь не жили,
Не знали счастья никогда.

1957

Иван Калита

(Пародия на авторов некоторых
исторических трудов)

Мы сегодня поем тебе славу,
И, наверно, поем неспроста,—
Зачинатель мощной державы
Князь Московский — Иван Калита.
Был ты видом — довольно противен.
Сердцем — подл...

Но — не в этом суть:

Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.
Ты в Орде по-пластунски лазил.
И лизал — из последних сил.
Покорял ты Тверского князя,
Чтобы хан тебя отличил.
Подавлял повсюду восстания...
Но ты глубже был патриот.
И побором сверх сбора дани
Подготавливал ты восход.
Правда, ты об этом не думал.
Лишь умел копить да копить.
Но, видать, исторически умным

За тебя был твой аппетит.
Славься, князь! Все живем мы так же —
Как выходит — так и живем.
А в итоге — прогресс...

И даже
Мы в историю попадем.

1954

☆☆☆

Я не был никогда аскетом
И не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне.
Я не был сроду слишком смелым,
Или орудьем высших сил.
Я просто знал, что делать, делал,
А было трудно — выносил.
И если путь был слишком труден,
Суть в том, что я в той службе служб
Был подотчетен прямо людям,
Их душам и судьбе их душ.
И если в этом — главный кто-то
Откроет ересь —

что ж, друзья.
Ведь это все — была работа.
А без работы — жить нельзя.

☆☆☆

Пусть рвутся связи, меркнет свет,
Но подрастают в семьях дети...
Есть в мире Бог иль Бога нет,
А им придется жить на свете.
Есть в мире Бог иль нет Его,
Но час пробьет. И станет нужно
С людьми почувствовать родство,
Заполнить дни враждой и дружбой.
Но древний смысл того родства
В них будет брезжить слишком глухо —
Ведь мы бессвязные слова
Им оставляем вместо духа.
Слова трусливой суеты,
Нас утешавшие когда-то,
Недоверенность пустоты,
Где зыбки все координаты...
...Им все равно придется жить:
Ведь не уйти обратно в детство,
Ведь жизнь нельзя остановить,
Чтоб в ней спокойно оглядеться.
И будет участь их тяжка,
Времен прервется связь живая,
И одиночества тоска
Обступит их, не отставая.
Мы не придем на помощь к ним
В борьбе с бессмыслицей и грязью.
И будет трудно им одним
Найти потерянные связи.
Так будь самим собой, поэт,
Твой дар и подвиг — воплощенья.
Ведь даже горечь — это свет,
И связь вещей, и их значенье.
Держись призванья своего!
Ты загнан сам, но ты в ответе:
Есть в мире Бог иль нет Его —
Но подрастают в семьях дети!

1959

Рафаэлю

(После спора об искусстве)

Не ценят знания тонкие натуры.
Искусство любит импульсов печать.
Мы ж, Рафаэль, с тобой — литература!
И нам с тобой здесь лучше промолчать.
Они в себе себя ценить умеют.
Их мир — оттенки собственных страстей.
Мы ж, Рафаэль, с тобой куда беднее —
Не можем жить без Бога и людей.

Их догмат — страсть. А твой — улыбка счастья.
Твои спокойно сомкнуты уста.
Но в этом слиты все земные страсти,
Как в белом цвете слиты все цвета.

Инерция стиля

Стиль — это человек.
Бюффон

В жизни, в искусстве, в борьбе, где тебя победили,
Самое страшное — это инерция стиля.
Это — привычка, а кажется, что ощущение.
Эти стихи ты закончил, а нет облегченья.
Это — ты весь изменился, а мыслишь, как раньше.
Это — ты к правде стремишься, а лжешь, как обманщик.
Это — душа твоя стонет, а ты — не внимаешь.
Это — ты верен себе, и себе изменяешь.
Это — не крылья уже, а один только перья.
Это — уже ты не веришь — боишься неверья.
Стиль — это мужество. В правде себе признаваться.
Все потерять, но иллюзиям не предаваться —
Кем бы ни стать — опущать себя только собою,
Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою,
Даже пускай в тебе сердца теперь уже мало...
Правда конца — это тоже возможность начала.
Кто осознал поражение — того не разбили...
Самое страшное — это инерция стиля.

Ленинград

Он был рожден имперской стать столицей.
В нем этим смыслом все озарено.
И он с иною ролью примириться
Не может.

И не сможет все равно.

Он отдал дань надеждам и страданиям.
Но прежний смысл в нем все же не ослаб.
Имперской власти не хватает зданьям.
Имперской властью грезит Главный Штаб.

Им целый век в иной эпохе прожит.
А он грустит, хоть эта грусть — смешна.
Но камень изменить лица не может,
Какие б ни настали времена.

В нем смысл один — неистребимый, главный,
Как в нас всегда одна и та же кровь.
И Ленинграду снится скиптр державный,
Как женщине покинутой —
любовь.

1960

Масштабы

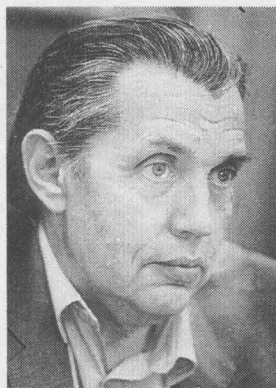
Мы всюду,
бредя взглядом женским,
Ища строку иль строя дом,
Живем над пламенем вселенским,
На тонкой корочке живем.

Гордимся прочностью железной,
А между тем, в любой из дней,
Как детский мячик, в черной бездне
Летит земля. И мы на ней.
Но все масштабы эти помня,
Своих забыть —

нам не дано.

И берег — тверд. Земля — огромна.
А жизнь — серьезна. Все равно.

1963



Роберт
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

☆☆☆

Мир
издерган и распят.
Время — бешеное...
Вот —
опять, опять, опять —
Зоны
Бедствия!
Пропадая навсегда в липкой полночи,
дети,
птицы,
города
просят помощи.
Пепельной зари лоскут.
Слезы беженца.
Реки бедствия
текут
к Морю Бедствия.
Застываешь, не дыша,
над новой
бездною...
И не душа уже душа,
а зона бедствия.

Довоенная кинохроника

Время идет,
а киношник снимает...
Ветер
знамена к небу вздымает!
Ах, как мы любим смотры-парады!
Как вдохновляют нас транспаранты!
Марши
заполонили Европу.
Молотов
руку жмет Риббентропу...
Ах, как режут стадионные действия!
Ах, как клянется счастливое детство!
Как замечательна жизнь,
где громады
залы,
скульптуры,
каналы,
романы!..
Время идет,
а киношник снимает.
Два генерала
парад принимают.
Два генерала —
наш и немецкий.
Скоро настанет мир повсеместный.
Ах, как похоже
плещутся флаги!..

(Их Бухенвальды...
Наши ГУЛАГи...)

☆☆☆

Раскачивается вагон.

Длинный тоннель метро.
Читающий пассажир выклеивает по слову...
Мы пишем
на злобу дня
и — на его добро.
Но больше, правда, — на злобу.
На злобу.
На злобу...
Живем, озираясь вокруг.

Живем, друзей хороня.
Едем, не зная судьбы, и страшно проехать мимо.
Длинный тоннель метро.
Привычная злоба дня...
Ненависть проще любви.
Ненависть объяснима.

☆☆☆

Тополь стоит,
наготу терпя,
словно скелет
самого себя.
Слишком прозрачны,
очень пусты
черные,
неживые кусты.
Тихой тропинки грустный излом
без продолженья...
Рисунок пером.

Клеветническое письмо в редакцию

Несмотря на то, что трудится горсуд,
в нашем славном городке —
напропалую! —
все воруют, тянут, тащат и несут.
Жить нормально —
это значит: жить, воруя...
Есть у нас и двое честных (что скрывать?) —
горожанам эти граждане известны.
Первый честный —
год как бросил воровать
и считается теперь ужасно честным.
Он нахapaл на две жизни,
даже — сверх.
Все, что хочет он, к нему привозят на дом...
А второй —
нормальный, честный человек —
в городском музее служит.
Экспонатом.

Общежитие

Ау,
общезитье, «общага»!
Казнило ты нас
и прощало.
Спокойно,
невелеречиво
ты нас ежедневно учило.
Друг друга
ты нам открывало.
И верило,
и согревало.
(Хоть больше гудели,
чем грели,
слезящиеся батареи...)
Ау,
общезитье, «общага»!
Ты многого
не обещало.
А малого
мы не хотели.
И звезды над нами летели.
Нам было уверенно вместе.
Мы жить собирались
лет двести...

Ау,
общезитье, «общага»!..
Нас жизнь развела беспощадно,
до возраста

повыбивала,
как будто война бушевала.
Один —

корифей баскетбола —
уехал учителем в школу.
И, в глушь забредя по малину,
нарвался

на старую мину.
Другого
холодной весною
на Ладоге

смыло волною.

А третий
любви не добился
взаимной.

И попросту спился.

Растаял
почти незаметно...

А тогда
все мы были
бессмертны.

☆☆☆

Старца,
которому саблю вручили,
разоблачили.
Трех торгашей,
что с клубникой ловчили,
разоблачили.
Этого (как его?) —
в маршальском чине —
разоблачили.
Двух стукачей,
что доносы строчили,
разоблачили.
Вроде бы жизнь начинаем сначала...
Так почему же
не полегчало?



Инна
КАШЕЖЕВА

☆☆☆

Я пишу и числа ставлю, ставлю даты.
Бытие по каплям славлю, как солдаты.
Пролетела, просвистела пуля мимо...
Оттого число в конце необходимо.
Сгоряча я это, право, о солдатах:
их бумаги изучали в медсанбатах,
в трибуналах или в списках для реляций;
для расстрелов или реабилитаций.
И решаю я, подумавши про это:
у солдата больше прав, чем у поэта.
И поэтому, ну нету вовсе смысла
под стихами аккуратно ставить числа.

Может быть, и долголетьем жизнь одарит...
Да кому он нужен, этот календарик?!

Воспоминание о гадалке

Ах, кто-нибудь — так хочется! —
поговори со мной...
Сбывается пророчество
цыганочки хмельной.
Цыганочка — цыаночка,
полмига забытья...
Докурена сигарочка
земного бытия.
Гитара семиструнная
в чужих руках давно.
Ах, мне б перо то, юное...
Потеряно оно.
А мне еще так хочется
опять сойти с ума!
Страшнее одиночества
лишь только смерть сама.

Стихи в скобках

Пришла свобода печати.
Вот это да!
(Свобода печали
была всегда.)
Сибирские реки хотели
повернуть вспять.
(А на Черной речке под свист метели
Он упадет опять.)
Гласности общий рупор
кричит, всех и вся круша...
(Пусть девальвируван рубль,
жила бы душа.)
Поворот к сознанию, значит,
от поворота рек.
(Все это было, знаете,
если был Человек.)

Добро

Ну почему же, кто мне растолкует?
Добро побеждает, а зло торжествует.
Мы сами, мы сами провозгласили:
«Добро с кулаками!», все мера по силе.
По силе, по мощи — они всемогущи.
Поруганы мощи, погублены кущи.
О ране в финале суди по порезу.
Мы все начинали с удара по рельсу.
С удара... Ударьте! Подставлю другую.
Удавке в Елабуге не протестую.
Добро с кулаками. Так, значит, за дело!
Борьба с кулаками... Земля оскудела.
Мы сами, мы сами... А может, опомнимся,
а может, успеем: отмоём, отмолимся?
Добро с кулаками? Добро с кулаками?!
Христос без креста... Венера с руками...

Старики

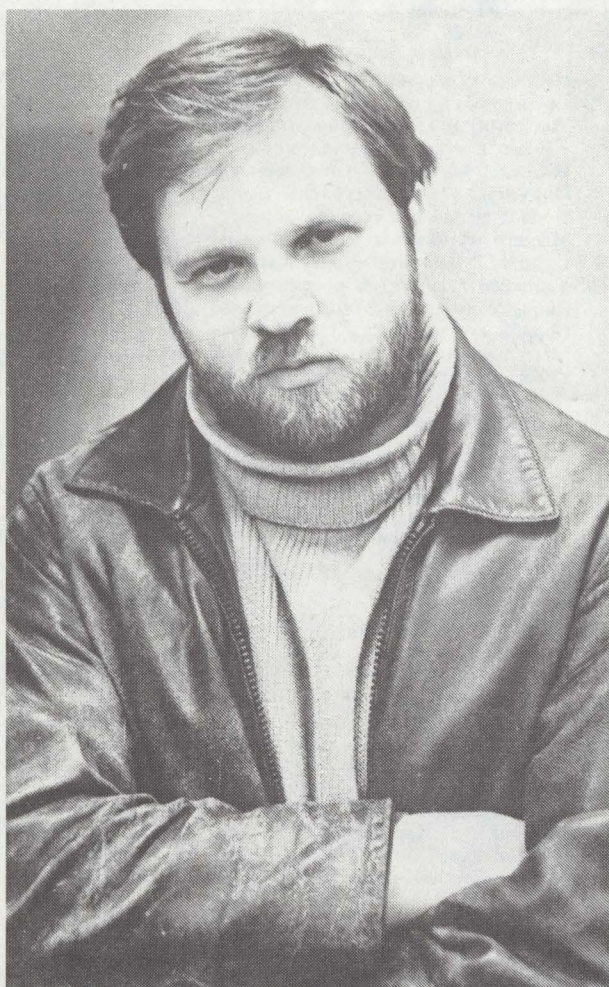
У обочины жизни
сидят старики...
И вдоль тела повисли
две тяжелых руки.
И хотя они тают
на глазах, старики,
но всегда проступают
на руках мослаки.
А корявы, как корни,
каждый тяжестью в пуд...
Так худеют лишь кони
перед тем, как падут.
Чья-то молодость — мимо,
ярче, чем автоген...
Ах, развалины Рима,
русский наш Карфаген!
Одинок и печален,
жизнь и смерть пополам...
Кем, когда обезглавлен
милосердия храм?
Эти горькие мысли,
как в ладонь пятаки.
...У обочины жизни
сидят старики.

Николай ЯКИМЧУК

ТРИ РАССКАЗА

Рассказы Н. Якимчука необычны — и в то же время продолжают старую, но забытую линию нашей литературы — литературы странной, избегающей готовых форм, готовых идей, предпочитающих иронию, недомолвку, пародию и самопародию. Смысл здесь вылавливается через тонкую игру слов, интонаций, сдвига реальности — в этом сдвиге как раз и есть то, что хочет сказать автор. Среди «дредноутов литературы», заполнивших последнее время всю акваторию, такие «легкие лодки» внушают надежду на то, что литература будет развиваться, что не будет вечно такого однообразия, как у нас, — то левого, то правого, но однообразия. Надеюсь, что читатели оценят необычные и тонкие рассказы Н. Якимчука.

Валерий ПОПОВ,
Ленинград



Рисунки Юлии Николаевой
Фото Александра Спицына

Выходил в дождь, или в снег, или в ветер. К чему больше прикасался. Каялся прозой — читал Ро...ру. Распад его, серебро и гордыня, оскудение жизни. Я ушел со службы — слава Богу, нищий. На рынке должен выбирать дыни, груши — торговаться. Потому что бумажные деньги не мои. Смотрела и плакала девушка. Стыдно, неловко, нелепо. В окне поезда капли и борзые деревья. Получил от провинциала Набатникова пакет с рукописями его и жены его — мексиканки. Провинциал Набатников живет в Мехико и гордо счастлив этим. Стыдно торговаться и иметь смерть. Хорошая фраза — фаза жизни: неопределенность и злак. Прорастет ли? Девочки молочные, чистота еще спеленута, школьницы, но уже знают что почем. Сижу, дребезжу на желтой поездной лавке. Под лавой света, обрушившегося из-за туч. Зло ветвисто, прилипчиво. У одной магнитофон под ухом, тлеет разговор, рядом спелая женщина лет тридцати шести. Все им объясняет. И — объяснит! Гаражи греются и грызутся боками. Проезжаем. Жужжит разговор, спелость улыбается. Кивает руками в стороны. Зрение меркнет, спина гнется, живот растет. Мимо мелькает лицо в проходящих навстречу голубых вагонах. Дружественные связи связали по рукам и ногам — в себя не заглянуть. Надо каждый день писать — тренировать сердце. Девушка с челкой смотрит в меня, в мою грудную клетку — сквозь разъятое пространство. Но ее в клетку не надо, пусть мир пьет свободной. В метро гудит ветер ада. Голова погружена в безмолвие. Свет лимонно-белый, как на том свете. Есть ли вообще свет на том свете? Скамейки коричнево-малиновые, люди толстые. Сидят, проезжая, а наверху солнце живое и толстое. Летает весна. Весна уже не летает, пропала, пала вслед за закатом. Вязь слов — колчан стрел индейца. Индейцы же экологически кончились. Счастье — это когда женщина рядом прислушивается к твоему дыханию. Гулял с девушкой в парке, заполненном весенним льдом пополам с водой. Ствол кинжальной сосны белый, крона сиреневая. Собирали коллекцию бабочек. Изучали природу. Ноги стали мерзнуть, как луны. Девушка нежно (навсегда!) плавала ладошками в моих волосах. Еду опять вместе со всеми (один) в метрополитене. Напротив две девочки из оркестра. Скрипки сложили спинами. Скрипки в вишневых футлярах. Вишен в прошлом году в саду было изрядно. Лепили компоты. Вишенки барабанили сквозь бледную ночь до утра. Когда-то, маленькие, они давали пропасть вишен. И я был невеликий и счастливый под ними: все еще были живы. Как наш бревенчатый дом ликовал (это я был праздничен — клубникой вселенской). Опять поезд пассажиров. Съезд их, конгресс. Девушка сапожком задевает мою затертую джинсу. Джюс пью этого дня железный. Вот сердце зашевелилось и говорит мне: возьми эту девушку на мушку (у нее красные колготки и красный шарф) и подкинь в небо — пусть оторвется от своих бумаг — чтива. Пассажиры склонились хоботами в глину желаний. Я сегодня в основе дня все гулял по метрополиэтлену — болит сердце. В окошке красная луна падает по полям. Стекают капли. Вдруг закололо в безымянном пальце — что-то я забыл назвать или кого-то. Не помню. Девушка по-прежнему чтивом богата — живет убого. Вспоминаю Ю. Как она холодная и равнодушна к луне, к солнцу; к себе — селедкой. Я-то ей дал дар; не поняла, поскольку скудна даром творянским. А вот Свечечка, девочка-медвежонок, так светло и озаренно летит по небу со всеми своими челочками и мизинчиками. Встать отдаленно, на опушке, колени преклонить и помолиться за нее.

В сердце снуют иголки, а над заливом гром. Без зарниц; снег намокает. В парке он и она в прудах серебристых отражались, она нежно приняла звездной пылью. Головы хмелели мартом. Слово легкое вино пролилось в снег. В плетеных корзинах, на окне, у меня живут на земле эдельвейсы и синие ветреницы. Их запах (а может быть, цвет) по нраву моим собакам, лающим и летающим по комнате. Комнат всего семь, и если в одной закат, то в другой восход. Я выхожу иногда в долину, где (с ножом — тауэром) охраняю краснопалые виноградники: экологический патруль. Однажды я упал со скалы в море. Понт — понтировал. Пока я думал — прыгать ли, подул ветер, я упал, свалился в брызги. Обрученный брызгами, ими обученный. В морском царстве у местного царя борода сталактитами. Хмурый он в морщинах. Дочки эротичны, вселяют жизнь, ходят по твоей коже неслышно, но приятно — музыка по спине течет. Пес прибежал по цветы, лизнул веточку омелы. Счастье — это когда воздух гремит солнцем. Сидит на поездной лавке некая дева черными ногами-змеями вперед. Лузгает семечки алебастровые. Змеи шевелятся, ищущаю. Залез к ней в карман — заела — уличил в яйцеедстве — 100 штук в кармане оказалось. Еще видел сегодня клубок молний; проснулся, голова лежит рядом, усы в пиве. Пил не отрываясь. Пел марш «Прощание славянки» вместо того, чтобы пить гоголь-моголь. Гнался по деляческому городу — ел хамство. Л. отвесила мне полновесную порцию, дымящуюся, глотал. Глаза сухие, ветер стеклянный. Вид независимости: писать ручкой в блокнот в общественном транспорте. Другая (женщина) в белой шапочке и белых сапожках, но снег уже растаял — она опоздала. Дни, где ловишь хвост исторического ящера. Они затхлые — тухнут бюрократы, жуют икру, зубы их краснеют. Обмотанный телефонными проводами выхожу утром в сад — дышать. Предполагаются яблоневые почки. Снег — скважинами — всхлипывает. Эти жрут икру красными зубами; тупая радость живота. Вот тот поезд, которым заигрался пародийный крат от бури (бури-крат, бюро-крат), он держал его цепко, не отпускал, слюни от удовольствия текли — на заросшие семечковой лузгой бока электро. А я ждал впуску на ветру, и меня ждали. Ненависть кипела в больном зубе. Когда-то его называли «мудрости». Так вот, подводная жизнь оказалась музыкальной. Водоросли коричневые ночью, луна, если взглянуть со дна, — смотрит красным рыбьим глазом. Отговорил телефонным голосом. Мою девушку привязали к стулу пираты. Звоню — звук стремительный их напугал, развязали просмоленные веревки, подняли шершавые ладони вверх — сдались по одному. Встретил возле театра кино — в дождь, в хлябь, в распутицу человека в матроске, поверх леопардовой дохи. Сбыл ему лишний билет — и он поторопился смотреть собственную фильму. Благодарил и подарил на прощанье кусочек леопарда. Дождь усилился, и я скрылся под убегающими деревьями. Там же, в золото-солнечном саду обнаружилась моя запропавшая девочка-медвежонок. Пир взглядов и речений. Хорошо на речном песке, где лес стрекоз, где свет их крыльев вырабатывает раду. Летали слова постороннего мира; мы замкнулись друг в друге. Ее волосы пахли золотым светом. Время раскололось грозой — металось грозное по побережью. Я поднимал клубки молний, разматывал пряжу. Ели теплый сыр с солеными брызгами — вприкуску. Холодные крабы шевелились в темноте. Море пахло креветками. Ошибка была равна нулю. Поправка к нулю приближалась. Мы приникали друг к другу — не прикасаясь. Автономия вечности. Литераторы пили не закусывая. Толстое пальто (кто в нем) ворочалось под боком. Непотребно чавкали

сумки — их следовало наполнить чем-то ароматным. А мы с медвежоном уже сидели — без дублей и дураков в зале замка, где абрикосовые колонны, их можно по чуть-чуть. Вдохнул абрикосовой мякоти, распрямил плечи — медвежонок поет песенку о розе. И богатеет лето. Кровь встала на пальце, как маяк. Во время хладного снега и колючего верблюжьего дождя я подхожу к луне, пью. У правого (неправого!) ботинка отвалилась подметка. Я хохочу о своей утраченной жизни. Вечереет. Сомкнутым строем идут облака. Я — старею. Растет (а зачем?) борода брода. Бутылка быта опрокидывается на меня. Я мою мою голову шампунем; вспоминается сладкий запах керосина. Раковина засасывает воду. Свет темный и тусклый. Глаза залеплены — на просвет мушки пятнистые и музыка. Тру череп. За окном расцветает снегопад. Уже ни утро и ни день. 50 г колбасы на день, поллитра минеральной воды в пузатом азиатском стекле (наклейка наклеена косо, обратной стороной, в гармошку), кус ржаного хлеба, птичье молоко — в один день все употребить, размеренно. Полный день творения, не выходя из конуры, а от счастья нарисовать на потолке летящую мимо мужчин женщину (все мимо и мимо). Нарисовать и быть счастливым этим. А волосы у нее раздаются волнами на ветру; и при этом запах ее волос нарисовать — пережаренного июля, запах сена сеновала — чуть сырватого к ночи. Долой дисциплированные формы. А грамматики мы грамотнее. Как сумеем, так и сыграем. Поле вчерашнее, влажная рожь, малиновые колокольцы, никакой лжи. Который век, которой эры? Идут по полю пражора из агропрома с делегациями и стаканами под мышками. Поле, так сказать, чудес. В стране безумных идей и служилых людей. Хорошо и скромно тикает телефон. Я намертво к нему приговорен. Сидят рядом две (женщины), греют. У одной пятнистые колени, другая в белом. Одна держит скорпиона на поводке и скорбно улыбается рыжими волосами. Другая — холодна, арктическая опушка. Насечки на сердце рубить — они всегда готовы. Нет, не дамся, уйду в бермудский треугольник. Вечер хорошо ворожит тишиной, похожей на готический собор. Горожане отлили смолу на кочевников, сбросили на атакующих многотонные бревна. Город выжил, храм дышит. Обнимаются горожане и горожанки на площади, а собор молчит тишиной. Отзвонил я, отлюбил, отговорил — пора и честь знать, на небо собираться. Какая там погода, какую одежду готовить; потребуется ли талант, дар в хрустальных сферах? Художник должен жить долго; дети его должны быть счастливы. Изнеможение; не можешь — не живи. Если стоять ближе к свету, к уличным огням, то вдруг понимаешь свою усталость одинокой. День бега — бег дня. Как я сжимал нежно медвежонок. Голубые рыбки счастья плавали в глазах. А потом события устремились и были по-своему счастливы и несчастливы. Все женщины в празднике, пульс их, мартовская полька. Мы противоположно ползали с медвежоном по мокрому снегу, накрывшему асфальт. Под асфальтом летает бездна. Землю распродали налево-направо. Все это, безусловно, масонские штучки. Завелись они в земле как черви, а потом ее выели. Но на асфальте вдруг зацвела музыка — мартовский подснежник. Скоро мы все провалимся в пустоту, если не начнем молиться красоте. Мои дороги пустынные. Медвежонок вконец замучился от пересекающихся, воющих, скрежечающихся трасс, от знакомых лиц идиотов, а меня пригибал этот — азиатский город. Я был не прав. И тут девушка отдалась от меня, отделилась, захотела от нелепого соседа (меня) избавиться. Подсыпала мне в кубок замерзительного, и стало глохнуть сердце, а душу разъела соляная кислота. Полосатые кошки, рыжие, ражие, все перебегали меж нами. Я оглох,

печаль объяла меня по самую душу, но я был виноват (виват, печаль!), соленые кристаллы печали на моих побелевших джинсах. Одежда — смысл и вечная мера бюргерства. Одежда моя старая и странная, морская. А под ней жизнь горячая, кровь бьется и хочет наслаждения. Мой голос плох — я кричу медвежонка, а девушка меня не слушает, рвет белорозовые яблоки, сочные, пахнущие лавандой и корицей. Сон сочный: проснулся, а глаза болят — так напряженно я тебя высматривал. Живу один, в поездах, никому не принадлежу, а мне радость в зубы от проезжающих мимо спелостей (женщина). Ночью спал в деревянном тереме, утро встречал под барабанный бой словес о демократии. Утренние, под легким снегом сосны-крестоносцы. Разговоры о трезвости в полукупе — обсасывают собственные смелые попойки, а едут три (девицы) под окном. Их взгляды — вялые парниковые тюльпаны. Путь в мелькающих снегах гибельно-усталый, чуткий. Болит сердце, холод млеющего воздуха поглаживает. Всегда не хватает каких-то минут, чтобы разложить жизнь по экземплярам. Газетная правда суше правды вагона. Раздерган и болен и уже жизнь все уже по вагонным колеям. В чужом городе я свободен и нем. Говорю громкие гимны. В родном сух и мнителен. Давит металл. Воздух все утекает, а на место океана ложится железо. Легенды куют смерть. Ночь чернильно-пасленна. Медленное кипящее масло (женщина) в купе. Труд памяти обрезается серебристым ножом — за окном держава. Ржавый свет. Женщина (в объятиях) напоминает солнце. Шепот венценосных лучиков. Они входят в грудную клетку, живот, кончики пальцев. Вдруг открываешь гармонию. Мартовская гроза. Ветер отъезда. Горечь лукового сока во рту. Моя профессия — приносить несчастья. Я последний поэт этой деревни. Дневник дописывать или нет — все равно. Все равны в этом мире: деревья, воздух, слова человека, чернила, бумага, любовь, ненависть, яблоко, отчаянье, сон, парус, ключ, код. Ничто не похоже ни на что. Продолжать ли, остановиться — вот вся свобода, весь бег жизни. Надо многое успеть — такая предстоит занятость. Сын спрашивает, укладываясь: сколько звезд на небе, папа? Ты считал? Может быть, миллиард?

Авангардист Орофеев, Дон-Жуан и женщина

Проза — разная. Она — как мужчина и женщина, сидящие за зеленым столом под абажуром. Прислушаемся к тому, как они ссорятся. Плотность ряда.

Орофеев — художник. Так он сам не считает. Так думают те, кто покупает его картины, тот, кто любит его цвет. Орофеев считает себя мистификатором. Понимая, что машет кисточкой от несерьезности жизни. Он нищ духом, но жена его, Ольга Орофеева — напротив — богата. Она — существо замечательное, очень тонкое и духовное, к тому же прелестная женщина. У нее локоны и большие карие глаза. Она — фальшивомонетчица и нимфоманка.

Она. Скоро новый год, милый, время уходить.

Он. Как поезд.

Она. Москва — Бухарест.

Он. Почему в Бухарест?

Она. Там нет перестройки.

Он. Мы не вправе вмешиваться в дела братских партий.

Она. Ты опять был вчера у Неждановой?

Он. Откуда ты знаешь?

Она. Жена Козлова тебя видела возле ее дома.

Он. Смотри, что пишут в «Известиях»: «Н. Чауше-

ску — выдающийся и любимый вождь румынского народа».

Она. А какая погода в Бухаресте?

Он. Минус два. Зато солнечно.

Она. Так ты все-таки был вчера у Неждановой?

И тут вопрос Ольги гаснет, как свечи на пюпитре рояля.

Музыканты уходят, и нас обволакивает тишина. Мужчина и женщина укладываются спать — по-разному.

Орофеев — авангардист. Ольга — тонкая и изящная женщина, втянувшаяся в операции с фальшивыми купюрами. Они не совпадают и совпадают.

Чуть взлетает в полусумраке их румынская двухспальная деревянная кровать.

Уже бормочет полночь. Сейчас они будут объясняться. Признание в любви отпадает. Признание в нелюбви?

Она. Нам пора объясниться.

Он. Раз и навсегда? В который раз?

Она. Жизнь проходит, жизнь проходит. Ты этого не чувствуешь?

Он. Мир скоро умрет вместе с китами и бабочками.

Она. И мы?

Он. Я не верю в бессмертие.

Она. Завтра я пойду с признанием к прокурору.

Он. Давай спать. Слушай, а может, уедем в Новую Каледонию, начнем все сызнова.

Она. Я боюсь ходить по улицам — эти распоясавшиеся юнцы. Эти ревушие бессмысленно машины. Какой страшный мир. Боже! Эти тянущиеся толпы, сбившиеся в стаи подонки! Из города исчезли деревья, исчез смысл. И только когда я слышу хруст рождающихся изумрудных купюр — нежных, как дети, я успокаиваюсь. Знаешь, почему я стала фальшивомонетчицей? У нас не было детей, вот в чем причина.

Он (засыпая). В Новую Каледо...

Женщина ночная просыпается, как скрипка. На подоконнике белый снег. Елка в углу мерцает пронзительно. Входит Дон-Жуан.

Д.-Ж. Тсс! Муж спит?

Она. Как будто, как будто уснул. Да, ему снится, что он погружается на дно вселенной.

Д.-Ж. Заманчивый сон. Помню, помню, и я когда-то спал так же безмятежно в объятиях Лауры.

Она. Ты знал Лауру — расскажи о ней!

Д.-Ж. Женщина, которую любил, неопределима словом. Ее вспоминаешь желанием: Лауру я желаю по сих пор.

Она. А меня?

Д.-Ж. Тебя желает государство.

Она. Я скрываюсь от него, я убегаю от мужа, я ухожу от себя. А от меня уходит время.

Д.-Ж. Время никуда не уходит и не возникает из ничего. Пади в мои объятия!

Она. Я мужняя жена. И буду год ему еще верна.

Д.-Ж. А потом?

Она. Потом — приходи.

Дон-Жуан исчезает во мраке. Проходит мимо секунда, а может быть, и год. Мы этого не знаем, уснувшие под поздними слепыми гляделками телевизоров. Не спит один Невзоров. Он лихо стреляет, разбивая витрину «Котлетной». Он уже руководит группой захвата «600 секунд».

600 секунд для одноразового захвата, но ухватить смысл Ольги Орофеевой нам не удастся за это время.

Она. 600 секунд прошли, как жизнь. Все мальчики и девочки в глазах. Кровавый Сашка нам внушает жизнь. Но отчего-то мне не спится, слепит морозные ресницы. Куда податься? Сталин с нами. Но кто же



я? И что — за нами?

Д.-Ж. Вот я вернулся, прелестница. Всю жизнь я карабкаюсь на вершины: Лаура, Беатриче.

Она. А я простая женщина, учти. Тебе со мною будет скушно. Я быстро надоем твоим утехам. Будь снисходителен ко мне — меня ленивый муж мой не лелеял. Поэтому отчуждена я от мужчины. Поэтому со мною спать опасно.

Д.-Ж. Я с женщинами давно не сплю — в веках пролились силы.

Она. Ну, слава Богу! Спать с тобой не будем.

Д.-Ж. Тебе — откроюсь: я с женщинами только платонически общался. Иначе — вся поэзия — в кусты, под ноги, всмятку, всклянь — исчезнет.

Она. О, Дон-Жуан, таинственный товарищ!

Д.-Ж. Где муж твой?

Она. Авангардист? Все спит, как суслик Сталин.

Д.-Ж. Он страстный был любовник?

Она. Кто — Сталин? Был пламенный садовник: к российскому дьячку привил он СПИД.

Д.-Ж. О, Господи, какие страсти!

Она. Не говори! Наш мир реальный страшен. И скушен, как не вбитый ржавый гвоздь.

Д.-Ж. В тебя влюблен я — выйдем в сад, там свежеть.

Она. А муж все спит. Ну что ж — изменим мужу. И изменим привычный образ жизни. И смерти.

Д.-Ж. Ты прелесть! Какое наслаждение — ждать тебя. В веках, как привидение, томиться.

Она. Из-за тебя готова утопиться! Тебя люблю я, Дон-Жуан.

Д.-Ж. А муж?

Она. Он спит. И видит сон, что мы с тобою держим друг друга за руки.

Авангардист Орофеев просыпается.

Он. Кто с тобой, Ольга?

Она. Проснулся? Что же, знакомься: мой суженый в веках, мой Дон-Жуан.

Д.-Ж. Имею честь, а вы кто?

Он. Я слабый человек-мистификатор. Я духом нищ и разумом не вышел.

Д.-Ж. Куда?

Он. В народ. Но это все пустое. Теперь как быть нам с женщиной греховной?

Д.-Ж. Духовной! Вот в чем причина отчуждения жены от мужа! Ты внушил ей одну греховность, позабыв о том, что она одухотворена самим Творцом.

Она. О, Жуан! Ты больше меня начинаешь понимать... больше, чем женщина.

Он. Ну что же. Я вижу, разговор серьезный. Прошу к столу — попьем чайку ночного. Решим, как дальше быть нам и на что решиться.

Она. Ты в Каледонию хотел, а вышло — к Дон-Жуану.

Он. Всегда мы корректировали планы.

И тут они все трое присаживаются к столу, в удобные кресла. Повисает некая пауза. Пауза предновогодняя — она пахнет бенгальскими огнями, хлопушками, спелой хвоей. Витает в воздухе запах халвы — кос, именно кос, когда во рту сладко до изнеможения. Пьют чай из тонкого японского сервиза. Почти чаепитие в Мытищах. Часы бьют полночь.

Д.-Ж. Уж полночь пробило, а все развязки нет.

Он. К чему развязка, если жизнь прекрасна. Мне завтра подадут мой гонорар — в валюте, разумеется. Три выставки мои возникнут разом: в Гонконге, Гонолулу и Париже. А нежная одна особа ждет днем и ночью грешного меня.

Она. Нежданова?

Он. Смотри, что пишут: Жданов с нами. А Чаушеску перекрыл границы. И выперли туристов: поляков, немцев — досрочно. А наших не пустили, хотя мы и просили. Странная страна, чудная!

Д.-Ж. На свете много, друг мой Орофеев, еще такого... Взять хотя б тарелки, летающие, которых вы нарисовали тыщи, в свои картины грубо расписав. Вы видели их?

Он. Признаюсь — нет. А вы?

Д.-Ж. Я в них летал. Однако же молчу, поскольку тайны — оси мироздания. А болтовня пуста и бесполезна. Дальнейшее — молчание.

Она. О, Дон-Жуан! Какой ты здоровый муж! С тобой пойду я на край света! С тобой! Я брошу нимфоманство и фальшивые купюры! Я брошу Орофеева, как знамя разбитого и смятого полка! Я брошу все — служить тебе я буду!

Он. А как же я?.. Дали, Пикассо, Врубель?

Она. При чем здесь ты — тебя не существует!

Он. Ах, так! Тогда скажу тебе существеннейшее — забыла, голубушка: ведь ты имеешь дело с Дон-Жуаном. Сегодня он тобою увлечен, а завтра? Уже в Толедо он, в Биаррице, в Майами — с Лаурой, Ингой, Беатрис, да с кем угодно!

Она. Жуан, ответь ему!

Д.-Ж. Мне нечего сказать. Мошенники всегда реальней видят. Прощай, любимая, в слезах прощай, Ольга.

Дон-Жуан исчезает.

Под абажуром порхают летние бабочки. Орофеев решительными мазками рисует Дон-Жуана. Ольга названивает подруге.

Декабрь 1989.

Гамбургский счет

21 ноября

Уже третий месяц — ни слова по-русски. Живу в Гамбурге. Без тебя в снах, как в холодах — пропадаю. Осень, но сухо — тепла хватает. Живу в гостинице, захватанной руками турок. Они мне даже симпатичнее, чем немцы. Тем, что пьют чужое небо, как и я. Спускаюсь в бар или опускаюсь в ресторан, или ниже — в ад. Такой уютенький ад. Сосиски, герр? Благодарю. Всех благодарю. Официанты во всем мире одинаковы. Стать одинаковым — поступить в официанты? Бемби, Бемби — где-то теперь твоя теплая ясность. В России, говорят, холода. А я будто никогда в ней и не жил. На месте России (в сердце) — сосущая тоска. В холле отеля «Империял» познакомился с англичанкой, она дизайнер. Говорили совсем мало, пили бренди и ликер. Потом она пошла ко мне в номер. А я по дороге все пытался понять: зачем она идет со мной? С одного боку — ясное дело, для чего. А с другого? В другое время, в России, это было бы романтично и притягательно — ночь с англичанкой. Но в Гамбурге все теряет свой смысл и изначальную ясность. Все мои действия тут механистичны, как лапы снегоуборочной машины.

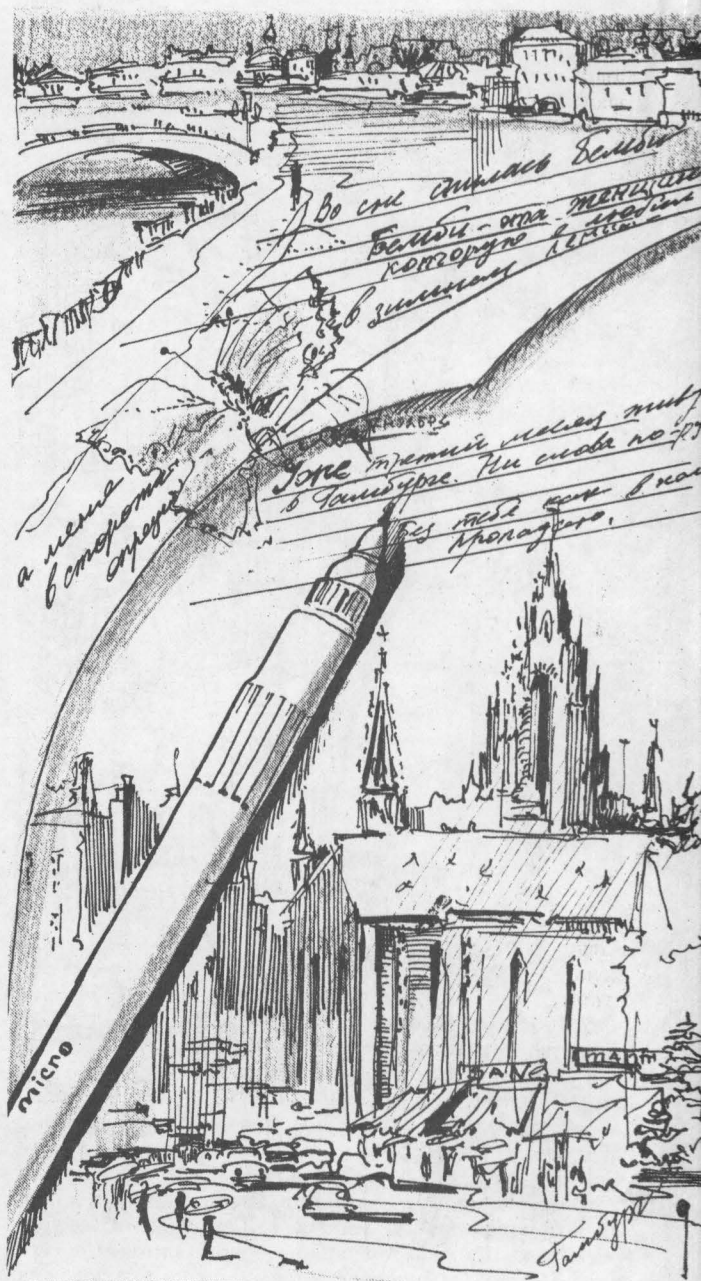
Были, есть и будут. А может быть, не будут — когда я умру. Сколько же мне еще жить здесь — без бабочек и убиенных царевичей?

22 ноября

Во сне снилась Бемби. (Бемби — это женщина, которую я любил в зимнем Ленинграде пять лет назад.) Я тогда собирался слыть режиссером — учился среди людей. В пивных подвальчиках, в последних ночных троллейбусах, словом, повсюду — наблюдал бесконечный круговорот идей и людей в природе. Вместе со мной наблюдала девочка, которую здешние бабочки называли Бемби. Вот, скажите — совсем свихнулся парень под немецким небом! Не скажите! Хорошо помню: именно бабочки подсказали мне, что возлюбленную мою зовут Бемби. Я тогда сторожевал в одном из дворцов Юсуповых. Пролетарии господ отсюда повыгоняли, а меня в сторожа определили — подработать. И вот вечером однажды пришла Бемби ко мне на всю ночь. В замкнутом роскошном пространстве повенчались мы телами грешными. Она, тлея, и говорит: разведи камин, холодно. Полез на чердак: пыль тереть. Нашел ломаных стульев, досочек от ящиков с надписью «Магос» наломал, — морока, но... Дрова наломанные загорелись, вспыхнули, как подкупленные. У Бемби глаза сверкают — юные, свежие. А в дымоходе, соображаю, спали летние бабочки. Тепло их колыхнуло — заметались по розовой гостиной Юсуповых. И тут-то ясно услышал то, что уже давно сам знал: имя возлюбленной — Бемби. Как они порхали: бабочки и Бембины ресницы. Как все колебалось в такт языкам огня — сумерки пепельные дымились счастьем, ничто еще не предвещало мою гамбургскую плаху.

23 ноября

С утра ныл череп, вставать не хотелось вовсе, читал



Гоголя. Жил я когда-то на Невском проспекте, помнишь? Теперь там перспектива перегорожена митингами. Телефонировали из Мюнхена: им нужен для радио мой рассказ о жизни в России. А я уже все забыл — только о Бемби помню, только о ней одной могу рассказать, а кому ж это нужно, кроме меня? Даже ей это уже скучно, поскольку она отлюбила мою осень; мои слова и ей безразличны бесконечно. Шаловливая и шалая — была и такой она. Задумчиво-небрежная — входила в мои глаза. Кому нужны эти горячие воспоминания: политизированной России, мешанскому Западу, заокеанскому президенту? После обеда раздвинулся в сторону Рипербана — блестящие (от световой рекламы) улицы, чистенький люд, холеная речь. Господи, верни меня в молчаливое понимание Бемби, — молил я бессмысленно, как дышал. В сторону Рипербана — в сторону Свана, — рифмовал я от отчаяния беспутные слова. Бессрочные, как небо, которого нет. Потом малайка и китаянка. Роскошь Востока под пиво в остром креветоч-

ном хламе. Хлам в душе — не храм. Почему, Господи, ты не доверил мне построить своего Храма? Отчего не поддержал меня на путях моих? Зачем спутал и разорвал географическую сетку? Спаси мя и сохрани. Сначала малайка, а потом китаянка. Бемби, прошу, хотя б припрись.

24 ноября

Я не умер вчера на улицах и площадях неоновой Гамбурга. Остался бессменно жив — художник русского театрального авангарда. Остался, ползая по жестяным желобам и извиваясь. Ломалось бессмертное тело — сначала китаянка, а потом уже малайка. Болели уши — ревел непрерывной безумной трубой водопад. А труп вы мой закопаете, милостивые герры? Или сожжете, а прах по ветру развеете — во след бегущим по небу воронам. Нет, нет — лучше любите меня, как полюбила меня на Елагином острове моя сказочная отравка, моя сладкая слава — моя Бемби, спаси ее и сохрани, Господи. Дождь, дождь проливной вдруг сыпанул, ленинградский как будто, родной до нитки — трезвел я медленно хмельным языком. Вспыхнула Бемби — на Елагином, в белые ночи, катались на летучих мышках. Опять некоторых осенит сомнение — где это видано? Видано, когда любишь девушку, и когда она шелков китайских попросит, то добудешь — что ж говорить уже о летучих, родных нордвестских мышках. Катались, говорю, сначала на ялике, который я ломанул у спортивно-военного клуба имени тов. Троцкого-Троицкого, катались всласть по бледным, мерцающим теплым светом протокам, купались нагие. Прекрасна Бемби: и в черемуховом ситцевом платье, пьянящем, и нагая прекрасна, как лотос, высверкивающий путь в ночи. Хочу через воздух мчаться, — говорит, — земли, воды не касаясь. Придумай — как, — просит единственный раз за жизнь. Девушка моя ненаглядная, готов я с тобой новый путь торить, — говорю ей с блеском и волшебством. Купаемся в кипящей сладкой июньской воде — еще темнеет ночь, но уже рассвет свою дружескую лапу протягивает. И вот тут-то над самой головой лопочут крыльями летучие мыши — на белое нагое тело сориентированные. Образуют вокруг нас вихри, хороводом своим перепончатым создают воздушную подушку, я на нее подсаживаю мою редкую Бемби — счастье лететь в ночи, воздух сам держит. Взмываем, милая, говорю, в беспосадочную жизнь. И вот приземлился теперь в Гамбурге. Налево — ресторан «Шанхай», направо — бар «Олга», а посередине мое русское дерево клен — иначе сказать, русский бывший театральный режиссер Вадик, по дороге в Канн, обломившейся в Гамбурге. Выпьем, герр полицейский, за мимолетное время!

25 ноября

Проснувшись, опять держал в руках Гоголя. Когда-то на Моховой, в учебке, поставил я некий абсурдный спектакль, где скакал по «Запискам сумасшедшего» Поприщин, где под линзой от КВНа лежало убитое тело царевича, а Гоголь бродил по Риму с козой. Тут усмотрели намек на Третий Рим, то бишь на Москву, а в Москве в то время... Так кончился (с треском гнали — двери помнят) мой театральный авангард. Позвонила Сильвия, бедняжка, влюбленная в Россию (то есть в меня). Сегодня она заканчивает дизайн в Гамбурге и улетает в Лондон. Проститься решили — пообедать — в китайской ресторации в «Шанхае» гамбургском. Скучно. Собирать одежду и голову — уточнять сегодняшний день. В сущности, все дни мои закончены. Мыслей, друзей, возлюбленных, смерти — нет. Как это получилось — легче не отвечать.

Пиво, Гоголь, жульен, коктейли, Елагин, Бемби,

Рипербан, «Шанхай», Сильвия, «Олга». И среди всего этого Бог. А я его связной.

26 ноября

Вчера случилось событие. И если песчинка сдвинулась в Сахаре, а снежинка в Гималаях, то это и повлекло за собой причину. В этом я убежден основательно. Поутру нынче все вчерашнее вспоминается, как сон. Расскажу, извольте: ей-богу — материализовалась мысль. И то: я ведь столько думал об этом последнее время. Последние известия: мы с Сильвией отправились в «Шанхай».

Она высокая шатенка, точная и точеная, как цирферблат Биг Бена. Китайские соусы и анчоусы, рисовая водка, зеркала на потолке, в полумраке, как будто под водой дышишь. Мы танцевали, она прижималась чешуей, предлагала поехать в Лондон. Куда? Россия, санный путь в березах (крестный?). Все кресты вдоль дорог. А оркестр благосклонный вальс венский наяривает. Сидим уже в сумерках зеркальных. Над нашим столиком порхают улыбки Сильвии. Вот движение в ресторане — вошли туристы, припахивает делегацией. Так и есть (вжался я в себя) — русская речь. Не смотри, не смотри на свои отраженья! Ведь ты сбежал оттуда (будь честным до конца), чтобы не смотреть в себя, чтобы забыть о себе полоумном, бескровном, бесправном. Не смотри на них, не слушай их восхищенных щедрот. Не впитывай ухом голодным их рассыпчатой эйфории! Это чужие, ты их ненавидишь посмертно, посменно. За что? Не оглядываясь, Орфей... Та женщина, за крайним столиком у эстрады — проявляется, как переводная картинка. Бемби! Бемби, дошла ты ко мне. Пришла, как подаяние мироздания. Настигла — молчи. Или лучше вот так — говори по-немецки. Настигла, говорю, как сон на рассвете. Бемби, я к тебе не пойду. (Женщина, говорящая по-немецки.) Еще рюмку рисовой водки, Сильвия. Змеи, годятся и змеи, твоё здоровье, Сильвия. Ты знаешь, я приеду к тебе в Лондон. Да, я принял еще сто пятьдесят и принял решение: я еду с тобой в Лондон и целую кончики пальцев твоих. (О, Биг Бен!) И там, в лядащем издыхающем Лондоне я буду счастлив. Я буду счастлив не с тобой, Сильвия. Я буду счастлив ожиданием — теперь я знаю точно, что моя божественная возлюбленная, моя бедная Бемби, никогда не покинет меня, и там — наша следующая встреча, как — в зеркалах следующей жизни.

20

КОМНАТА

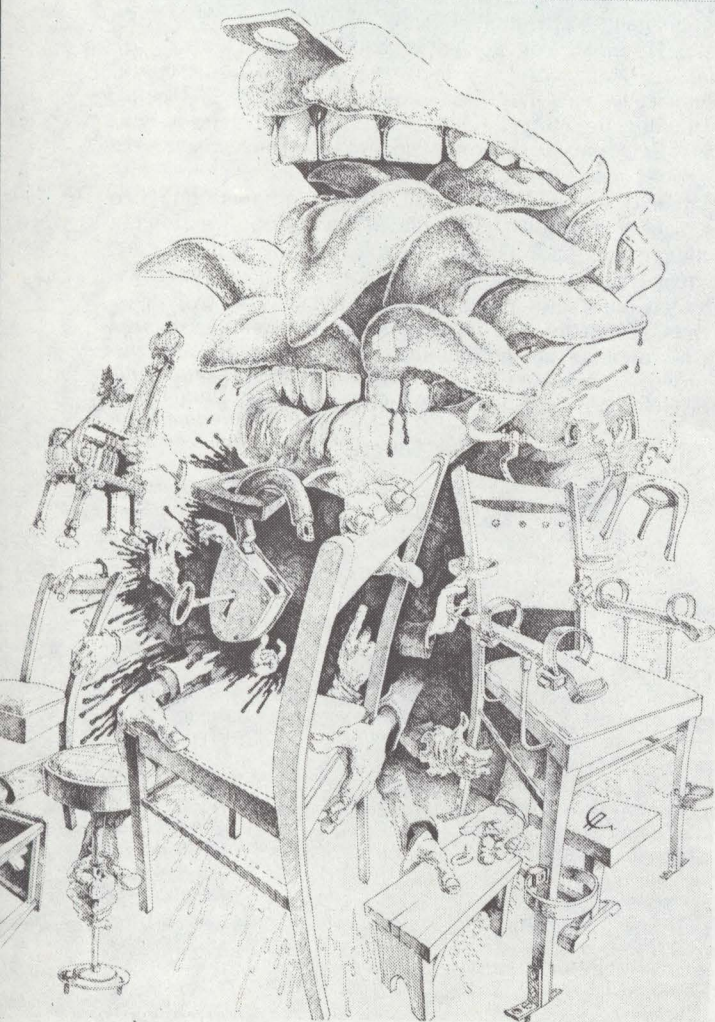
ЗАСЕДАНИЕ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕСВОБОДНЫЙ
МИКРОФОН

Рисунок Сергея Пояркова, г. Киев

Жизнь есть страдание, было сказано в шестом веке до нашей эры. Если вдуматься, станет ясно, что это ответ на все вопросы и решение всех проблем.

Жизнь есть страдание, причина которого наше рождение, а выход один для всех — им можно воспользоваться в любое время, раз и навсегда. Все религии — до марксизма включительно — пытались дать рецепт спасения. А дело обстоит гораздо проще: никакого спасения нет. И верно: кому оно нужно, это вшивое человечество?

Так в чем же, пардон, смысл жизни? Очевидно, проблема «зачем я живу» в рамках здравого смысла решения не имеет. Следует спросить — почему я живу?

Я живу потому, что меня родили, не поинтересовавшись, как я к этому отнесусь. Я не желаю слышать, что мой смысл жизни — какие-то лозунги, идеи, свершения, светлое будущее, благо неопознанной абстракции — общества. Я хочу получить от жизни радость — иначе эта жизнь просто не выдержит конкуренции со смертью. Я буду жить, как мне нравится, буду драться, пока мне это нравится, за те цели, в необходимость которых (для радости других) я поверю. Буду писать стихи, пока не перестану получать от этого удовольствие. Буду надеяться, буду стараться получать радость от работы, общения, дружбы, секса. Это не программа. Это способ не покончить с собой.

Если все время помнить, что закон жизни есть страдание, становись намного мужественней и безболезненно избавляешься от иллюзий. мучительных философских изысков, мыслей о самоубийстве, от панического страха перед жизнью.

«Жизнь есть страдание» — это просто принцип человеколюбия.

Д. РОМАШИНА, 20 лет,
студентка, г. Свердловск

В биологии существует такое понятие — координированное сообщество. Это форма общения, смысл которой легко можно объяснить на примере стада обезьян. Для них характерна слаженность и организованность действий, которая становится возможной лишь при наличии внутри стада иерархии. В любом из сообществ существует вождь (альфа), которому подчиняются соплеменники. Его заместитель — следующая по рангу обезьяна (бета). Далее следуют животные — гамма, дельта, вплоть до омеги, подчиняющейся всем членам стада и подвергающейся гонениям. Все животные ведут себя согласно своему рангу: они не посягают на права старшего и не дают спуска тем, кто ниже их.

Это что касается животных. А теперь о людях. Человек вопреки общепринятому мнению стал человеком не тогда, когда обтесал первую дубину, а когда осмелился выйти за рамки своей функции-буквы, когда понял, что может раскрыться, найти себя в чем-то, в чем даже он превзойдет вожака.

Так появилась Личность. За всю историю их было немного, но без них мы до сих пор жили бы в пещерах, потому что именно они двигали прогресс вперед. Вся

наша трагедия состоит в том, что у нас сохранилась иерархия, так характерная для координированных сообществ. Большинство людей предпочитает подчиняться «альфам», взамен вожаки гарантируют им защищенность и пищу. Добившись места в стаде, «дельты» и «омеги» ревностно охраняют свои привилегии и мечтают лишь о передвижении на следующую ступень. Отсюда — одногласные голосования, системы поведения «я, как все», отсюда — серая, безликая масса индивидов, способных лишь исполнять приказания и не привыкших к самостоятельному мышлению.

Ю. ВАСИНА, г. Москва

...Я вам расскажу об одном парне из Афгана. Несколько дней назад он изнасиловал мою дочь, ей 14 лет. Он ей так и сказал: «После Афгана у меня нет ни жалости, ни пощады ни к кому, все свои нервы и душу я оставил там». Это нормальный человек? Этот выродок, ублюдок кичится тем, что был в Афгане?!

Он работает в органах милиции, так что мне без связей нечего и судиться начинать. Можно, конечно, собраться с силами начать эту канитель, но это ничего не даст, свидетелей нет, особых синяков видимых нет — он знает, как это делать. Она ж (тоже дуреха!), пока я пришла с собрания, все замыла, застирала, мне ничего не сказала, боялась расстраивать, но через два дня не выдержала...

Он, конечно, пригрозил ей, чтоб молчала, да и сам знает, что не будет она этот позор выставлять, знает, что у девчонки одна мать, год как похоронила мужа. Мне 35, а кто их мне даст?! Жить не хочется, устала жить, устала от всего, что навалилось одно за другим, нервы никуда, дрожат руки, болит голова, остеохондроз замучил, и никакого просвета. Верите, не знаю, что и делать. Дать делу ход бесполезно. Я знаю здецинные порядки — покроят, откупятся, родители зажиточные, и мы же будем виноваты...

Мое письмо, наверное, бестолковое и сумбурное, но у меня в голове нет ничего, слезы заливают. Помочь мне никто не сможет, да я и не прошу. Но я б хотела, чтобы и вы знали, какие есть еще войны — «афганцы», «интернационалисты», подонки в форме.

Хожу по комнатам, как волчица в логове, и вою от своего бессилия что-либо изменить...

ТАТЬЯНА, г. Харьков

Восторжествовала правда жизни еще в одной сфере нашего существования. Теперь мы знаем не только то, кто и что у нас ест, кто чем дышит (в прямом смысле), что творилось во времена Сталина и Брежнева, но и то, как мы на самом деле размножаемся.

Действительно, ханжество и лицемерие в половом воспитании искалечили много судеб. Но разве это доказывает то, что просвещение должно осуществляться главным образом в плоскости физиологии сексуальных отношений, когда подразумевается избавление от оков изжившей себя ханжеской морали и представляется прогрессивной свобода этих отношений? Разве доказано, что чистота и целомудрие являются анахронизмом? Действительно, многим для личного счастья необходимо знать, как предохраниться от зачатия ребенка и получить физическое удовлетворение. Но разве можно забывать о тех, кто готов к гораздо более глубокому восприятию интимных (не зря существует и такое определение) отношений, но по наивности своей не знает, как много могут значить чистота и непорочность. Давайте не будем, раскрепощенные и свободные от комплексов, брать на себя ответственность за всех и считать себя постигшими истинную сущность секса. «Свободная любовь» — это скорее всего подчиненность действий человека половому влечению, инстинкту, что является не достижением прогресса, а признаком примитивности человеческой природы. И, прежде чем нести свое суждение неопытным

и доверчивым, подумаем об ответственности перед ними.

Много ли мы понимаем в том, что собой представляет и чему должна служить та огромная творческая энергия, высвобождаемая в половом акте? Много ли мы знаем о связи между возможностями рождаемой личности и предыдущей сексуальной жизнью родителей? А задумывался ли кто-нибудь из нынешней молодежи о смысле таинства освящения брака церковью?

Я глубоко верю в высшее духовное (если хотите — божественное) начало в мироздании и природе самого человека. Но природа человеческая двойственна. По своему горькому опыту знаю, как тяжело пробивать дорогу этому светлому духовному сквозю дремучие джунгли низших инстинктов, из подсознания управляющих нами. Поэтому нельзя бездумно, по простоте своей, той, что хуже воровства, добровольно окунуться в клоаку, из которой потом далеко не всякому по силам выбраться. Не хочу ни с кем полемизировать, но, предвидя возможные упреки в невежестве, все же прошу поверить мне на слово — как кандидат биологических наук кое-что смыслю в тех вещах, о которых пишу. И об одном только прошу тех, кто имеет возможность влиять на миллионы неокрепших душ: давайте не будем заслонять проблемой противозачаточных средств и эрозонных зон проблему постижения высшей любви между мужчиной и женщиной.

Станислав ЕРМОЛАЕВ,
Краснодарский край

Каким целям служили молодежные институты, существовавшие во многих известных истории бюрократических государствах (так называемых «политархиях»), — янычары в Османской империи, корпус пажей в средневековой Буганде или, например, хунвэйбины в Китае XX века? Исследователи «азиатского способа производства» утверждают, что для устойчивого существования крупного централизованного государства такого типа необходима возможность замены руководящих кадров по верховной воле, а следовательно, и резерва кадров, готовых к аппаратной работе.

Вспомним, как заботился о выращивании и подготовке кадров наш собственный политарх Сталин. И каковы были кадры, воспитанные «отцом народов». Далеко не всякий дойдет до такой степени нравственного падения, чтобы стать угодным сталинской или брежневской номенклатуре. Именно такова и была цель деятельности нашей кузницы партийного резерва — комсомола. Это окончательное растление тех, кто был согласен стать «первым учеником».

Время оправдало их ожидания: подавляющая часть комсомольских работников впоследствии выдвигалась в партийные органы.

Сегодня комсомол — это не молодежь, комсомол — это прежде всего аппарат. Откажись мы от него, мы ничего бы не потеряли. Аппарат потерял бы кресла и, распростившись с розовой мечтой о номенклатурном «коммунизме», вернулся бы к полезному труду.

Нам нужен союз, позволяющий реально влиять на политическую жизнь в стране. Таких союзов, при идеологическом плюрализме, наверное, будет несколько. Молодежные клубы и отдельные организации могли бы объединяться в союз на федеративных началах. В целях демократизации центральные органы союза будут выносить только рекомендательные решения, а рамки их деятельности будут определяться рамками доверия вошедших в федерацию молодежных клубов.

Много ли найдется сегодня комсомольцев, сомневающийся в том, что комсомол не напоминает демократическую организацию? Давайте заменим его ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СОЮЗОМ МОЛОДЕЖИ.

А. ШЕРШНЕВ

Виталий
ПОНОМАРЕВЗАПОВЕДНИК
АТОМНЫХ
КАТАСТРОФ

Этот город не обозначен на географических картах. До недавнего времени само его название составляло государственную тайну, интерес к которой, мягко говоря, не поощрялся...

Город без имени

«Челябинск-40». От Челябинска это километров 100 по дороге, а 40 — это номер почтового отделения, имеющего общую с областным центром индексацию.

Как возник «город»? В конце 1945 года в район г. Кыштыма прибыла группа военных строителей, возглавляемая генерал-майором Я. Д. Раппопортом. Был намечен план работы. Летом 1946 г. заключенные (под руководством военных) приступили к рытью котлована под фундамент ядерного реактора. На месте будущего химического завода началось строительство вспомогательных объектов, а через год уже высились основные корпуса.

В начале 1948 г. на одном из заводов «сороковки» был закончен монтаж первого советского промышленного реактора. Под личным наблюдением прибывшего из Москвы И. В. Курчатова началась загрузка в реактор небольших урановых блоков. 19 июня состоялся долгожданный пуск.

В 1948 г. весь комбинат с ураново-графитовым реактором вступил в строй. Началась наработка плутония — «начинки» для советской атомной бомбы.

29 августа 1949 г. на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба, собранная из плутония, произведенного комбинатом в «сороковке». Успешное испытание дало толчок широкому форсированию «атомного проекта».

В 1949 г. на «объекте» сооружается второй реактор, затем — следующие три. Американцы описывают комбинат как огромный индустриальный комплекс, имеющий несколько километров в длину.

На фотографиях с их спутника видны железнодорожная и шоссе ветки, линии электропередачи, трубопровод. Именно после прохождения через этот район в 1960 г. был сбит под Свердловском американский самолет-разведчик У-2. Тогда район не выдал своих тайн.

Да и сегодня попасть сюда может далеко не каждый желающий. Однако в июле прошлого года власти решили сделать исключение для американцев, допустив их на территорию города. Американцы, среди которых были конгрессмены и журналисты, смотрели, спрашивали, фотографировали. «Комсомольская правда» поспешила опубликовать заметку «Открылся город», забыв добавить, что открылся он лишь на несколько часов, по-прежнему оставаясь за колючей проволокой и под бдительным оком КГБ.

Впрочем, есть причины, по которым власти действительно стали чаще приглашать сюда журналистов и... даже «неформалов». Это — усиливающаяся в области критика проекта уже начавшегося строительства Южно-Уральской АЭС, призванной заменить на территории «сороковки» выводимые из эксплуатации военные реакторы. Официальная точка зрения об абсолютной безопасности атомной энергетики большинству населения кажется малоубедительной. Чтобы понять обеспокоенность жителей области, достаточно вспомнить многочисленные инциденты на плутониевом производстве в «Челябинске-40» начиная с конца 40-х годов. О многих из них жители, в отличие от корреспондентов, узнавали не с чужих слов...

Радияция наступает

Проблема радиационной безопасности населения возникла сразу же после пуска плутониевого комбината. Как признает академик Ю. Харитон, отношение к радиации было весьма легкомысленное. Достаточно сказать, что до 1951 г. (по другим данным — до 1952 г.) радиоактивные отходы сбрасывались без очистки в реку Теча. По официальным данным, выброс в Течу в 1949—1952 гг. составил несколько миллионов кюри. Вследствие полного пренебрежения экологическими нормами радиационная грязь была разнесена на огромные территории и обнаруживалась вплоть до Северного Ледовитого океана. Между тем населению ничего не было известно об опасности.

С. Шагиахметова, наблюдавшая в те годы за уровнем и температурой воды в Тече, вспоминает, что в начале 50-х гг. по реке плыла густая жидкость, сверкающая всеми цветами радуги. Жидкость покрывала воду толстым слоем — толщиной в палец. Эту воду пили, на ней варили пищу. К 1952 году жители села Метлино обнаружили, что дикие утки стали плохо летать. Появились и другие зловещие признаки.

К 1951—1952 гг. ситуация в районе стала настолько критической, что власти вынуждены были ввести первые меры предосторожности. Сброс радиоактивных отходов в реку прекратился. Течу местами огородили проволокой, запретив населению собирать грибы и ягоды, косить сено и т. д. Неэффективность таких мер нетрудно понять, если вспомнить, что запретная речка протекала в 50 метрах от деревенских огородов, а домашнюю птицу и скот не удержишь административными запретами... Сельские жители тогда тоже не очень-то понимали происходящее. Милиционеры мяти ведра грибников, сжигали сено — но разве за всем уследишь?

А вскоре произошло еще одно событие. В 1952—1953 гг. в районе села Метлино (там, где сейчас строится АЭС) сооружали промышленный объект «комбината». Живший неподалеку В. Мещеряков вспоминает, что произошла авария и в реку попала радиоактивная грязь. Многие тогда получили высокую дозу радиации. «После 1953 года в Тече погибла вся рыба от Метлина до Курманова». В район срочно приехали специалисты из Москвы. Они обследовали вещи жителей и предложили от них избавиться — все было заражено.

Несмотря на сильное радиоактивное загрязнение, только в 1955 г. (спустя 2 года!) были переселены люди из сел и деревень Метлино, Асаново, Верещагино, Назарово, Смолино, Надыров Мост, Ибрагимово, Исаево, поселка Теченской геологоразведки и др. Всего — 8000 человек. Об этой эвакуации пишут мало и неохотно, потому что сотни людей, не эвакуированных вовремя, болеют и по сей день.

В июле 1989 года бывший руководитель Минсредмаша Л. Д. Рябев пытался обойти этот вопрос на слушаниях

в Верховном Совете, связав эвакуацию сел вдоль реки с событиями 1957 года. На фактах, приведенных в его речи, строились многие газетные публикации. А между тем дата первой эвакуации — 1955 год — установлена точно. Не пытаются ли власти скрыть еще одну опасную атомную аварию¹.

Все эвакуированные получили по 400 рублей компенсации (старыми деньгами) и часто заниженную властями стоимость дома.

Течу стали промывать, увели по обводным каналам вокруг озера Кызылташ, потом перегородили, грязную воду скопили в искусственных водохранилищах, где ей предстоит отстояться до 2150 года.

Было принято решение использовать для сброса отходов бессточные воды на территории «объекта». Первоначально отходы пошли в замкнутое озеро Карачай, активность сброса в которое составила около 120 миллионов кюри. (Для сравнения: при аварии в Чернобыле было выброшено 50 миллионов кюри активности.) На берегу озера стало опасно находиться. Вскоре были сооружены и искусственные водоемы, однако они не сняли проблемы.

Экологические последствия производства ядерных материалов стали приобретать катастрофический характер. По решению руководства были срочно созданы огромные бетонные емкости (толщина стенок около полутора метров), куда помещалась «кастрюля» из нержавеющей стали с жидкими радиоактивными отходами. Действовали специальные автоматические системы вентиляции и охлаждения, однако, по свидетельству министра Л. Д. Рябева, должного контроля за хранением не было.

Катастрофа

История самой крупной до Чернобыля советской атомной аварии в общих чертах уже была описана в нашей печати. 29 сентября 1957 года в одной из «банок» с радиоактивными отходами отказало охлаждение, началось усыхание раствора.

Незадолго до взрыва у «банки» прошла контрольная бригада. Инженеры ничего необычного не заметили, правда, стенки у одной из «банок» были теплыми...

Через 2—3 часа прогремел мощный взрыв. Бетонную крышку метровой толщины выбросило в сторону. 90 процентов активности (из 2 миллионов 100 тысяч кюри) выплеснулось на площадку, а десять процентов рванулось вверх. Над корпусами комбината начал подниматься столб дыма, который быстро рос, достигнув километровой высоты.

Сильный юго-западный ветер погнал радиоактивное облако над территорией области. Через четыре часа оно находилось на расстоянии до 100 километров, через 10 — до 300. Образовался «ядерный язык», в котором преобладал долгоживущий стронций-90, он протянулся через Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую области.

Общая площадь заражения стронцием-90 составила более 15 000 квадратных километров. На зараженной территории проживало около 270 000 человек.

Наибольшую опасность, по официальным источникам, представлял район порядка 900—1000 квадратных километров — вытянутый овал длиной 105 километров, шириной 8—9 километров. (Иногда утверждают, что это и есть весь радиационный след.) Через 7—10 дней после взрыва отсюда экстренно были выселены три села — Бердяниш, Салтыково, Галикево. У жителей этих сел средние дозы облучения достигали 17 бэр по внешнему облучению и 52 бэр — по эффективной эквивалентной дозе. Через 250 дней после аварии состоялась плановая эвакуация еще одной зоны, затем еще два переселения. Всего за полтора года было отселено 10 180 человек. (Для сравнения: при аварии на Чернобыльской АЭС было эвакуировано 116 000 человек.) Были полностью ликвидированы три и перенесены 19 деревень.

Режим ограниченного использования загрязненных территорий был введен сразу после аварии только в головной части «следа». И лишь по мере эвакуации (в течение полутора лет!) распространился на всю тысячекilометровую зону.

Насколько правильно были определены ее границы — во-

прос, который пока остается без ответа. Так, у деревни Татарская Караболка охранная зона была установлена в 200—300 метрах от жилых домов. Деревня Русская Караболка (в 3 километрах западнее) была полностью эвакуирована. Все 350 ее домов разрушили, то, что осталось, солдаты закопали в траншеи. Жителям же Татарской Караболки разрешили сажать огороды, пасти скот, ловить рыбу и т. п. Единственное, что запрещали, — это ходить в лес внутри зоны, рвать грибы и ягоды. В 1958 году Галинур Гайнутдинов с отцом повезли продавать мясо на рынок в Свердловск. Санинспекция забраковала мясо как радиоактивное, им выдали справку и по ней заплатили деньги. Хотя денежного убытка семья не понесла, жить, однако, по-прежнему приходилось в зараженном районе.

По современным меркам, сроки эвакуации и меры радиационной безопасности были явно недостаточными. Тем более что официальные лица об аварии 1957 года хранили полное молчание, вплоть до лета прошлого года, когда Л. Д. Рябева пришлось рассказать о ней при утверждении его на новую должность в Верховном Совете.

Крайне мало свидетельств имеем мы о том, что происходило после аварии в самом «Челябинске-40». По свидетельству прессы, несмотря на то, что сразу после взрыва 29 сентября в городе резко поднялся уровень радиации, комбинат продолжал работать.

Из-за режима особой секретности, вспоминает первый заместитель министра среднего машиностроения Б. Никитин в интервью корреспонденту «Правды», «об аварии никто не говорил. Но мы понимали, что ситуация очень серьезная, потому что пришлось сменить всю одежду... Даже деньги в городе были «грязные».

Жертв при аварии не было. Можно считать, что городу повезло — радиоактивное облако прошло в стороне от жилых кварталов. Повезло и Челябинску. Если бы дул не юго-западный, а обычный северо-западный ветер, эвакуировать пришлось бы весь 700-тысячный областной центр.

Люди и крысы

Изучение влияния радиации на растения, животных, водоемы началось одновременно со строительством «Челябинска-40». В Касли — по соседству с закрытым городом — обосновалась группа Н. В. Тимофеева-Ресовского, проводившего лабораторные исследования с участием ученых, вывезенных из Германии. В «сороковке» имела другая лаборатория и свои специалисты, прошедшие строгую проверку на благонадежность.

Авария 1957 года коренным образом изменила масштабы и задачи исследований. Потребовалась организация медицинского наблюдения за большим числом людей с территорий, зараженных радиоактивными веществами.

В 1958 году был создан филиал Ленинградского НИИ радиационной гигиены, впоследствии переименованный в филиал Института биофизики АН СССР. Филиал расположен на территории первой городской больницы в Челябинске. Как и все учреждения такого рода, он не рассчитан на оказание массовой помощи пострадавшим. Клиническое отделение ФИБ имеет всего 50 коек, в основном для лиц, проходящих профилактические обследования. Эти обследования жителей пораженных районов проводились сначала ежегодно (первые три года), а потом — раз в 10 лет.

В настоящее время под наблюдением филиала находится около 60 тысяч человек (в эту цифру не входит население «Челябинска-40», обследуемое другим учреждением). По утверждению директора ФИБ профессора Владимира Шведова, состояние здоровья «наблюдаемых» тревоги не вызывает. «Лучевой болезни не наблюдалось, жертв не было. Раковые заболевания? Есть, но не более, чем в других районах. Отсутствие детей у некоторых жителей? Вряд ли это связано с радиацией, доза была недостаточно велика».

Профессор Шведов является специалистом именно по критическим дозам. Возглавляемая им лаборатория занята практическим моделированием последствий аварийных ситуаций с радиоактивным заражением местности. Масштабы экспериментов не могут не поражать. При исследовании «аварии-1957» через «модель» Шведова пропустили 22 000 животных, искусственно зараженных стронцием-90. В результате была установлена «пороговая доза облучения, ведущая к отдаленным биологическим последствиям». По словам сотрудников лаборатории, установленный уровень радиа-

¹ То, что не все благополучно с официальной информацией, видно из статьи в «Комсомольской правде» (15.07.89), где заявлено, что «никаких химических или радиоактивных отходов оборонное предприятие в Течу не сбрасывало». И это после всех официально сделанных заявлений о «сбросах без очистки» в воды Течи!

ции нашел подтверждение при исследовании населения. Сейчас в лаборатории Шведова — новая работа по моделированию чернобыльской катастрофы на белых крысах. Несмотря на то, что профессор запросил новые десятки тысяч животных, население мало верит его успокаивающим заявлениям, сделанным в последние месяцы под давлением общественности.

Ликвидация последствий аварии

Ликвидация последствий аварии 1957 года составила трудную проблему. Дезактивацию осуществили в основном путем перепашки сельскохозяйственных угодий. На территории пораженных районов были созданы специализированные совхозы, в основном производящие мясные продукты. Общие расходы по ликвидации последствий аварии (включая переселение) составили около 20 миллионов рублей в современных ценах, а ущерб от изъятия земель — примерно 7 миллионов рублей.

Проблемы безопасности здоровья населения не сводятся лишь к ликвидации последствий случившегося в 50-е годы. Так, в 1967 году областная санитарно-эпидемиологическая станция зафиксировала вынос ветром радиоактивных веществ из озера — хранилища отходов плутониевого производства. Радиоактивный ил с обезвоженной вследствие усыхания части водоема был разнесен по территории площадью 5000 квадратных километров с 30 населенными пунктами. Ведомство пыталось скрыть происшедшее, в результате накопление радиоактивных веществ в организме людей в 5—6 раз превысило норму. По неофициальным данным, ветровые выбросы радиоактивного ила имели место и в 1969—1972 годах.

В технологическом водоем-отстойнике № 10 (на Тече) уровень радиации и сегодня, спустя более 30 лет, составляет 120 микрорентген в час — в 10 раз выше нормы. По-прежнему во многих местах видны таблички: «Вход в лес, сбор грибов и ягод строго воспрещен».

Ситуация с радиационной обстановкой в области не могла не породить тревоги у населения, особенно в последние месяцы, когда проблема радиационной безопасности стала открыто обсуждаться на страницах прессы. Дискуссия особенно активизировалась в связи с начавшимся строительством Южно-Уральской атомной электростанции, сооружаемой в закрытой зоне в 8 километрах от «Челябинска-40».

Вокруг проекта АЭС

Появление проекта Южно-Уральской АЭС не было случайностью. К началу 80-х годов промышленные реакторы химкомбината «Маяк», на котором работает население «сороковки», исчерпали свои технические ресурсы и стали постепенно выводиться из эксплуатации. К августу 1989 года был заглушен третий по счету реактор, а на 1990 год намечена остановка последних двух реакторов комбината «Маяк».

Остановка реакторных заводов химкомбината поставила перед руководством проблему трудоустройства высвободившегося персонала (около 4000 человек). Специалисты первых двух реакторов перешли в основном на работу на Ростовскую АЭС, около 20 процентов осталось на предприятии для контроля за ходом консервации атомных котлов. Такое решение, однако, не вполне удовлетворяло администрацию и персонал комбината. Руководители были недовольны падением статуса предприятия, потерей квалифицированных кадров. Рабочие опасались изменений в условиях жизни и предпочитали сохранять места в городе с хорошим (по советским меркам) снабжением. Проект АЭС был в этом отношении «идеальным решением», поскольку гарантировал создание 4000 новых рабочих мест взамен ликвидированных на реакторных заводах.

Крайне привлекательным выглядел план строительства Южно-Уральской АЭС и для военно-промышленного комплекса. Как известно, реакторы на быстрых нейтронах, которыми предполагается оснастить АЭС, осуществляют расширенное воспроизводство плутония — главного компонента ядерного оружия. Хотя в условиях сокращения вооружений использование ядерных материалов становится все более мирным, тем не менее широко рекламируемая «остановка и конверсия оборонных производств» на деле сохранила потенциальные производственные мощности военно-атомной индустрии: устаревшие реакторы заменялись на более современные, причем финансирование проекта проводилось

как «промышленное строительство» за счет немилитаризованных статей бюджета.

Важным экологическим аргументом в пользу АЭС было наличие в «сороковке» завода по захоронению радиоактивных отходов. Замкнутый технологический цикл сокращал до минимума промежуточные перевозки радиоактивных элементов и отходов плутониевого производства. Нужно учесть и то, что новые реакторы были экологически более «чистыми», а наличие зараженных с 50-х годов территорий не требовало дополнительных согласований с местными властями относительно их использования для нужд атомной промышленности.

Область получала и определенные экономические выгоды от развития атомной энергетики. Нетрудно понять, почему проект строительства Южно-Уральской АЭС был без особых споров включен в пятилетний план и к середине 1989 года строители «освоили» уже 247 миллионов рублей.

Неожиданным фактором, нарушившим спокойное развитие событий, явилось вмешательство общественности. Первые выступления в местных средствах массовой информации появились в начале 1989 года. Авторы критиковали отсутствие гласности в проекте АЭС, говорили о замалчивании последствий атомной аварии 1957 года. Эти выступления первоначально не имели серьезного эффекта: район строительства Южно-Уральской АЭС был в то время полностью засекречен, и цензура снимала любое упоминание о происходящем на «закрытой территории».

Ситуация изменилась лишь в июле 1989 года, после того как министру среднего машиностроения Л. Д. Рябеву пришлось подробно отвечать на вопросы на сессии Верховного Совета СССР. Публикация текста выступления Л. Д. Рябева вызвала волну страстей в местной прессе, активизировала общественность.

«Атомщики» оперативно отреагировали на надвигающуюся кампанию. Уже 26 июля было опубликовано экспертное заключение по АЭС. В августе для 22 представителей «неформального движения» была организована поездка на строительную площадку в закрытой зоне «Челябинска-40». Многочисленные специалисты из Москвы и «сороковки» давали интервью прессе. Работники комбината в целом также высказывались «за».

Предвидя, что противники АЭС сделают основной упор на экологической экспертизе, сторонники проекта попытались перехватить инициативу. Помимо заверений в «гарантии безопасности», населению предлагалась широкая программа ликвидации последствий радиационного заражения предшествующих лет: в ближайшие год-два вернуть в оборот 2—3 тысячи га земель, пострадавших в 1957 году; осушить радиоактивное озеро Карачай («на это уйдет 3—4 года и около 60 миллионов рублей») и др.

В случае прекращения строительства специалисты пугали новыми опасностями. «Регулирование уровня» загрязненных промышленных водоемов «станет невозможным после остановки пяти реакторов», — писала «Правда». Согласно экспертному заключению, «уровень воды в водоемах поддерживался все это время военным объектом». Сейчас закрывают реакторы, «уровень вод повышается на 15—20 сантиметров в год. Это грозит тем, что вода польется в реку Течу». Интересно отметить, что так называемое «экспертное заключение» даже не упоминает альтернативные варианты решения проблемы переполнения загрязненных водоемов, тревожащей население в последние месяцы.

Вопрос об АЭС, безусловно, еще ждет своего окончательного решения. Пока же директор строящейся станции Ю. Тарасов активно выступает на страницах местной прессы за продолжение строительства. Рассуждения противников проектов и, в частности, известного биофизика Ж. Медведева, открытое письмо которого было опубликовано в «Вечернем Челябинске», он называет дилетантскими. В Верховном Совете СССР также не удалось провести решение о прекращении строительства АЭС, подготовленное Комитетом по экологии.

Неформальные организации Челябинской области, однако, не считают дискуссию завершенной. К февралю 1990 года ими собрано около 180 тысяч подписей под обращением против строительства АЭС.

И все же в Челябинской области трудно ожидать столь массовых выступлений против атомной энергетики, как в Краснодаре или в Крыму. За сорок с лишним лет существования атомного города население настолько свыклось с присутствием в области предприятий атомной промышленности, что мало верит в возможность изменения ситуации.



Марк
ЛИСЯНСКИЙ

☆☆☆

Живем, как правило, без думы
О том, что будет через год,
И пустоваты наши трюмы,
И ждет нас длительный поход.

Не мыслим и о том, что с нами
Случится через десять лет,
И сохранит ли наша память
Людей, которых с нами нет.

На вольном стыке волн и суши
Иные встанут города,
И не прозвизит ли наши души
Стальное лезвие стыда?

Какой мы взвалим груз на плечи
Инакомыслящих ребят,
Как отзовутся наши речи
Лет этак через пятьдесят?

Звонок из Парижа

Владимиру Максимова

Молчало чуткое пространство,
Заговорило, наконец,
И ликовало постоянно
Двух человеческих сердец.
Из бесконечного забвенья,
Пронизывая тишину,
Давно разорванные звенья
Соединились в цепь одну.
Шестнадцать лет! Как не бывало,
Не развязать того узла.
И чье-то сердце отпылало,
И чья-то молодость ушла.
Досталось миру и России,
Об этом стонут провода.
И мы не те, и вы другие,
Но торжествует правота.
Она пробилась сквозь запреты,
Сквозь пограничные столбы.
Перекликаются поэты,
Они сильнее своей судьбы.

Фрейлехс

Ах, фрейлехс под небом России,
Не танец — отрада глазам:
Под мышками пальцы большие,
Ладони открыты друзьям.
Мир пляшет, поет и смеется
Под слезы седых матерей.
И мальчик по имени Моцарт
Играет на скрипке своей.
Вот так Моисея прозвали

На улице нашей Сенной,
Где жил он со скрипкой в подвале,
Мечтая о жизни иной.
А жизни иной не случилось,
И Моцарт из мрачного дня
Играет на скрипке, как милость,
И смотрит с тоской на меня.
Ах, фрейлехс!
Не танец — награда
За этот затравленный взгляд.
Такая бесценная радость,
Что слезы вот-вот заблестят.
А скрипка и плачет, и стонет,
И звуки уходят во тьму.
И не кулаки, а ладони
Протянуты миру сему.
Ах, фрейлехс — еврейская пляска,
Веселые искры из глаз.
Еще не забытая сказка
Из детства, где нет уже нас.

Такие книжки

Сочинить бы мне такие книжки,
Чтоб любили девочек мальчишки.

Чтоб девчонки, одолев печали,
На любовь любовью отвечали.

Написать бы что-нибудь такое,
Чтоб лишить бездельника покоя.

Чтоб исчезли беды и напасти,
Чтобы дураков лишили власти.

Чтоб скупых без пенсии оставить,
Чтоб безвестных юношей прославить.

Поделиться давнею мечтою:
Чтобы злых лечили добротой.

Диалог с поэзией

— Поэзия, в чем вещий смысл
Твоей великой тайны?

— Становится насущной мысль,
Возникшая случайно.

— Поэзия, в чем суть и соль,
Какой гордишься ролью?

— Становится чужая боль
Моей безмерной болью.

— Поэзия, в чем твой секрет,
Таинственный и тонкий?

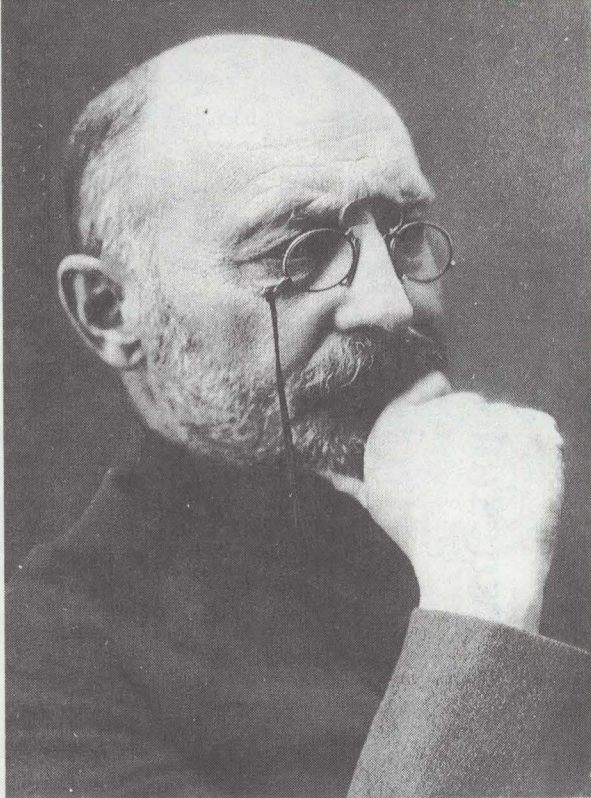
— Секретов нет. Есть только свет,
Пронзающий потемки.

Витебск

Мой тезка — Марк Шагал не по земле шагал,
Летал он над землею,
И пахла та земля смолою и золою.
Он шел по той золе вдоль витебских заборов
И думал о земле совсем иных просторов.
Он видел в облаках невидимую Богу
Свою во всех веках летящую дорогу.
А после во дворце, в своем парижском храме,
На витебском крыльце сын поклонился маме.
В Париже он, Шагал, свое прославив дело,
Пейзажи рисовал, в которых детство пело.
И бедный домик свой, где он на ветхой крыше
Зарею голубой его впервые пишет.
Пусть рядышком в дыму синенут воды Сены,
Он Витебску тому с любовью отдал стены.
Как будто в белом сне, в парижском доме этом
Возникли на стене нездешние сюжеты.
Обшарпанный весьма, раскинул Витебск старый
Убогие дома, гнилые тротуары.
Здесь прах родных могил,
Здесь встретил взгляд любимой,
Здесь душу озарил огонь неугасимый.
В тот дом, где за стеной шумит Париж веселый,
Он входит новоселом, как в Витебск свой родной.

«АХ, МИЛАЯ КОМСОМОЛИЯ!»

Из неопубликованного



В. Вересаев
Фотография 1927 года.

Эти слова принадлежат известному русскому писателю Викентию Викентьевичу Вересаеву. Они сказаны о комсомоле начала 30-х годов, которой писатель посвятил свой роман «Сестры». Судьба романа была трудной. Появился он в 1933 году. Но, даже изуродованный цензурой, он был сразу изъят с полок библиотек и магазинов. С тех пор роман не переиздавался.

Работая над романом, Вересаев жил, в буквальном смысле этого слова, среди своих героев—комсомольцев. Для этого он на полтора года поселился в московских Сокольниках вблизи завода «Красный богатырь», часто бывал на заводе, в молодежных общежитиях, а затем, во время коллективизации, жил на Рязанищине и в Подмоскovie.

Роман в первоначальной авторской редакции до сих пор не известен читателю. Оставаясь верным своим нравственным принципам, и в этом своем произведении Вересаев взглянул на окружающую его действительность глазами честно-го и не предубежденного человека. Человека, который, как сказал о нем М. Горький, шел в литературе «своим путем, не уклоняясь ни на секунду от излюбленной правды». Вересаев остался верен завету, которое ему, двенадцатилетнему мальчику, еще в 1879 году написали отец и мать на подаренной книге:

«Стой,— не сгибайся, не пресмыкайся,

Правде одной на земле поклоняйся».

В романе «Сестры» писатель повествует о годах, кровоточащих в нашей памяти. Это были годы первой пятилетки, годы, как их называли, «великого перелома», и в то же время — годы драматических коллизий в жизни людей, в нашей истории.

Вересаев, всегда вторгавшийся своими произведениями в самую гущу жизни (достаточно вспомнить реакцию читателей на его «Без дороги», «На повороте», «Поветрие», «Записки врача», «В тупике», «Исанку») и в романе «Сестры» остался верен своему творческому принципу. «Писательская моя сила — именно в связанности с жизнью», — записал он в дневнике незадолго до смерти. Но именно эта черта его творчества стала роковой не только для романа «Сестры», но и для всего его последующего писательского пути. После «ареста» в начале 30-х годов романов «В тупике» и «Сестры» он увидел, впервые в жизни, что изолирован от своих читателей. Прочитав однажды в газете «Правда»: «Книги В. В. Вересаева давно стали общенародным достоянием», — писатель отмечает в своем дневнике: «Горько читать. Трудно невыразимого стоило протащить каждую мою книгу даже в самом ничтожном тираже. И я прочною стеною был отгорожен от читателя... Выход был только один, — честно молчать». И он принял это трагическое для себя решение, написав в одном из писем в мае 1934 года: «Беллетристику я бросил, — не стоит писать. Занимаюсь «Спутниками Пушкина». Было тяжело не писать о том, что властно просилось на бумагу. Но зато он мог с гордостью сказать о себе в одном из писем: «Да, на это я имею претензию, — считаться честным писателем». Не случайно поэтому на «телешовских средах», где участникам литературных встреч давали прозвища по названиям московских улиц, Вересаев получил прозвище «Каменный мост». За нерушимость и твердость своих убеждений.

В этой публикации читатели впервые могут ознакомиться с заключительными страницами романа «Сестры», наиболее пострадавшими от цензуры. Авторский текст романа был восстановлен нами по рукописи из архива писателя.

Из романа

«СЕСТРЫ»

Уже полгода по заводу шла партийная чистка. В присутствии присланной комиссии все партийцы один за другим выступали перед собранием рабочих и служащих, рассказывали свою биографию, отвечали на задаваемые вопросы. Вскрывалась вся их жизнь и деятельность, иногда вопросами и сообщениями бесцеремонно влезали даже в интимную их жизнь, до которой никому не должно было быть дела.

Галошный цех, самый многолюдный на заводе, чистили в зрительном зале клуба. Председательствовала товарищ чуть седая, с умными глазами и приятным лицом; на стриженных волосах по маленькой гребенке над каждым ухом. Когда в зале шумели, она беспомощно стучала карандашом по графину и говорила, напрягая слабый голос:

— Товарищи, давайте условимся: будем потише.

Лелька быстро прошла чистку, — так неожиданно быстро, что у нее даже получилось некоторое разочарование, как на экзамене у хорошо подготовившегося ученика. Никаких грехов за нею не нашлось; и о производственной, и о партийной работе все отзывы были самые хорошие.

Быстро прошла и Ногаева. Выступила она, — грузная, толстошея, с выпученными глазами — и как всегда, видом своим вызвала к себе враждебное отношение. Заговорила ровно-уверенным, из глубины души идущим голосом, — и, тоже, как всегда, лица присутствующих стали внимательными и благорасположенными. Она рассказала, как работала на фронте гражданской войны, рассказала про свою общественную работу.

— Будут вопросы?

Поднялась старая работница Буеракова и сказала с восторженностью:

— Какие там вопросы! Такая коммунистка, что просто замечательно. Сколько просветила темных людей! Я и сама темная была, как двенадцать часов осенью. А она мне раскрыла глаза, сагитировала, как помогать нашему государству. Другие, бываю, в партию идут, чтобы пролезть, в глазах у них только одно выдвигание. А она вроде Ленина. Все так хорошо объясняет, — все поймешь: и о рабочей власти, и о религии.

Хлопали. Конечно, прошла.

А с Матюхиной в конце вышла маленькая заминка. Вызвали. Взошла на трибуну, — курносая, со старушечьим лицом, в красной косынке. Начала, волнуясь:

— Я родилась в семье крестьянина, конечно, в Воронежской губернии... И родители мои, конечно, были бедные...

Потом овладела собой, хорошо рассказала, как ее деревню разорили белые, как пришлось ей скитаться, как голодала. Работала на торфоразработках, потом на кирпичном заводе. Там поступила в партию.

Посыпались наперебой любовные, умиленные характеристики.

— Все ее знают, что там! Работает, — прямо не налюбуешься, как работает.

— Такие кабы все мастерицы были, мы бы в три года пятилетку сделали.

— И к нам, работницам, имеет самый хороший подход.

Один из членов комиссии спросил:

— А как у вас с партучебой?

— Учусь. Хожу в партшколу первой ступени. Только ничего не понимаю.

Хохот. А она прибавила очень серьезно:

— Что ж поделаешь!

Председательница сказала, улыбаясь:

— Все-таки постарайтесь, товарищ Матюхина, понять. Вы хорошая производственница, это по всему видно, но партиец должен понимать и политическую сторону дела, для этого нужно учиться.

— Постараюсь.

Вдруг женский голос из публики спросил:

— А как у вас насчет политики в деревне? Не отказались вы от таких взглядов, какие мне два дня назад высказывали? Она мне говорила, что в деревне притесняют не только кулаков, но и середняков, что всех мужиков разорили. Говорили вы это?

— Да, говорила, потому что это правда.

Председательница насторожилась и с глазами, вдруг ставшими враждебно-недоверчивыми, спросила:

— Вы там были, сами все это видели?

— Была, видела. Мой брат в деревне. У мужика всего 130 пудов хлеба, а наложили 120 пудов. Подушки продают, самовары.

— Отчего же вы об этом не заявили? Злоупотребления всегда возможны.

— Заявляла.

Из зала раздались взволнованные голоса:

— Везде так!

Председательница посмотрела сурово. Она спросила Матюхину:

— Понимаете вы политику партии в деревне? Кто прячет хлеб?

— Кулаки.

— А кто нам помогает?

— Бедняки.

— А еще кто?

— А еще... с-середняки...

— Вот, товарищ Матюхина. Насчет политики вам очень нужно подтянуться. У вас, видно, путанные понятия о классовой политике партии в деревне. Раз вы связаны с деревней, вам на этот счет особенно нужно иметь взгляды самые четкие.

Матюхина вздохнула и покорно ответила:

— Поучусь еще. Может, пойму, как надо.

Пришла очередь Баси. Все другие рассказывали о голодном детстве, о горемычном житье. Бася начала так:

— Моя биография не совсем такая, какие вы до сих пор слушали. Я в детстве жила в холе и в тепле. Родилась я в семье тех, кто сосал кровь из рабочих и жил в роскоши; щелкали на счетах, подсчитывали свои доходы, и это называлось работой. Такая жизнь была мне противна, я пятнадцати лет ушла из дома и совершенно порвала с родителями...

Когда кончила, кто-то спросил враждебно:

— Почему вы пошли в работницы?

— Хотела быть с рабочим классом не только в мыслях, но и в деле.

Раздались дружные голоса:

— Хорошая партийка, что говорить! Все ее знают довольно. Даром, что корни буржуазские.

— Таких товарищей побольше бы, особенно из женского персонала.

— Человек, на язык очень даже развитой. Когда бывают собрания, всегда выступает и говорит разные слова. Вбивает в голову нам, темным людям.

Все шло очень хорошо. Вдруг поднялась Лелька. Она была очень бледна.

— Скажи, товарищ Броннер. Тут на заводе работал одно время в закройной передов твой родной брат Арон Броннер. Он со своими родителями-торговцами не порвал, как ты, жил на их иждивении. Ты его рекомендовала в комсомол. И сама же ты мне тогда говорила, что этот твой брат — пятно на твоей революционной совести, что он — совершенно чуждый элемент. Ты его помимо биржи устроила на завод, пыталась проташить в комсомол, — и все это только с тою целью, чтоб ему попасть в вуз.

Бася остолбенела. Страшно бледная, она неподвижно глядела на Лельку. Глаза Лельки были ясны и уверенны.

— Будешь ли ты отрицать, что говорила мне это?

Бася оправилась от неожиданности, помолчала и медленно ответила, опустив глаза:

— Да. Все это так и было. Этого не отрицаю, и в этом я виновата.

Вышел на трибуну Ведерников.

— Товарищ Ратникова правильно все рассказала, и поступила по-большевически, что не скрыла ничего от партии, что ей сообщила Броннер. Я еще вот на что хочу заострить ваше внимание: этот самый Арон Броннер цинично сам сознался, что поступил на завод и в комсомол для, так сказать, той цели, чтобы пролезть в вуз. И когда мы его ударили по рукам, и он, понимашь, увидел, что дело с вузом у него не пройдет, он сейчас же смылся с нашего завода... Бася Броннер — товарищ хороший, выдержанная партийка. Мы можем свободно терпеть ее в своей среде и, конечно, исключать из партии не будем. Но за такое дело, какое она пыталась сделать для брата своего, ей надобно здорово, по-большевически, накрутить хвост. Чтоб и другим было неповадно.

...Заводской партком объявил мобилизацию рабочих в подшефный завод район на колхозную кампанию. Образовалось несколько бригад. Откликнулись на призыв Лелька, Ведерников, Юрка. Оська Головастов поместил в заводской газете такое письмо:

«Учитывая важность коллективизации сельского хозяйства для осуществления пятилетнего плана и для окончательного торжества социализма в нашем Союзе, а потому приказываю считать меня мобилизованным и отправить меня на пропаганду колхозного строительства в деревни подшефного района».

Устроены были при заводе двухнедельные курсы для управляемых на колхозную работу, и в середине января бригада выехала в город Черногряжск Пожарского округа. Ехало человек тридцать. Больше все была молодежь, — партийцы и комсомольцы, — но были и пожилые. В вагоне почти всю ночь не спали, пели и бузили. Весело было.

Утром, с запечными мешками на плечах, шли по широким улицам уездного города Черногряжска в РИК. Приземистые домики, длинные заборы и очень много церквей, — впрочем, частью уже обезглавленных.

Улицы были пустынные. Только у лавок Центроспирта стояли длинные очереди. И странно: почти не было в городской одежде, — стояли все бородатые мужики, в полушубках, многие в лаптях.

Юрка сказал, блеснув улыбкой:

— Чтой-то, товарищи, скучно как-то глядеть: одни деревенские. Ай тут городские водочкой не займутся?

Длинный мужик с невьющейся бородой ответил утрюмо:

— Им-то с чего займаться?

Другой добродушно крикнул:

— Добро свое, гражданин, пропиваем! Все одно, пропадать ему!

— С чего пропадать?

— Отберут. В колхозы гонят.

Ведерников вскипел:

— «Гонят!» А что же сами вы, — не понимаете, что в колхозах выгоднее?

— Может, милый человек, кому и выгоднее, не знаю того. А нам выгоды нету.

— Как же — нету? Дружно, сообща землю обрабатывать, — ужли же не выгоднее, чем каждому на своей полоске околачиваться?

— А станешь сообща так работать, как на себя? Может, у вас где такие есть люди, а у нас таких не бывает.

Взволнованно вмешался третий:

— Коли лошадь моя, я за ней вот как смотрю! Сам не доем, а уж она у меня сытая будет всегда. А в колхозе видал, какие лошади? Со стороны поглядеть, и то плакать хочется: одры! Гонять лошадей все мастера, а кормить никто не хочет.

На широкой площади, с шеренгою ларьков у собора, кипел базар. Но, собственно, не базар это был, а сплошная мясная лавка. Площадь краснела горами мяса — говядиной, свиной, бараниной. Никогда ребята не видели столько мяса, и чтоб оно было так дешево.

На облучке саней сидел подвыпивший мужик. Из саней торчали красные обрубки ног трех овечьих туш и одной свиной. Мужик, смеясь, рассказывал:

— Все прикончил, теперь — ч-чисто! Можно в колхоз иттить!

Городская женщина сказала:

— Жалко, чай, резать было?

Мужик перестал смеяться и отер вдруг намокшие глаза.

— Милая! Как же не жалко? Ведь сам всех выходил. Любовался на них, как на красное солнышко. А ныне вот — что продаю, что сами приели. Никогда столько мужик убойны не жрал, как сейчас. Плачем, милая, — плачем, давимся, а едим! Не пропадать же добру!

Шли ребята к РИКу призадумавшись. Глаза Ведерникова мрачно горели.

В РИКе присутствовали на заседании районного штаба по коллективизации, там получили назначения и директивы. Завтра утром должны были выехать на место работы.

Ночлег им отвели в районном Доме крестьянина. После ужина пили в столовой чай из жестяных кружек. Настроение было серьезное и задумчивое, не то, что вчера в вагоне. С ними сидел местный активист Бутыркин, худощавый человек с энергичным, загорелым лицом.

— Да, — он говорил, — добром с нашим крестьянством до многого не добьешься. Все народ состоятельный, плотники да землекопы, денег на стороне зарабатывали много. Про колхозы и слушать не хотят. Говорят: на кой они нам? Нам и без них хорошо, не жалуемся.

— Так как же вы?

— Поднажимать приходится маленько.

Ведерников решительно сказал:

— Правильно!.. Ах, н-негодяи! — Он взволнованно заходил вдоль стола, глубоко засунув руки в карманы. — В колхоз идти, а раньше того, понимашь, всю скотину свою порежут! А рабочие в городах сидят без мяса, без жиров, без молока! Расстрелять их мало! Всему государству какой делают под-рыв!

Юрка почесал в затылке, улыбнулся.

— Д-да-а... Тут, видно, работа позаквыристей будет, чем даже у нас на заводе ударяться!

Утром ребята по путевкам, полученным в исполкоме, разъехались по назначенным деревням.

*

Работа закипела. Собирали местных партийцев и комсомольцев, беседовали с ними и сговаривались, организовывали бедноту. Проводили собрания, страстно говорили о выгодности коллективизации, о нелепости обработки жалких поло-сок в одиночку. И сами опьянялись грандиозными картина-ми, которые рисовали перед слушателями: необозримые поля без меж, незасоренные посевы, гудение тракторов и комбайнов, дружная работа всех на всех, элеваторы, засыпанные тысячами центнеров зерна. Но весь пыл гас, когда взгляд упал на слушателей: чуждые, холодные лица и насмешливые глаза.

А потом выступали мужики. Говорить уже все научились, и говорили прекрасно.

— А машины вы нам дадите, — эти самые тракторы и... там еще какие?

— Со временем и машины будут.

— Со вре-ме-нем... Вот ты тогда со временем колхоз и строй!

— Товарищи! Да ведь и без машин... Вы подумайте толь-ко: чем каждому на своей полоске, то ли дело — все люди, все лошади дружно будут убирать общие поля!

— Дружно!.. Кто это у тебя там дружно будет рабо-тать? Кому до этого дело?

Заговорил крепкий старик; на лице его было три цвета: снежно-белый — от бороды и волос, розовый — от щек и ярко-голубой — от глаз. Он сказал:

— Как это, гражданин, — дружно? Будут работать, как в старое время барщину на господ работали. Да у вас еще, небось, восемь часов работа? По декретам? А коли пашня моя, я об декретах не думаю, я на ней с темна до темна работаю, за землею своею смотрю, как за глазом! Потому она у меня колосом играет!

По всему собранию загудело:

— Правильно!

— А стану я у вас в колхозе так работать? Я буду стараться, а рядом другой зевать будет да задницу чесать?

Как я его заставлю? А что наработаем, на всех делить будете. Нет, гражданин, не пойду к вам. Я люблю работать, не люблю сложа руки сидеть. Потому у меня и много всего.

Ведерников сурово слушал.

— Потому у тебя много, что ты кулак!..

Старик ударил ладонью по столу.

— Нет, я не кулак, я труждающийся! Чужой труд никогда не имел! Что есть, все руками вот этими добыл,— я да два сына. Никогда не имел никаких работников, да и ну их к чёрту, лодырей этих!

В собрании засмеялись.

*

Ведерников, Лелька и Юрка работали в большом селе Одинцовке. Широкая улица упиралась в два высоких кирпичных столба с колонками, меж них когда-то были ворота. За столбами широкий двор и просторный барский дом,— раньше господ Одинцовых. Мебель из дома мужики давно уже разобрали по своим дворам, дом не знали к чему приспособить, и он стоял пустой; но его на случай оберегали, окна были заботливо забиты досками. В антресолях этого дома поселились наши ребята.

Деревня была крепкая, состоятельная. Большинство о колхозе и слушать не хотело. Из 230 дворов записалось двадцать два, и все эти дворы были такие, что сами ничего не могли внести в дело,— лошадей не было, инвентарь мало годный. Прельщало их, что колхозу отводили лучшие луга, отбирали у единоличников и передавали колхозу самые унавоженные поля.

Ребята были мрачны. Лелька печально смотрела из окна антресолей на широкую деревенскую улицу, занесенную снегом,— такую пустынную, такую неподвижную. Вспомнила милый, кипящий жизнью завод свой. Сказала:

— А там, во глубине России,—
Там вековая тишина...

Как эту тишину прошибить, чем всколыхнуть?

Ведерников уверенно ответил:

— Прошибем!

До поздней ночи горел огонь в окнах сельсовета. Шло горячее совещание ребят с местным активом и беднотой.

*

Трехцветный старик (белая борода — розовые щеки — голубые глаза) выбрасывал из лошадиных стойл навоз, когда скрипнула калитка и во двор стали входить приезжие ораторы — Ведерников, Лелька, Юрка, и за ними — несколько мужиков-колхозников ихней деревни.

Старик спросил:

— Что надо?

Не отвечая, прошли в избу. Старик обеспокоенно двинулся следом. На лавке сидели два его сына, такие же голубоглазые. Вздволенные бабы стояли у печи.

Пришедшие как будто не видели хозяев, не отвечали на их вопросы и разговаривали только между собою. Юрка сказал Ведерникову:

— Вот домик ладный! Как раз подойдет под ясли и детдом.

Оглядели избу, оглядели клетки, чуланы и амбары. Ведерников отрывисто сказал:

— Дайте ключи от сундуков и чуланов.

— На что вам? Позвольте, товарищ, узнать, в чем дело.

— Все ваше имущество мы реквизируем. Вы кулак и подлежите выселению.

Старик оторопел.

— Выселению?..

Раздался взрыв бабьих рыданий.

— Ба-аюшки. Да что же это?

Мужики стояли бледные.

Зияли раскрытые сундуки, зияли чернотой распахнутые двери клеток и кладовушек. На лавках и на чистом, строгом полу грудой лежали овчины, холсты, новые сапоги, мужская и женская одежда.

Местный пастух, в очень грязных, разбитых лаптях, выкладывая из сундука вещи, изумлялся и встряхивал волосами.

— Ну и добра-а! И откедова столько раздобыли!

Старик подошел к Ведерникову.

— Позвольте вам, товарищ, объяснить. Кулак, говорите. Не знаю, как по-новому сказать, а по-старому: вот вам святая икона,— никогда за жизнь свою не имел чужого труда, все с сынами своими горбом заработал.

Мужик в клочковатом полушубке сказал извиняющимся голосом:

— Василий Архипыч, а ведь торговлишкой-то ты занимался!

— Игде?

— Игде! А не бывало так, что по всей деревне холсты закупишь да вместе со своими повезешь в город продавать?

— Нукштож!

— Вот те и «нукштож»! — сурово сказал пастух. — Называется: нетрудовой доход.

Как на пожаре, переливался заунывный бабий вой, похожий на завывание осеннего ветра в трубе. Плакали ребята. Вдруг старуха вцепилась в рукав Ведерникова и закричала:

— Да вы что же это делаете, а? Ведь это же дневной разбой!

Дверь открылась, вошел местный учитель,— невысокий человек с маленьким носиком. Удивленно остановился, попытался. Старуха увидела его и завопила:

— Караул!!

Учитель поспешно скрылся. Старуха испуганно бросилась к Лельке.

— И ты тоже! Они от Христа отреклись, злодеи, а ты — молодая девчонка, и тоже лезешь в эту грязь! Не стыдно тебе разбой этот делать?

Старуха, рыдая, упала на лавку. Лелька с строгим лицом связывала в узлы отобранные вещи.

Юрка и пастух запрягали в сани на дворе хозяйских лошадей. Пастух восхищался:

— Ах, и лошадки же хороши!

Глядел им в зубы, шупал в пахах. Юрка спросил:

— В колхозе у вас пригодятся?

— Как не пригодится! На этих, друг, лошадях пахать — все одно, что трактор твой.

Старик в избе спросил Ведерникова:

— Что же вы нам оставите?

— А вот, что на вас надето. Будет с вас и этого.

Два широкоплечих, голубоглазых сына старика стояли у стены и с такою смотрели ненавистью, что было жутко. Юрка, пастух и мужик в рваном полушубке стали выносить вещи.

На лавке сидел и всхлипывал пятилетний мальчишка, такой же ярко-голубоглазый, как все мужчины. На ногах его были новые, еще не разношенные серо-белые валенки с красными узорами на голенищах. Ведерников оглядел их и спросил:

— Башмаки есть у тебя, мальчик?

Он робко взглянул.

— Есть.

Взял с подоконника и поспешно протянул Ведерникову. Ведерников сказал Лельке:

— Пусть переобуется. А валенки пойдут в детдом, бедняцким детям.

Лелька ласково взяла мальчика за плечо.

— Ну-ка, мальчик, скидай валенки. Вот у тебя башмаки какие хорошие! Довольно с тебя.

Мальчик покорно снял валенки и стоял босиком. Лелька сказала:

— Не надо босым стоять, простудишься. Надень башмаки.

Старуха сорвалась с лавки, вышибла поленом стекло в окне, высунулась и стала кричать на всю улицу:

— Караул! Карау-у-ул!

Ведерников строго сказал:

— Будет, старуха, не бузи!

Юрка, наморщившись, совал валенки в холщовый мешок, где уже много было валенок и сапогов.

Ведерников вышел на двор поглядеть, как укладывали вещи. К нему подошел старик.

— Товарищ, примите заявление: желаю с сынами моими идти в колхоз.

Ведерников оглядел его, усмехнулся.

— Тебя — в колхоз? Да ты на весь колхоз заразу пустишь, весь его изнутри развалишь. Нет, старичок божий, мы богатеи в колхозы не принимаем. Лучше отправляйся кой-куда комаров покормить.

Старик спросил упавшим голосом:

— Вы что же, отправлять нас куда будете?

— Да уж тут, папаша, не оставим, будь покоен: очень от тебя большой вред идет на всю деревню.

Сани, доверху полные добром, выезжали со двора. По улице отовсюду тянулись груженные подводы, комсомольцы правили с церкви. На широкой площадке над рекою стояла церковь со снятыми колоколами и сбитыми крестами. Она была превращена в склад для конфискованных у кулаков вещей.

В воздухе было мягко, снег чуть таял. Юрка сидел на облупке груженных саней. Торчал из сена оранжевый угол сундука, обитого жестью, самовар блестел, звенели протвину и чугуны. Юрка глубоко задумался. Вдруг услышал сбоку:

— Дяденька!

Поглядел: рядом с саями, босиком по талому снегу, бежал голубоглазый мальчишка.

— Дяденька! Отдай валенки!

Юрка отвернулся, закусил губу и хлестнул вожжою лошадей.

Мальчик не отставал. Вязнул ногами в талом снегу, оставив следы в раздумьи и опять бежал следом, и повторял, плача:

— Дяденька! Отдай валенки!

*

Организовали весь комсомол окрестных деревень. Комсомольские бригады сплачивали бедняков, обобществляли весь рабочий и продуктовый скот. Работали день и ночь. Из района и округа то и дело приходили настойчивые приказы: «нажимай на сплошную», то есть на сплошную коллективизацию.

И нажимали. Раскулачивали состоятельных, сулили всяких бед середнякам и беднякам, которые отказывались идти в колхозы. На собраниях мужики вызывающе спрашивали:

— Да что же, конец концов: добровольно в ваши колхозы полагается идти или нет? Коли нет, то покажите, где такой декрет, чтобы всех нас гнать в колхоз?

Ведерников отвечал:

— Декрета нет, в колхозы идут добровольно. А вы мне только вот что скажите: вы — против советской власти?

— С чего нам быть против?

— А тогда что ж: мы, понимаешь, вас зовем в колхозы не из своей головы, вас зовет советская власть и партия Векапе. Коли не идете, значит, вы против советской власти. Ну, а уж этому не дивитесь: кто против советской власти, тех она лишает голоса.

Уныние и угрюмость повисли над деревнями. Походка у мужиков стала особенная: ходили, волоча ноги, с опущенными вперед плечами и понурыми головами. Часами неподвижно сидели и тяжело о чем-то думали. И каждый день новые приходили записываться в колхоз. А перед тем резали весь свой скот.

Резали поросных свиней, тельных коров. Резали телят на чердаках, чтоб никто не подглядел, голосистых свиней кололи в чаще леса и там палили. И ели. Пили водку и ели. В тихие дни над каждой деревней стоял густой, вкусный запах жареной убоины. Бабы за полцены продавали в городе холсты.

— Чего нам свое в колхоз нести? Там всё обязаны дать.

Комсомолия, руководимая Ведерниковым и Лелькой, рыскала по деревням, расспрашивала бедноту, накрывала крестьян с свежесбитым скотом, арестовывала и отправляла в город. Ведерников кипел от бешенства.

— Ах, мерзавцы! И этак, понимаешь, по всему Союзу!

И Лелька откликнулась:

— В два-три месяца наделали то, чего потом годами не поправишь. Ведь весь скот повыведут! Ни молока не будет, ни мяса, ни шерсти... Расстрела для них мало!

И страстно, увлекательно, как только она умела говорить, Лелька говорила и на собраниях, и в частных беседах с крестьянами. Мужики слушали, пряча в бородах насмешливые улыбки, и отвечали цинично:

— А нам об этом какая забота? Что ж мы, супротив самих себя будем идти? Все одно, в колхоз отнимете. Лучше же мы получим для себя удовольствие.

*

Совместная работа в деревне сильно сблизила Лельку с Ведерниковым. Теперь они были настоящие друзья и открыто жили, как муж и жена, спали в одной комнате. Лелька упоенно наслаждалась товарищескою близостью с Ведерни-

ковым, согласностью их настроений. Получалось то гармоническое и прекрасное, о чем она раньше не смела и мечтать. В одно сильное, действенное целое сливались стальная воля, беспощадность, классовое чутье Ведерникова — и ораторский талант, организаторские способности, задушевная непосредственность, женское обаяние Лельки. Весь актив они сумели спаять в крепкую, дисциплинированную массу, и ребята одушевленно бросались в работу по одному указанию своих вождей.

Только Юрка не совсем подходил к общей компании. Что с ним такое случилось? Работал вместе со всеми с полной добросовестностью, но никто уже больше не видел сверкающей его улыбки. По вечерам, после работы, когда ребята пили чай, смеялись и бузили, Юрка долго сидел задумавшись, ничего не слыша. Иногда пробовал возражать Ведерникову. Раз Ведерников послал ребят в соседнюю деревню раскулачить крестьянина, сына кулака. Юрка поехал, увидел его хозяйство и не стал раскулачивать. Сказал Ведерникову:

— Он середняк самый форменный, да еще маломощный. А от отца уж пять лет назад отделился.

Ведерников в ответ отрезал:

— Плохое у тебя, Юрий, классовое сознание. Нужно не только, понимаешь, корни вырывать, а и веточки сшибать.

— Да ведь свой брат, тот же рабочий.

— Рабо-очий! Какой такой рабочий?

И послал других. Как-то раскулачили они самого рядового середняка. Юрка опять встал за него, но Ведерников зажал ему рот одной фразой:

— Ну, пусть середняк! А чего в колхоз не идет?

Юрка несколько раз пробовал поговорить с Лелькой, повеждать ей свои сомнения. Но Лелька была теперь как будто другая, — прямолинейная и беспощадная, не хуже Ведерникова. Она в ответ нетерпеливо пожимала плечом и говорила с пренебрежением:

— Совсем у тебя, Юрка, искривляется классовое самосознание. Какое-то интеллигентское гуманичанье. Откуда это у тебя? Брось! Партия знает, что делает. Ты знаешь ее лозунг о полном выкорчевывании в деревне всякого капитализма? Ну и не миндальничай. А ты готов отстаивать каждого кулачка и проливать над ним гуманные слезы. В правый, брат, уклонец вдаряешься.

*

На хороших лошадях, в щегольских санках, приехал Оська Головастов с товарищем Бутыркиным, местным активистом в районном масштабе. Пили чай, обменивались впечатлениями от работы в своих районах. У Оськи по губам бегала хитрая, скрытно торжествующая улыбка. Он спросил:

— На коллективизацию гнете? А мы вот с товарищем Бутыркиным немножко собираемся пошире размахнуться. Коммуну учреждаем в нашем селе.

— Это здорово!

— Приехали просить вас подсобить.

— Всем, чем хотите.

Ведерников положил руку на плечо Лельки.

— Этого оратора вам дадим: замечательнейший, понимаешь, оратор.

Лелька радостно вспыхнула. Оська слушал невнимательно, с блуждающими глазами. Потом улыбнулся замысловато.

— Это ладно. А главное — вот нам что. Завтра окончательное у нас собрание о переходе всего села в коммуну. Боймся, как бы не засыпаться с голосованием, есть кой-кто против. Приезжайте на собрание всем активом, голосните. Расхотались.

— Здорово! Нам тоже голосовать? Ну что ж! Мы все за коммуну. Определенно.

*

Собрание было в здании сельсовета. Председательствовал товарищ Бутыркин, бритый, с сухим, энергичным лицом. Лелька говорила задушевно и сильно. Каштановые кудри выбивались из-под красной косынки, глаза на красивом лице блестели. Говорила о нелепости раздробленного хозяйствования, о выгодах коллективной жизни.

— Вы только подумайте: в вашем селе Сосновке четыре-ста дворов. И в каждом дворе каждый день топят печь, чтоб сварить горшок щей и чугунок картошки. Каждый себе отдель-

но печет хлеб. Каждый отдельно нянчит ребят. Каждый отдельно ухаживает за коровой, лошадей. Сколько на все без всякого толку тратится сил, времени, средств!

Слушали настороженно, с ненавидящими глазами. Передние ряды были заняты одними бабами, мужики держались назади. Кончила доклад Лелька. Говорил — напыщенно и угрожающе — Оська. Председатель Бутыркин спросил:

— Не будет ли вопросов?

Посыпались от баб вопросы самые неожиданные:

— Правда ли, что бога нет?

— Откуда земля?

— Правда ли, что люди пошли от обезьяны?

— Что такое «эпоха»?

Бутыркин грозно поднялся.

— Гражданки! Старую песенку завели! Нас больше на ваш крючок не поймаете. Это на советском языке называется саботаж: только чтоб затянуть и сорвать собрание. Но я этого не допущу. Говорите ясно и коротко. Об деле. Только об деле говорите!

Поднялся сзади худощавый молодой крестьянин.

— Дай-ко мне сказать. Об деле скажу.

— Евстрат Метелкин. Говори, — неохотно сказал председатель.

Метелкин заговорил резким, властным голосом, приковы- вающим к себе внимание.

— Вот, гражданка, говоришь: общий скотный двор. Ладно. А где на него взять гвоздей?

— Гвоздей?..

Лелька беспомощно оглянулась на Оську. Оська ответил:

— Повыдергайте гвозди из какого-нибудь сарая. На что вам теперь индивидуальные сараи?

— Ну, два фунта понадергали!

— Да не из одного сарая.

— Та-ак! Чтоб один новый сарай сбить, хочешь двадцать старых развалить из-за гвоздей! Это называется строительство?

Поднялся председатель.

— Граждане! Так нельзя! Вопрос идет во всесоюзном масштабе, — понимаете вы это? А вы о каких-то гвоздях. Об деле говорите. По существу.

Стали один за другим подниматься крестьяне, говорили обычное: что никто на всех не станет работать, как на себя, что заварят дело — и сейчас же пойдут склоки, неполадки, бабы меж собой разругаются, и все подобное.

Вышел к переднему краю стола президиума Оська Голова- стов.

— Граждане! Долго будет тут эта болтовня? Объясняют вам, — вопрос стоит во всесоюзном масштабе, вопрос стоит о социалистическом строительстве. Поняли вы это дело? И власть вам тут не уступит, она вас заставит поступить по- нужному. Поэтому предлагаю вам голосовать добровольно. А кто хочет идти против, на того есть Соловки, есть Нарым, а может, кое-чего и еще посложнее. Это имейте в виду!

Сдержанное гудение покатило по рядам. Высокий муж- ик в меховом треухе снял со стены лампочку и потушил. Два дюжих парня быстро направились боковым проходом к столу президиума. Вдруг всех охватила жуть. Оська шеп- нул:

— Идут лампы тушить. Ребята! У кого револьверы, выни- май!

Все были бледны. Уж несколько случаев было в окре- стных местах: мужики на собраниях тушили лампы и люто избивали приезжих ораторов. Ведерников встал и, держа руку на револьвере, смотрел в глаза подходившим парням. Те остановились.

Оська говорил, вода перед собою поднятою вертикально ладонью:

— Граждане! Успокойтесь! Все эти ваши штучки мы зна- ем, и лампы тушить не позволим. Вопрос исчерпан. Бутыркин, голосуй!

— Граждане! Прошу потише! — заявил председатель. — Голосую. Кто за переход села Сосновки в поголовную ком- муну, того прошу поднять руки. Кто против? Кто воздер- жался? Большинство голосов принято постановление о пе- реходе вашего села в коммуну.

Рев поднялся в сборной:

— Кто такие тут голосовали? Кого вы сюда понагнали? Мы этих граждан даже не видели никогда! Еще раз голосуй, по списку!

Бутыркин грозно объявил:

— Граждане! Вопрос исчерпан! Заседание объявляю за- крытым.

*

С утра партийно-комсомольский актив Сосновки с бедня- кою частью села стал обходить дворы и обобществлять скот. Забирали всю живность: лошадей, коров, овец, свиней, забирали кур и гусей. Бабы выли, мужики были бледны от бешенства. Отобрать — ребята отобрали, но что делать с отобранным скотом, не знали. Был на краю деревни огоро- женный жердями летний загон. Поместили туда. Три дня скотина стояла под открытым небом, заматаемая подня- вшеюся выюгою. Спросить было не у кого: Оська, дав общие директивы, ускорил. Перед отъездом он арестовал и отправил в город как контрреволюционера Евстрата Ме- телкина, отказавшегося войти в коммуну, имущество его конфисковал и передал в коммуну.

Дела у Оски Головастова было по горло. Пьяный от власти и от взятого размаха, он носился по району, аресто- вывал, раскулачивал, разогнал базар в селе Дарьине, ставил ультиматумы членам сельсовета, не вступившим в колхозы, закрывал церкви, священников арестовывал, их семьи выго- нял на улицу и запрещал давать им приют. Двум священни- кам остриг волосы и бороды. По лицу Оски порхала стран- ная, блуждающая усмешка, в глазах иногда мелькало безу- мие. Больше всего, больше достатка, больше славы и почета ему буйным хмелем кружило голову наслаждение власти над людьми: униженные поклоны и моливы, бессильная нена- висть мужчин, женские рыдания, отчаяние. И сознавать, что все это — от него, что захочет — и ничего этого не будет. И особенно приятно было именно думать: «А я этого н-е з-а-х-о-ч-у!» Унижайтесь задаром!»

*

Лельку раз нагнала на улице толпа ребятишек, — возвра- щались из школы. Она с ними разговаривалась. Вдруг одна бойкая девчонка сказала (видно, что повторяла слова взрос- лых):

— Мы скоро все к вам придем, господский ваш дом разне- сем по бревнышкам, вам глаза повыколем, а сами побросаем- ся в колодцы.

А другой раз Лелька еще более сильно получила впечат- ление. Возвращалась она из города, — давала в райкоме отчет о проведенной работе и достижениях. Со станции наняла мужика, поехала в санях. Мужик не знал, кто она, и говорил откровенно. И говорил так:

— Мы теперь узнали рабочий класс, какой он есть эксплуататор. Что эти рабочие бригады у нас в деревне разделяют!.. Мужик разутый-раздетый, а они в драповых пальтах, в сапогах новых, морды жирные, жалованья полу- чают по полтора рубля. Себя не раскулачивают, а муж- ика увидят в крепких сапогах: «Стой! Кулак!» Погоди, придет срок, мы с рабочим классом разделимся.

А ехавший с ними другой мужик прибавил озлобленно:

— Скоро крестьянство будет убито, совсем станет мерт- вое. А только помрем-то мы — вторыми! Раньше они все подохнут. Узнают, на ком Рассея стоит!

Лелька стала осторожно возражать. Они сразу замолчали.

*

В помещении одинцовской школы заседала приехавшая вчера комиссия по чистке аппарата. Ребята из бригады пошли для развлечения послушать. Чистили местного учи- теля Богоявленского. Маленький человечек с маленьким красным носиком, с испуганными глазами и испуганной боро- денкой.

Чистка проходила для него счастливо. Крестьяне говори- ли благодушно:

— Человек хороший, чего там!

— Обиды никто от него не видал. Жаловаться не можем.

— Смирный человек, аккуратный.

Ведерников, улыбаясь, шепнул на ухо Лельке:

— Вот финтиклейка-то! Кого он сможет пропагандиро- вать в колхоз? Хорошо помощник советской власти!

Лелька усмехнулась. Председатель спросил:

— Не будет ли у кого еще вопросов?

Встала Лелька.

— Позвольте мне! Скажите, гражданин. В этой деревне, в которой мы с вами живем, и в соседних деревнях, — везде

кое-кого из крестьян раскулачили. Как вы смотрите, — правильно поступает власть, когда их раскулачивает, или неправильно?

Учитель растерянно забегал глазами по портретам вождей и красным плакатам.

— Как сказать. Если власть их раскулачивает, значит, знает за что.

— Я вас прошу ответить совершенно прямо: как вы оцениваете действия власти, — правильно ли она поступает, когда раскулачивает богатеев?

— Конечно, постольку-поскольку партией выдвинут лозунг о ликвидации кулачества, как класса... Постольку-поскольку кулачество противится коллективизации...

— Вы это ваше «постольку-поскольку» бросьте. Прошу вас, гражданин, не петлять. Одно слово: следовало, по-вашему, раскулачить их? Да или нет?

Мужики тяжело глядели на учителя и ждали. Он был бледен. Старательно высморкал в скомканный платок красненький свой носик и ответил, запинаясь:

— Ну, ясно: следовало.

Мужики всколыхнулись. Говором и криком закипело собрание.

— Ишь, какой ныне стал! Правильно, — говоришь? Следовало? А забыл ты, кутья пшеничная, как отец твой долгогривый из нас кровь сосал? Гражданин председатель, примай заявление: его отец был дякон! У него корова есть да свинья, его самого раскулачить надо! Мальчишка у него летось помер, так панихиду по нем служил в церкви!

И пошли выкладывать. Секретарь старательно записывал, что рассказывали мужики. Учитель сидел понурившись и молчал.

Ребята, смеясь, выходили из школы. Ведерников хлопнул Лельку по плечу.

— Молодчина Лелька! Одним, понимаешь, вопросом показала его белую шкуру. Ну, и ло-овко!

*

Заехал инструктор окружкома, носастый парень с золотистым чубом, в больших очках. Знакомился с работой местного и приезжего комсомола, одобрил энергию. Одного только не одобрил: что в местной ячейке не хватает учетных карточек и комсомольских билетов. Потом нахмурился и вынул записную книжку.

— В окружкоме, товарищи, получена информация, что какая-то комсомолка приезжая проявляет явный право-оппортунистический уклон. Ведет агитацию против раскулачивания, пишет крестьянам жалобы... — Полистовал книжку. — Ратникова фамилия.

— Что-о?!

Ведерников расхохотался. Лелька вскочила.

— Это я — Ратникова!

Инструктор сурово сверкнул на нее очками.

— Ты?

Ребята дружно смеялись и дружно все встали за Лельку, — и приезжие, и местные. Рассказывали о ее энергии и неприемчивости, об умении организовать молодежь и зажечь ее энтузиазмом. Обида Лельки потонула в радости слышать такой хороший и единодушный товарищеский отзыв.

Инструктор почесал горсть в золотой своей копне.

— А как будто жаловались партийцы и комсомольцы... Ну, видно, ошибочка. Вот и ладно!

*

Весело и дружно работала ватага ребят. Сошлись они друг с другом. Приезжие были поразвитее и много грамотнее деревенских, занимались с ними, читали. Лелька была руководом и общию любимцей. От счастливой любви и от глубокого внутреннего удовлетворения она похорошела незаметно.

Только Юрка держался в стороне. Совершенно невозможно было понять, что с ним делается. Работал он вяло, был мрачен. Давно погасла сверкающая его улыбка. Иногда напивался пьян, и тогда бузил, вызываясь поглядывать на Лельку, что-то бормотал, чего нельзя было разобрать. Близкие их отношения давно уже, конечно, прекратились. Он становился Лельке тягостен, и никакой даже не было охоты добираться, отчего он такой.

Ехал как-то Юрка на розвальнях из соседней деревни.

Засвинцовели на небе тучи, закрутился снег с ветром. Юрке предоставить бы лошади самой найти дорогу домой, но он, — городской человек, — стал править сквозь вьюгу, сбился на цельный снег и начал плутать.

Уже в сумерках наткнулся на жердяную изгородь, за нею темным стогом высилась крестьянская рига. Разобрав жерди, подъехал к избе с огоньком в окнах, стал стучаться, попросил приюта.

— Какая деревня?

— Полканово.

— До Одинцовки далеко?

— Эва! Осьмнадцать верст.

— Во куда заехал! Ну, товарищ, приюти. Сбился с дороги, закоченел.

— Зайди, зайди, чего ж там!

Нестарый мужик с бритым лицом ввел Юрку в избу. Горница была полна народа. Сразу стало Юрке уютно и все близко: в красном углу, вместо икон, висели портреты Маркса, Ленина и Фрунзе. За столом, среди мужиков и баб, сидела чернобровая дивчина в кожанке, с двумя толстыми русыми косами, с обликом своего, родного душе человека.

Хозяин сказал:

— Садись, парень. Пообжоди маленько, сейчас кончим заседание.

Горячо говорили, размахивая руками. Об учете инвентаря и тяговой силы, о том, как добыть формалину для протравливания семян. Дивчина писала и делала арифметические подсчеты.

Юрка шепотом спросил соседа:

— Что это у вас за собрание?

— Колхозники. Обсуждаем план посевных работ.

Юрка с изумлением глядел: нет мрачных лиц, взглядов исподлобья. Глаза светлые, спорят все с живостью и с интересом, как о своем деле. Необычно это было для Юрки.

Мужики расходились. Хозяин подошел к Юрке, стал расспрашивать — что, откуда. Подошла и дивчина в кожанке.

Хозяйка позвала ужинать. Пригласили и Юрку. После ужина пили чай. Юрка спросил девушку:

— А ты тоже тут на колхозной кампании?

— Ага!

— Как у вас дело идет?

— Да жаловаться не станем. Еще в прошлом году объединились в колхоз восемнадцать дворов, только всего, а в этом, понимаешь, еще пятнадцать уже дворов присоединилось! Увидали, насколько ладнее идет дело в колхозе.

Она ударила по плечу хозяина.

— Много он вот помогает. Он да еще двое. Горят на работе. Смотри, скоро все село втянут в колхоз.

Хозяину было приятно. Он конфузливо поднял брови и потер рукой губы. И сказал:

— Вот только с грамотой очень нам трудно, — с учетом этим самым, с бухгалтерией всякой. Кабы не эта наша товарищ, — хоть свертывай все дело. Сами ничего не понимаем, счетовода нанять, — где денег возьмешь?

— Привыкнете понемножку. Дело немудрое. — Девушка засунула руки в карманы кожанки и широким мужским шагом зашагала по горнице. — Ничего, налаживается дело. Пойдет определенно. Еще бы лучше пошло, если бы кой-какие товарищи не мешали. Работает тут верст за восемь один из Москвы, Головастов.

— Головастов? Оська? Это наш, с завода нашего «Красный витезь», — сказал Юрка.

— Вот негодяй! Слышал ты, как он коммуны провел в Сосновке? Нагнал своих ребят из других деревень, — приезжих и местных, — и их голосами провел в Сосновке коммуны. А из сосновских никто за коммуны не голосовал. И вот вам пожалуйста — коммуны! Можешь представить, какая прочная будет коммуны?

Юрка покраснел. Он посоветился сказать, что и сам участвовал в этом голосовании.

— Форменный уголовный тип. Мы до него доберемся! Посмел там возражать против коммуны один, Евстрат Метелкин такой. Так его Головастов за это раскулачил, все отобрал в коммуны, самого арестовал и отправил в город. А он, понимаешь, несомненной серединой, два года пробыл на красном фронте, боевой товарищ вот этого нашего хозяина, — вместе брали в Крыму Чонгарский мост. Ранен в ногу. В деревне все время вел общественную работу, был членом правления кооператива, участвовал в организации мелиоративного товарищества, обучал ратников и допризывников, — ну, словом, ценнейший общественный работник. И ко всему: был один из зачинателей колхоза, первый в него

пошел. А как начал Головастов загигать коммуны, — встал на дыбы. Тот его и арестовал. Рассказал мне все это Иван Петрович, — вот этот хозяин мой. Мы — телеграмму областному прокурору. Вчера Метелкин приехал назад, и приказ по телеграфу немедленно возратить все имущество.

Юрка жадно слушал, редко дыша, даже рот раскрыл. А дивчина рассказывала.

— Весело работать. Только очень трудно. Самое трудное, что приходится бороться на два фронта: с инертностью крестьянства и с головотяпством товарищей, а то и подлостью их. Есть тут еще местный один «активист», Бутыркин. В молочной кооперации растратил пятнадцать тысяч, судился, но выкрутился; заведывал в городе Домом крестьянина, тоже уволен за растрату. Теперь всячески старается подсушить репутацию свою: устраивает с Головастовым вашим коммуны, проводит сплошную коллективизацию, мужикам грозит: «Откажетесь — из города придет артиллерийский дивизион и снесет снарядами всю деревню». Мы тут в его деревне неподалеку организовали ясли, — сегодня как раз открытие, — Бутыркин под них отдал бывший свой дом. Большой дом, вместительный, самый кулацкий. Два года назад Бутыркин продал его за тысячу восемьсот рублей, а теперь у нового хозяина дом этот реквизирует, под тем предлогом, что тот живет по зимам в городе. Такие беззакония, — кто что хочет, то и делает... Ты, конечно, ночевать у нас останешься?

— Да хорошо бы.

— Иван Петрович, можно?

Хозяин ответил:

— Ну, ясно. Просим милости.

— Так вот что: оставайся, а мне нужно идти на открытие яслей. Мы организовали, нужно сказать приветствие.

— А можно мне с тобой?

— О! Отлично! Идем. Тут недалеко, всего две версты лесом.

Метель затихла. Шли просекой через сосновый бор. Широкий дом на краю села, по четыре окна в обе стороны от крыльца. Ярко горела лампа-молния. Много народу. В президиуме — председатель сельсовета, два приезжих студента (товарищи дивчины), другие. Выделялась старая деревенская баба в полушубке, закутанная в платок: сидела прямо и неподвижно, как идол, с испуганно-окаменевшим лицом.

Говорил длинную задушевную речь худощавый брюнет с загорелым, энергичным лицом. Очень хорошо говорил: о великом пятилетнем плане, о необходимости коллективной обработки земли. Юрка знал его: это был Бутыркин. Потом говорила новая знакомая Юрки — о значении яслей, о раскрепощении женщины, тоже о коллективизации. Юрку странно волновала и речь ее, — с какими-то неуловимо знакомыми интонациями, теми, да не теми, — и весь облик девушки, — мучительно-милый, знакомый, и в то же время чуждый. И вдруг мелькнуло: «Лелька!» Все поразительно напоминало Лельку. Только глаза у этой были стального цвета, и больше ощущалось определенности в лице, больше — мужественности какой-то, что ли.

Дивчина кончила, села рядом с Юркой. Стала говорить школьная работница. Юрка спросил:

— Ты, случаем, не знакома с Лелей Ратниковой?

— Как же — не знакома! Родная мне сестра.

— Да что ты?! Вправду?

— Ну, ясно.

— Ведь она в нашей бригаде, здесь же.

— Здесь?!

Нинка так это крикнула, что все обернулись. Жадно стала расспрашивать вполголоса Юрку. Спросила:

— А ты меня завтра не возьмешь с собой, чтоб повидаться с нею?

— Ну, как же! Очень хорошо. Назад тебя в санях же и отвезу.

Председатель стал вызывать женщин сказать от лица матерей. Бабы пересмеивались, толкались и прятались друг за друга.

Выступил опять Бутыркин. Он говорил хорошо, знал это и любил говорить. Юрка никак не мог согласовать с его задушевым голосом и располагающим лицом то, что про него рассказывала Нинка. Бутыркин говорил о головокружительных успехах коллективизации в их районе, о том, как это важно для социалистического строительства, о пользе яслей и детских приютов.

— Товарищи! И за наши ясли нам нужно ухватиться изо всех наших сил. Владелец этого дома упирается, хочет дом удержать за собой, подал на нас в суд, но мы этого дома все

равно ни за что не отдадим. Лучше уж воротим те тысячу восемьсот рублей, что он заплатил за этот дом.

Прочли проект резолюции. Председатель спросил:

— Не будет ли каких добавлений к резолюции?

Нинка сказала:

— У меня есть добавление.

Вышла к столу президиума. Глаза блеснули озорно и весело.

— Товарищи! Есть, к сожалению, и среди партийцев люди, которых кашей не корми, а дай им побольше наболтать разных красивых слов. А дойдет до дела, — форменный рвач, обыватель, только и думающий о своем кармане. Тем приятнее видеть, что выступавший здесь товарищ Бутыркин не из таких. Я удивляюсь, что в резолюции ничего не упомянуто о том, что тут заявил товарищ Бутыркин. Он обещается воротить новому хозяину те тысячу восемьсот рублей, что получил от него за этот дом, только бы дом остался за яслями. Это — поступок, достойный настоящего коммуниста-большевика. Я предлагаю в резолюции выразить благодарность товарищу Бутыркину за его предложение.

В публике взрывались короткие смешки. Бутыркин растерялся, вскочил, зло блеснул глазами.

— Я не это сказал!

Нинка невинно спросила:

— А что же вы сказали?

— Я сказал, что если суд присудит дом в его пользу, то дома ему не возвращать, а лучше отдать деньги, которые он за дом заплатил.

— Откуда деньги взять?

— Из общественных, конечно. Откуда же еще?

Нинка протянула:

— Я очень извиняюсь! Я думала, вы хотели отдать те деньги, что сами с него за этот дом взяли. Я вас не так поняла. Конечно, в таком случае об вас вовсе не нужно прибавлять в резолюции.

Женский голос из публики крикнул:

— Своих-то не хочется отдать, что за дом получил!

А у другого дом даром отобрал! Ловок.

Хохот шел по собранию.

*

Утром Юрка с Нинкой поехали в Одинцовку. Стоял морозец, солнце сверкало. За успокоившимися бело-голубыми снегами дымчато серели голые рощи, в них четко выделялись черные ели. Юрка настойчиво расспрашивал Нинку о ее работе, жадно смотрел в глаза.

— Так говоришь, середняка никак нельзя раскулачивать? А если он в колхоз не желает идти? Значит, против социализму, значит, враг классовый! Нешто не так?

— Ясно, не так. Ленина не читал? Разрывать нам нельзя с крестьянством, надо его постепенно перевоспитать, а не нахрапом действовать.

Юрка недоверчиво поглядывал на нее.

— И вправду, — чтоб только добровольно шли?

— Ну, как же иначе!

— А когда раскулачиваем, все нужно отбирать?

— Все, конечно. Весь инвентарь, весь скот и вообще излишки все.

Юрка поколебался, вдруг спросил:

— А с мальчишки пятилетнего валенки можно снять?

Нинка изумленно оглядела его.

— С ума сошел!

Юрка отвернулся и замолчал. Долго правил молча, старательно нахлестывал кобылу. Потом решительно повернулся к Нинке.

— Так не надо было валенки отбирать? Категорически?

— Категорически.

— Та-ак...

Всю остальную дорогу он глубоко молчал.

*

Нинка, не стучась, распахнула дверь и ворвалась к Лельке. Крепко расцеловались. Смеялись, расспрашивали, дивились, что так близко друг от друга работают и не знали. Нинка видела в комнате две кровати, видела Ведерникова, сидяще-

го на одной из них. Но об этом не спрашивала. Кому какое дело?

Закусывали, пили чай. Лелька вдруг вспомнила.

— Погоди-ка! Тут недавно инструктор приезжал, спрашивался о комсомолке Ратниковой, что ведет подрывную работу. Напоролся на меня. А это, случаем, уж не ты ли была?

У Нинки знакомым Лельке озорным огнем загорелись глаза.

— Видно, я и есть. Все время доносы шлют, что развожу контрреволюционную работу... Наверно, про меня.

Осторожно вошел в комнату Юрка, присел к столу.

Не прошло и получаса, — между Нинкой и Лелькой запрыгали такие же колючие электрические искры, как, бывало, у них обоих с матерью при беседе с нею.

Нинка изумленно пожимала плечами.

— Какая нелепость! Чего вы этою принудительностью достигнете?

Лелька, враждебно глядя, отвечала:

— Ты не понимаешь, чего? «Бытие определяет сознание», — слышала ты когда-нибудь про это? Как ты иначе перестроишь собственническую психологию мужика? «Убеждением»? Розовая водичка! Ну, будут рыпаться, бузить, может быть, даже побунтуют. А потом свыкнутся и начнут понемножку перестраивать свою психологию. А дети их будут уже расти в новых условиях, и им даже непонятна будет прежняя психология их папенок и маменок.

— Вот такая установка! Это, Лелька, ново! Ни в каких партийных директивах я такой установки не встречала. Где это сказано?

Вмешался Ведерников и резко сказал:

— Это, товарищ, сказано в нашем пролетарском сознании.

А Лелька насмешливо прибавила:

— Тебе непременно хочется «директив»? Ты разве не читаешь директив из райкома и окружкома? Все они только одно повторяют: «Гни на сплошную». А как иначе гнуть? Или, может быть, ты не признаешь компетенции окружкома? Желаете разговаривать только с Политбюро?

Расстались враждебно. Юрка повез Нину обратно.

*

Приехали к Нинке. Она стала звать Юрку зайти попить чайку. Юрка привязывал лошадь к столбику крыльца. Вошел хозяин со странным лицом и взволнованно сказал Нинке:

— Тут из окружного исполкома приехал какой-то... Велел вам сейчас же, как приедете, прийти к нему в сельсовет... Э, да вон он. Не терпится. Сам опять идет.

Подошел человек в кожаной куртке, с широким рябым лицом и шрамом на виске; на куртке алел орден Красного Знамени.

— Мне сказали, гражданка Ратникова приехала. Это вы? Нинка поблдедела от «гражданки».

— Я — Ратникова.

Приезжий оглядел Юрку и Нинкина хозяина.

— Нам нужно с вами, гражданка, поговорить наедине. Пойдемте, походим.

Юрка глядел, сидя на перилах крыльца. Приезжий расхаживал с Нинкой по снежной дороге, что-то сердито говорил и размахивал рукою. Поблдевшая Нинка с вызовом ему возражала. Приезжий закинул голову, угрожающе помахал указательным пальцем перед самым носом Нинки и, не прощаясь, пошел к сельсовету. Нинка воротилась к крыльцу. Глаза ее двигались медленно, ничего вокруг не видя. Вся была полна разговором.

Вошла с Юркою в избу и с усмешкою сказала хозяину:

— Велено всю работу прекратить и завтра явиться в райком.

Юрка спросил:

— В чем дело?

— Потом как-нибудь.

Пообедали вместе. После обеда сидели под навесом двора, на снятой с колес телеге. Нинка рассказывала: от облсполкома была получена директива: тем, кто вздумает выходить из колхоза, возвращать только одну треть имущества, а все остальное удерживать в пользу колхоза. Евстрат Метелкин привел к ней крестьян, Нинка им объяснила, что такого закона нет. Они ее попросили им это написать.

— Я, конечно, написала. Почему бы нет?.. Кричал, что это контрреволюция, что я вообще веду подрывную работу в крестьянстве, что еще сегодня утром об этом получено заявление в ГПУ от товарища Бутыркина. Грозился отправить меня отсюда по этапу. Я ему: «Вы говорите со мною, как с классовым врагом!» — «Вы, говорит, и есть классовый враг. Только помните, мы и не с такими, как вы, справлялись».

Юрка раздумчиво сказал:

— А он с орденом Красного Знамени. Значит, человек категорически приверженный.

Нинка поглядела на него, помолчала.

— Передал приказ райкома немедленно прекратить работу и завтра явиться в райком... Может, и правда, по этапу отправят, — с усмешкою добавила она.

— А как в город доедешь?

— Эка! Двадцать верст! Пешком дойду. Багаж небольшой, — один рюкзак.

Юрка с порывом сказал:

— Я тебя отвезу. Переночую у вас, а завтра утречком поедем.

Нинка с лаской пожала концы его пальцев.

— Ну, спасибо!

Пошли гулять в бор. Из-за сини далеких снегов красным кругом поднимался огромный месяц. Юрка, напряженно наморщив брови, сказал:

— Все-таки, видно, ты не права. Не такую надо гнуть линию. Только к дезорганизации ведешь.

— Не зна-аю! — с вызовом возразила Нинка, а в глазах были тоска и страдание. — А одно я хорошо знаю: партиец ты, комсомолец, — а должен шевелить собственными мозгами и справляться с собственным душевным голосом. Только тогда окажешься и хорошим партийцем. Иначе ты — разменная монета, собственной цены никакой в тебе нет. Только всего и свету, что в окошке? Так всегда черногрязский райком и должен быть правым? Бороться нужно, Юрка, отстаивать свое, не сдаваться по первому окрику.

Юрка страдающе поморщился и согнутыми в когти пальцами стал скрести в затылке.

— Чёрт ее... Как это тут... Не пойму никак.

*

Утром приехали в Черногряжск. Вместе с Юркой Нинка пошла в райком. В коридоре столкнулись с рябым, который вчера был у Нинки. Нинка нахмурилась и хотела пройти мимо, но он, широко улыбаясь, протянул большую свою ладонь и сказал ласково:

— Здравствуй, товарищ Ратникова. Приехала-таки? Брось, — не стоило! Ворочайся назад. Нам такие, как ты, нужны.

— Что это значит?

Он поднял брови и виновато-добродушно улыбнулся.

— Ничего. Маленькую ошибочку дали. С кем не бывает!

В бюро ячейки — то же самое. Нинка ждала грозных криков, обвинений. А все были ласковы и смущены, говорили, что вызов ее — только недоразумение, извинялись и просили обязательно ехать назад.

В недоуменной радости Нинка вышла. К ней навстречу бросился Юрка с газетным листом в руках.

— Нинка, читай! Что написано-то!!

Нинка подошла к окну, развернула газету. На первой странице была большая статья. Заглавие:

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Подпись: И. Сталин. Писано было в статье вот что:

«Успехи иногда прививают дух самонадеянности и зазнайства... «Мы все можем!» «Нам всё ни-почем!» Они, эти успехи, нередко пьянят людей... Наша политика опирается на добровольность колхозного движения...

Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. А что происходит у нас на деле? Можно ли сказать, что принцип добровольности не нарушается в ряде районов?

Нет, нельзя этого сказать, к сожалению...

Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам?

Никому, кроме наших врагов! К чему они мо-

гут привести, эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения».

Нинка, давясь радостным смехом, смазала Юрку газетным листом по лицу.

— Ну, что, товарищ? Не вредит изредка и собственными мозгами поворачивать?

Большинство вокруг было в смущении и испуге. Немногие были довольны и победительно посмеивались. Шла по коридору пучеглазая женщина с очень большим бюстом, с листом «Правды» в руках.

Юрка кинулся ей навстречу.

— Ногаева! Ты разве тоже здесь?

— А как же. Со следующей за вами партией выехала.

И с гордостью она рассказывала своим спокойно-уверенным, как будто не знающим сомнений голосом:

— Мы на эту левую провокацию не поддались с самого начала. Стали середняков раскулачивать,— мы сейчас же: «Стой!» Сельсовет нас слушать не хотел, но мы заставили. А про Оську Головастова написали в наш заводской партком, что он вполне дискредитует звание пролетария. И что ж бы вы думали! Заказным письмом послала,— и не дошло! С оказией потом второе послала. На почте тут письма перехватывали!

Юрка слушал с неподвижным лицом.

*

Вышли с Нинкой на улицу. По деревянным мосткам шагал подвыпивший мужик с газетой в руках. Потряс ею перед носом Нинки и Юрки, засмеялся.

— Против вашего брата газета написана!.. Ой, вот так газетинка! Три рубля заплатил на базаре за нее, и не жалко. Стоит того!

Все экземпляры газет были расхвачены крестьянами моментально. Приезжали из деревень все новые мужики, специально, чтоб купить газету. Перепродавали номер за пять, за восемь рублей.

Юрка и Нина ехали назад. В деревнях звучали песни и смех. Нинка вдруг рассмеялась и радостно потерла руки:

— Вот теперь поработаем!

Навстречу трусила лошаденка, в розвальнях сидели Оська Головастов и Бутыркин, оба с бледными, растерянными лицами. Тут же милиционер. Юрка соскочил с саней, подбежал, хотел поговорить, но милиционер не позволил:

— А-рес-то-ва-ны...

Юрка завез Нинку в Полканово и поехал к себе в Одинцовку. Там, в барском доме, тоже было общее смущение. Ведерников чесал в затылке, губы его закручивались в сконфуженную улыбку.

— Маленько перегнули, это что говорить. Засыпались!

Лелька неподвижно глядела в окно.

*

Вечером под сильными ударами кулака затрещала Лелькина дверь. Лелька была одна. Вошел Юрка. Был очень бледен, волосы падали на блестящие глаза. Медленно сел, кулаками уперся в расставленные колени, в упор глядел на Лельку. И спросил с вызовом:

— Ну? Что?

Лелька удивленно приглядывалась к нему.

— Что это ты... какой?

— Ну, что, говорю? Правильно мы тут с вами поступали или неправильно?

— Неправильно, Юрка.

— Не-пра-виль-но... Ха-ха! Непра-авильно? — Он вцепился взглядом в глаза Лельки. — Сволочь ты этакая! Чего ж ты меня в эту грязь втравила?

Лелька теперь только сообразила, что Юрка глубоко пьян. В комнате стоял тяжелый запах самогона. Она отвернулась и, наморщив брови, стала барабанить пальцами по столу. Вдруг услышала странный хруст,— как будто быстро ломались одна за другою ледяные сосульки. Лелька нервно вздрогнула. Юрка, охватив руками спинку стула, смотрел в темный угол и скрипел зубами.

— Ох, тяжело! — хрипло заговорил он. — Понимаешь, бежит по талому снегу... А я, как проклятый, гляжу

в сторону и лошаденку подхлестываю. А он, понимаешь, все бежит, не отстает. Босой.

Юрка судорожно сжал спинку стула и еще сильнее заскрипел зубами. Лелька подошла к нему. Уверенная в своем обаянии и всегдашнем влиянии, ласково положила ему руку на плечо.

— Юрка, слушай...

Он сбросил ее руку с плеча и вскочил.

— Отойди... гадюка!.. У-ух!! — Юрка отнес назад руку со сжатым кулаком. — Так бы и залепил тебе в ухо, чтоб торчмя головой полетела на кровать... Лелька!

Падающим движением подался к ней, схватил за запястья.

— Лелька! — Задыхался и со страданием смотрел на нее. — Выходит, можно было вас и не слушать... Можно было... п-плонуть вам в бандитские ваши рожи! Ведь я с тех самых дней весь спокой потерял. Целиком и полностью! Вполне категорически! Каждую ночь его вижу... Бежит босой по снегу: «Дяденька! Отдай валенки!..» А ты, гадюка, смотрела, и ничего у тебя в душе не тронулось?

Он так крепко сжимал Лельке руки, что они совсем занемали.

— Не тронулось, а? А ведь ты — женщина. У тебя свои дети могут быть... Вот Нина, сестра твоя. Даже против героя с Красным Знаменем, и то пошла. Есть, значит, в душе... добросовестность... А у тебя что?

— Юрка, пусти руки. Мы с тобою обо всем этом поговорим, когда ты проспишься.

— Не спать уж мне теперь. Боюсь я спать... Все мальчишка этот... Следом бежит. У-у, чёрт!!!

Он отбросил руки Лельки и, шатаясь, направился к двери. Вошел Ведерников. Юрка насмешливо оглядел его.

— А-а... «Пролетарское сознание».

Остановился на пороге, гаркнул:

— Здесь погребен арестант Иван Гусев, трех лет!

И вышел...

До поздней ночи он одиноко шатался по деревне, рычал, буйнил, скрипел зубами и бил себя кулаком в грудь. Потом исчез...

Через день на ветле у околицы нашли его труп, висящим на веревке.

1928—1931 г.»

Выступление и публикация
В. НОЛЬДЕ и Е. ЗАЙОНЧОВСКОГО.

**ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
ПО-НОВОМУ
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
МАЛОГО БИЗНЕСА**

**ЯРКИЕ КРАСКИ
ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ,
ОТПЕЧАТАННОЙ
В ЛУЧШИХ
ТИПОГРАФИЯХ ФРГ**



БОЛЬШОЙ ЖУРНАЛ МАЛОГО БИЗНЕСА

Face to face

Подписка на журнал оформляется после перечисления на счет СП «Лицом к лицу» денежной суммы в 25 руб. В графе «получатель» платежного поручения следует указать «Инкомбанк — Интерзнание», счет № 161502 МГУ Госбанка МФО 201791, в графе «назначение платежа» — для зачисления на счет СП «Лицом к лицу» № 345011. Копию платежного поручения и Ваш точный адрес просим выслать по адресу: Москва, 103045, а/я 117. Редакция журнала «Фэйс ту фэйс». Журнал издается в СССР и ФРГ, выходит 6 раз в год на русском и немецком языках.

Борис РОЗИН

Автобиография

Родился досрочно, на 34-м году Великой Октябрьской, как тогда все еще думали, социалистической революции, в то время, когда все точно знали, что, хотя бога и нет, воинское звание у него есть — Генералиссимус.

Место рождения — город Рига. Город, где в 1951 году пахло морем, молоком и копчеными угрями и где сейчас море пахнет нефтью, молоко — морем, а от угрей даже запаха не осталось.

Учился в школе в период восстановления разрушенного пятой пятилеткой народного хозяйства, когда все уже знали, что мы скоро догоним и перегоним Америку, но никто еще не знал, что при этом мы вылетим не только в космос, но и в трубу; когда все уже знали, что теперь свобода слова, но никто еще не знал, сколько теперь за свободу слова будут давать; когда все уже знали, что через 20 лет будет коммунизм, но никто еще не знал, что коммунизм — это тогда, когда уже вообще ничего не будет.

За свою недолгую жизнь перенес корь, свинку, осуждение культа личности, возрождение культа личности, осуждение культа личности, возрождение культа личности, осуждение культа личности, скарлатину.

Заканчивал институт в период восстановления разрушенного седьмой пятилеткой народного хозяйства, когда никто еще не знал, что Малая земля намного больше, чем Большая; что поездка к соседям на танках называется выполнением интернационального долга; что придет время, когда у нас появится Генеральный секретарь, которого никто не будет поддерживать — он будет ходить сам.

Принадлежу к поколению, которое было призвано стереть грань между городом и деревней, а в результате стерло грань между трудом умственным и умственно отсталым.

Работал в КБ НИИ в период разрушения девятой и десятой пятилетками того, что еще оставалось от народного хозяйства, когда все еще были уверены, что медицина бесплатна только у нас и никто еще не знал, что такая медицина, как у нас, бесплатна и у них; когда все знали, что у нас все самое лучшее — детям, но никто еще не знал, чьим детям у нас все самое лучшее; когда никто еще не знал, что скоро мыло у нас будет по талонам, а лечение — по телевизору.

Судимости? — Нет.
На оккупированной территории? — Нет!

В бандах Махно? — Нет...
В очередях? — Да!
В ДОСААФ? — Да!
Добровольно? — Хм... Да...
Так, значит, да? — Нет.
Ах, значит, нет? — Да!
Родственники на Марсе? — Нет.
Имеете ли с ними переписку? — Так их же нет!

Имеете ли с ними переписку? — Мы перезваниваемся.
Состояние здоровья? — Да!
Состояние? — Нет!
Ну, хоть полсотосания? — Нет!
Ну, хоть рубль на черный день? — Два! Один — на черный кофе, чашка которого будет стоить рубль в черный день, и это уже близко. Вон как стемнело.

Сегодня живу в эпоху перестройки того, что так и не было построено за 1 тире 12 пятилетки.

Сегодня можно честно, смело и открыто говорить о том, что было вчера. Поэтому сегодня я наконец знаю то, чего вчера еще не знал. Единственное, чего я не знаю сегодня, — как со всем тем, что я теперь знаю, жить дальше.



Сувенир

Выставка «Роботы Японии» была открыта только для специалистов. Поэтому ежедневно нескончаемые колонны продавщиц и балетмейстеров, таксистов и манекенщиц, футболистов и работников ГАИ штурмовали павильоны.

Супруги Шевцовы, Надя и Коля, прорвавшиеся на выставку в последний день за час до закрытия, отчаянно метались между стендами, добывая проспекты угольных комбайнов-автоматов и роботизированных конвейерных линий по переработке промышленных отходов.

Ошалевшие от нашествия специалистов японцы выбрасывали на столы последние стопки проспектов, мгновенно отскакивали в глубь экспозиций и, скрываясь за экспонатами, наблюдали за растерзанием выброшенного.

Супруги Шевцовы одновременно увидели мужчину, который тщетно пытался выбраться из плотной людской массы, окружившей один из стендов. Голова и торс мужчины

были уже снаружи, а все остальное напрочь застряло где-то там внутри. На его поцарапанном лице сияла радостная улыбка, к груди он прижимал полиэтиленовый пакет, на котором виднелись иероглифы.

Шевцов миглом оценил ситуацию и с криком «Банзай!» начал ввинчиваться в толпу. Надя шла вторым эшелонном. Навстречу Шевцовым то и дело попадались счастливые растерзанные люди с полиэтиленовыми пакетами.

Пока супруги-добытчики пробивались сквозь плотные ряды согнанных, маленький очкастый японец метнул в толпу два последних пакета и, виновато улыбаясь, развел руками, как бы давая понять, что всё, basta, концерт окончен. Можно идти по домам. Однако народ с такой постановкой вопроса был явно не согласен. Никто и не подумал расколоться. Наоборот, объединенные общей бедой люди еще теснее сомкнули ряды и с посуровевшими лицами направились на японца.

Один из толпы, озабоченный и угрюмый, хоть и без обручального кольца, выражая всеобщее недоумение, спросил:

— Это что — всё?

— Сё-сё, — радостно закивал японец, — сё-сё.

— То есть как это сё-сё? — потребовал разъяснений угрюмый. — Надо было предупреждать. Чтобы не занимали.

— Сё-сё, — еще раз подтвердил японец и вежливо поклонился. — Сувенира кончилась.

— Хреново! — подвела итог переговоров наша сторона.

Японец не возражал. То ли он не знал, что такое хреново, то ли был согласен. Во всяком случае, он взял указку, ткнул ею в какую-то диаграмму и заверещал:

— Наса фирма выпускает сто сорок два вида робота...

— А вот это? — перебил угрюмый и показал на значок, укрепленный на пиджаке японца. — Это что — сувенир?

— Нет, это знак наса фирма, который выпускает сто сорок два...

— Нет, — убежденно заявил угрюмый, — это сувенир. — И, протянув руку, вдруг сказал на чистом японском: — Дай!

— А-а-а, — наконец-то сообразил тугодум японец и, мило улыбнувшись, согласился: — Сувенира, да, позалста. Носи со здоровья. Дружба! Фройнсафт!

Получив значок, угрюмый стал пробираться к выходу и где-то в середине толпы столкнулся с Шевцовыми.

— Э, — удивился Николай, глядя на пустые руки угрюмого, — а где пакет?

— Пакеты кончились, — проинформировал тот. — Вместо пакета — во. — И он показал значок.

— Ого! — обернулся Николай к супруге. — Там уже значки дают. Нажмем! Подталкивай!

А в это время маленького японца держал за галстук очередной представитель нашей стороны и убежденно доказывал, что галстук — тоже

сувенир. Японец не верил. Он поначалу даже возражал, но затем как-то сник, и, в конце концов согласившись с тем, что галстук — «сувенира, да чёрт с ним», дал снять его с себя, надеясь, что этим все и закончится. Он вскинул руку, посмотрел на часы и облегченно вздохнул, увидев, что до закрытия павильона осталось всего шесть минут. В ту же секунду миниатюрная рука японца, вместе с часами, уже лежала в широкой ладони нашего следующего специалиста.

— «Сейка»? — радостно спросил наш, кивая на часы.

— «Сейко», да! — гордо подтвердил простодушный представитель Востока.

— С компьютером, — удовлетворенно уточнил наш и подвел черту: — Сувенир!

— Нет, — запоздало испугался японец.

— А я тебе точно говорю — сувенир, — благодарно улыбнулся наш, расстегивая браслет.

Парализованный японец проводил часы прощальным взглядом и, поймав встречные взгляды из толпы, испуганно схватился за пиджак.

— Не сувенира, — сделал он ход первым и натолкнулся на холодное непонимание окружающих. Тогда он решил отступить, попытался сделать шаг назад, но безуспешно — сдвинуться с места не смог. Тут-то японец сообразил, что в свой пиджак он вцепился далеко не один. Об этом же говорили и радостные улыбки нескольких ближайших к нему специалистов.

В этот момент сквозь толпу протиснулся энергичный товарищ с рыскающим взглядом и двумя пустыми кошельками. Он предъявил японцу какое-то удостоверение, а на словах пояснил, что имеет преимущества, так как является донором, почему и требует обслужить себя вне всякой очереди.

Явление донора крайне изумило японца. А информация о том, что наши доноры имеют преимущественные права в разведении иностранцев, поразила его настолько, что от удивления глаза японца превратились из дальневосточных в ближневосточные — большие, круглые и слегка нависшие.

В отличие от него никто из наших глаза выкатывать не стал. А те, кто был поближе, стали молча оттирать донора в сторону.

Тем временем Шевцовы допрашивали очередного встречного. Тот демонстрировал часы и с гордостью пояснял:

— Трофейные! Да он там все с себя снимает, говорит: сувенир, мол, не жалко, носи, ребята.

— Елки-молалки, — застонал Шевцов и из последних сил рванулся вперед. Сзади подгребала жена. Они были уже недалеко от цели, и до них долетали отдельные фразы с поля боя:

— Нет, не сувенира. Эта не снимать. Под этим узе совсем ничего нет...

Когда наконец Шевцовы вынырнули из толпы и увидели японца, на

нем из одежды оставались только очки. Обезумевший представитель фирмы предстал перед Шевцовыми в позе футболиста, стоящего в «стенке» при пробитии штрафного удара. Рядом с ним дергался гражданин с пустыми кошельками, тыкал в японца удостоверением и возмущенно кричал:

— Я за что кровь отдавал!

Японец его явно не слышал. Он смотрел куда-то вверх, слегка раскачивался и талдычил на своем японском «Ха-на, ха-на...», видимо, представляя, как он в таком виде выходит из «Боинга» в Токио.

— Эх, — запричитала Надя, окинув взглядом японского голыша, — зря старались. Что теперь с него возьмешь?! Другие, как люди, чего-нибудь с выставки, да притащат, а мы...

— Погодь рыдать, — перебил Николай и, решительно ткнув японца в грудь, заявил: — Сувенир!

— Сто сувенир? — в отчаянии прикинулся дурачком выведенный из шока японец.

— Не что, а кто, — поправил Шевцов.

— Я не понимаю, — продолжал увиливать японец.

— Ты — сувенир! — объявил приговор Николай и притянул японца к груди.

— Куда? — испугалась Надя. — Нам его не прокормить. В магазине с рисом перебой.

— А долго кормить и не надо, — разъяснил Шевцов. — Через неделю дочерина свадьба — мы его на капот машины вместо куклы посадим. Представляешь, ни у кого еще такой фирменной куклы не было. А как свадьбу отгуляем — нехай катится в свою Японию. Очень нужен тут, дармоед.

— Другое дело, — успокоилась Надя.

Они продирались сквозь толпу к выходу. На плече у Шевцова, сложив ноги по-турецки, а руки продолжая держать так, будто штрафной все еще не пробили, сидел смиренный со своей участью маленький очкастый японец.

Дежуривший на выходе старик контролер, удивленно взглянув на японца, спросил:

— А это что?

— Сувенир! — отрезал Шевцов.

— А-а-а, — успокоился контролер и, причмокнув, добавил: — Надо же, как живой.

— Да, я сувенира, — подтвердил вдруг с плеча Шевцова окончательно свихнувшийся японец и жалобно всхлипнул. — Я — хреновая сувенира.

— Смотри ты, и говорит по-нашему, — восхитился старик. — Умеют же делать, самураи...



Резолюция митинга работников психиатрических лечебниц

Мы, сотрудники психбольниц, доводим до сведения компетентных органов, что за последнее время в наших лечебницах резко возросло количество больных.

Это вызвано тем, что многие наши граждане стали выезжать в гости на Запад, и те из них, кто возвращается обратно, обычно попадают прямо к нам, поскольку у них, как говорится в народе, чердак поехал.

Например, один из наших пациентов, Чернов (девичья фамилия Шварцман), отправился в Америку нормальным человеком, а вернулся, можно сказать, вообще без чердака.

Первые симптомы проявились у Чернова уже там. Так, в день приезда, увидев в Нью-Йорке в витрине закрытого на ночь магазина стиральный порошок, Чернов тут же занял место у входа, притворился инвалидом, приготовил четыре удостоверения, написал на ладони цифру «один» и всех проходящих мимо американцев пытался заносить в список, утверждая, что через каждые два часа будет перекличка.

Через десять минут первым на перекличку явился полицейский с собакой. Он стал убеждать Чернова покинуть пост, но в результате был перевербован им на нашу сторону и записался в очередь под номером 2, собака — под номером 3.

В другой раз, зайдя в продуктовый магазин, Чернов зачем-то принялся пересчитывать сорта колбас, на девятую десятку сбился, зарыдал и, закричав на всю Америку: «Этого не может быть!», начал ципить себя и всех окружающих за все части тела без исключения, а затем стал носиться по торговым залам, пугая присутствующих криками «Коммунизм!».

На третий день пребывания Чернов начал искать на самых шикарных зданиях вывески райкома, горкома, обкома и, не найдя их, стал с удивлением допытываться у прохожих: как они всего добились без руководящей роли? Как дошли до такого изобилия, не имея ни ума, ни чести, ни совести нашей эпохи? Как осуществили продовольственную програм-

Рисунки
Иосифа Оффенгендена

му без социалистического соревнования, второй формы хозрасчета и комиссии Политбюро?

Зайдя в обычный общественный туалет, Чернов тут же забыл, зачем пришел, начал смотреться в зеркала, рвать с полок цветы, душить духами из автоматов, набивать карманы туалетной бумагой, а в конце концов стал просить у служащего туалета предоставить ему политическое убежище, так как за сорок лет безупречной службы заслужил право провести остаток жизни на этой тихой и скромной вилле.

В заключение своей поездки Чернов чуть не вызвал международный скандал, когда, увидев человека в военной форме, прижав его в каком-то углу и назвав милитаристом, стал выяснять: «Вы зачем против нас вооружаетесь? Что вы хотите у нас отнять?»

По возвращении домой состояние Чернова становится еще хуже. Так, в ответ на приготовленный к его приезду праздничный завтрак он заявляет жене, что такую колбасу будет есть только под наркозом. После чего требует стакан апельсинового сока, три кусочка постной ветчины (не объясняя, что это такое) и свежий номер «Нью-Йорк таймс».

Каждый вечер после работы он в плавках и халате спускается в подвал и, распугивая котов, крыс и пьяниц, ищет среди сараев плавательный бассейн.

Как-то, придя домой к утру и улыхав от жены вежливое «Ты где всю ночь болтался, сукин сын?», Чернов заявил, что на этот вопрос будет отвечать только в присутствии своего адвоката и двух телохранителей.

Недавно в дом Чернова пришел агитатор и сказал: «Сейчас у нас демократия, голосуй за кого хочешь. Вы за кого будете голосовать?» На что Чернов ответил: «Если за кого хочешь, тогда за Буша».

А на днях жена Чернова услышала, как он звонил в ближайший магазин и пытался заказать по телефону с доставкой на дом к 18 часам 39 минутам бутылочку белого вина «Дюрсо» урожая 1882 года, гусиный паштет и тихоокеанских омаров. Услышав ответ из трубки, Чернов направился к дверям, и на вопрос жены «Ты куда?» ответил «К матери», хотя точно известно, что он сирота.

Вот такими сиротами и набиты сейчас наши лечебницы.

Да, есть исключения. Этим исключением является пенсионер Круглов, который, несмотря на то, что инвалид, а именно слепой, воспринял все увиденное им в Америке правильно. Но поскольку слепые у нас пока еще не все, требуем разрешать поездки туда только тем зрячим, которые рехнулись уже здесь. А так как мы, сотрудники психбольниц, слушающая воспоминания своих клиентов, побывавших там, постепенно и сами сходим с ума, требуем выдать нам заграничные паспорта со штампом «Уже готов! Можно выпустать!».

г. Рига

Николай БОРСКИЙ

ЮВЕНАЛИЗМЫ

По Булгакову

Заручившись зычным словом

«Надо!»,

Обеспечит и сейчас домком
Шарикова — званием депутата,
Мастера — путевкою в дурдом.

Точка зрения

— Бесчеловечны люди,—

молвил клоп.

— Семью мою загнали ядом в гроб.

Равноправие

Совет быков в Испании сказал

в канун корриды:

— Чтоб в будущем все было

без обиды,

Мы вынесли решение такое —

Сдавать забоданных тореро

на жаркое.

Хороший человек

Был так себе: на подвиги негожий,

В хвосте да с краю —

только и всего.

Но слух прошел, что человек

хороший,

Поскольку не прирезал никого.

Жертва критики

Слыл честным, незапятнанным.

Сцепился с бюрократом...

Был вышеупомянутым —

Стал нижеупомятым.

Межвидовая борьба

Дорвались до реванша бюрократы:

Кипит вовсю в комиссии работа —

Начальство выдвигают в кандидаты,

Строптивых выдвигают за ворота.

Аппаратное влияние

Аппарат самогонный и партаппарат

Организму печальную гибель сулят:

Кто попал под влияние —

не видит ни зги,

Ибо капают оба они на мозги.

На собрании

Большинством подавляющим

был я подавлен и сплющен

При разборе моих

нехороших и слабых сторон.

И потом часть меня

ссыпал в тару фанерную грузчик,

Остальное уборщица

тихо скатала в рулон.

Финал

Из кооператива тир

Устроил местный рэкетиер.

Закончил рэкетирье дело

Инспектор из райфинотдела.

Куйбышевская обл.,
село им. Клара Цеткин

В НОМЕРЕ:

Проза

Эрик СИГЛ. История любви. Повесть. Предисловие Юрия Полякова. Перевод с английского Ларисы Гуреевой и Юрия Полякова (8)

Леонид БОРОДИН. Расставание. Роман. (34)

Владимир ВОЙНОВИЧ. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Часть вторая: Претендент на престол. Продолжение (49)

Николай ЯКИМЧУК. Три рассказа (72)

Наша публикация

Викентий ВЕРЕСАЕВ. Неопубликованные главы из романа «Сестры» (84)

Поэзия

Александр КУШНЕР (7), Наум КОРЖАВИН (68), Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (70), Инна КАШЕЖЕВА (71), Марк ЛИСЯНСКИЙ (83)

Публицистика

20-я комната. Заседание тридцать шестое (78)

Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. Каменные призраки (65)

Наука

Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛАЕВ. Спираль подвига (2)

Критика

Бенедикт САРНОВ. «Я просто русским был поэтом...» (67)

Зеленый портфель

Борис РОЗИН. Рассказы (94)

Николай БОРСКИЙ. Ювенализмы (96)

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление 1-й страницы обложки

Владислава и Вадима Игониных

Оформление 4-й страницы обложки

Юрия Садовникова

Главный художник Олег Коккин

Художник Юрий Цишевский

Технический редактор Ольга Трепенюк

Сдано в набор 04.05.90. Подп. к печ. 01.06.90. А 09980.

Формат 84×60%. Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 11,68. Усл. кр.-отт. 19,53.

Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.

Заказ № 2295. Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101534, ГСП, Москва, К-6,

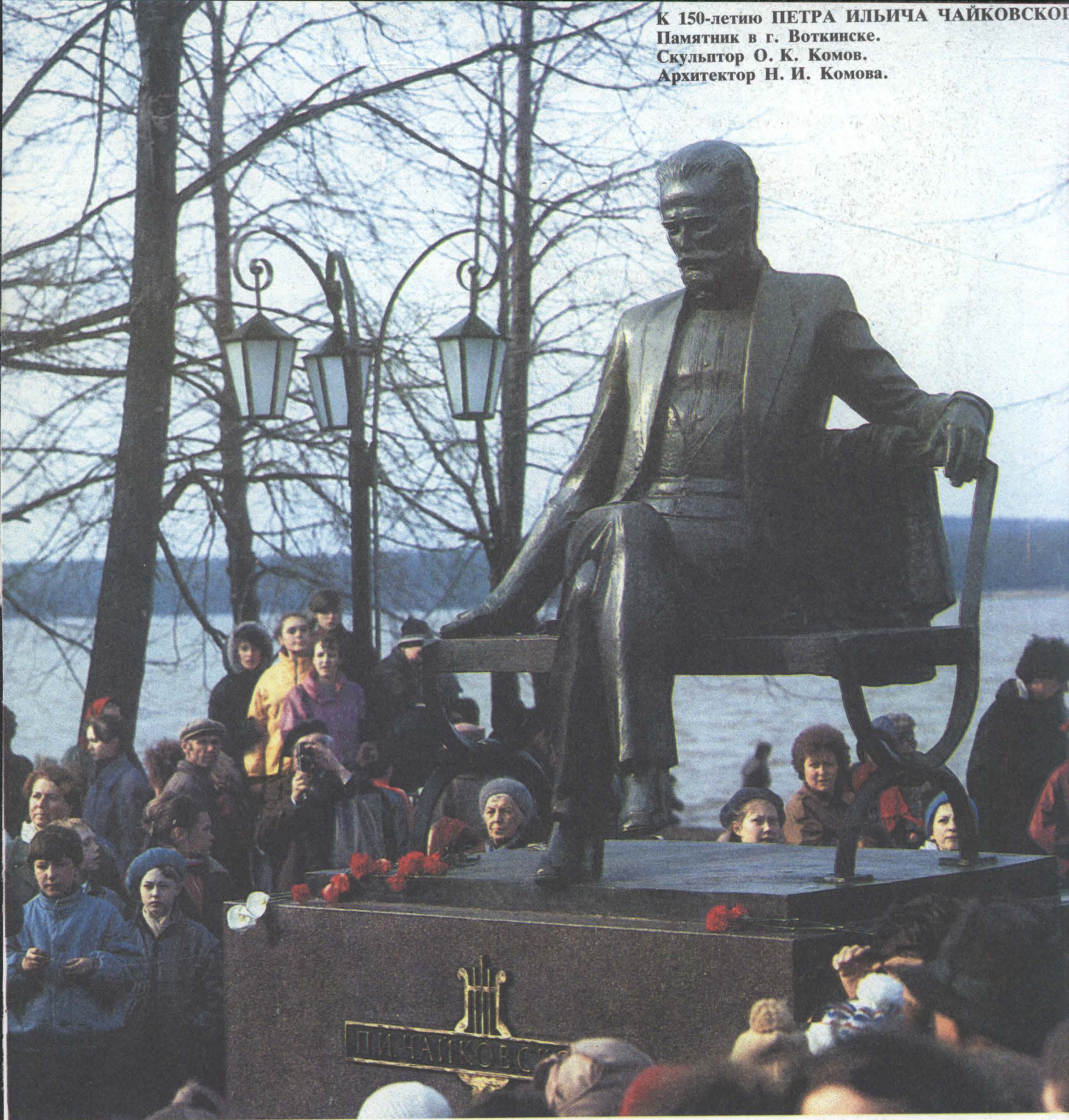
ул. Горького, д. 32/1.

Телефон для справок — 251-31-22

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда». «Юность», 1990 г.

К 150-летию ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО
Памятник в г. Воткинске.
Скульптор О. К. Комов.
Архитектор Н. И. Комова.



В старом уральском городе Воткинске, на родине Петра Ильича Чайковского, открыт ему памятник. Бронзовое литье еще хранит холодный и тусклый блеск полировки, как будто бы сплав перенял хмурый отсвет свободных вод заводского пруда, только-только вышедшего из-под льда. Эти края помнят Чайковского мальчиком, однако мир хранит в памяти благородный облик давно немолодого человека, умевшего внимать шуму времени. Таким он и запечатлен прямо перед окнами родительского дома. Такое странное уединение присуще этому памятнику, столь соразмерны его пропорции, так таинственно и просто определено место на земле под небом, что именно здесь, кажется, сошлись линии пространства и человеческой судьбы, и отныне, думаю, все взгляды, устремленные к Воткинску, будут сходиться тоже именно здесь.

В композиции нового памятника мастер вновь испытал себя мерой покоя и того хрупкого равновесия, которое можно представить себе, думая о плывущем паруснике или летящей стреле. Он, как и каждый из нас, расслышал в музыке Чайковского немало драматичных и трагичных нот, но вместе с ними принял одновременно и свет красоты, и посулы надежды, и тепло человеколюбия. Мы только сутки пробыли с фотокорреспондентом Леонидом Шимановичем в моем Воткинске — ведь здесь и мое детство прошло; война лютвала, голод, а помнится это время светло. Может быть, оттого, что музыка Чайковского неизменно и верно была с нами?

Город ждал начала юбилейных торжеств, а погода не задалась, было пасмурно. Но едва хор запел «Верю...», и с памятника упало покрывало — вышло солнце.

Натан ЗЛОТНИКОВ

Фото Леонида Шимановича.

ГАРМОНИЯ В ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ.

СЕКСУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА —
«ЛЕКАРСТВО» ОТ СТИДА.

ВСЕ ЛИ У МЕНЯ
НОРМАЛЬНО?

КАК И КОГДА
РАССКАЗАТЬ
ДЕТЯМ
ПРО
«ЭТО»?

Центр антиснидовой пропаганды и сексуального просвещения (ЦСП) в Москве проводит набор учащихся на Всесоюзные заочные курсы.

Занятия по шести циклам для разных возрастных и социальных групп. Уникальный материал для заочного обучения подготовлен ведущими специалистами по вопросам сексологии, педагогики, психологии и физиологии.

Занятия платные. Стоимость обучения по циклам — от 67 до 161 руб.

Центр готов помочь каждому!

Подробная информация о всех циклах высылается бесплатно. Обращаться только по почте по адресу: 129010, МОСКВА, ЦСП.